

Анри Бергсонъ.

---

246

292.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

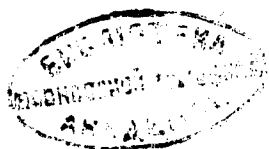
Т. 5.

Введеніе  
въ Метафизику.

Смъхъ.

(и др. произв.).

№46910. —————



ИЗДАНИЕ М. И. СЕМЁНОВА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1914 Г.



## ВВЕДЕНИЕ ВЪ МЕТАФИЗИКУ.



Если сравнить между собою опредѣленія метафизики и понятія абсолютнаго, то можно замѣтить, что, вопреки кажущемуся разногласію, философы сходятся въ признаніи двухъ глубоко различныхъ способовъ познанія вещи. Первый способъ предполагаетъ, что вращаются вокругъ вещи; второй, что въ нее входятъ. Первый зависитъ отъ того, на какую точку зрѣнія становятся, и отъ символовъ, посредствомъ которыхъ выражаются. Второй не держится никакой точки зрѣнія и не опирается ни на какой символъ. О первомъ познаніи можно сказать, что оно останавливается на относительномъ; о второмъ,—тамъ, гдѣ оно возможно,—что оно достигаетъ абсолютнаго.

Возьмемъ, напримѣръ, движеніе предмета въ пространствѣ. Я воспринимаю его различно, въ зависимости отъ точки зрѣнія—подвижной или неподвижной—съ которой я смотрю на него. Я выражаю его различно, смотря по тому, къ какой системѣ осей или отправныхъ точекъ я его отношу, т.-е. смотря по тѣмъ символамъ, на какіе я его перевожу. И на этомъ двойномъ основаніи я назову его относительнымъ: какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ я нахожусь внѣ самого предмета. Когда я говорю объ абсолютномъ движеніи, то это значитъ, что я приписываю подвижному тѣлу что-то внутреннее, какъ-бы состояніе души, это значитъ также, что я симпатизирую этимъ состояніямъ и что я проникаю въ нихъ усиліемъ воображенія. Тогда, въ зависимости отъ того, будетъ-ли предметъ подвиженъ или неподвиженъ, приметъ-ли онъ то или иное движеніе, я буду испытывать не одно и то-же. И то, что я

буду испытывать, не будетъ зависѣть ни отъ точки зрѣнія, которую я могъ-бы имѣть на предметъ, ибо я буду находиться въ самомъ предметѣ, ни отъ символовъ, на которые я могъ-бы его перевести, ибо, ради обладанія оригиналомъ, я откажусь отъ всякаго перевода. Коротко говоря, движеніе не будетъ уже схватываться извнѣ, какъ-бы отъ меня, но изнутри, само по себѣ, въ немъ самомъ. Я буду обладать абсолютнымъ.

Или возьмемъ еще дѣйствующее лицо какого-нибудь романа, приключенія котораго мнѣ рассказываютъ. Романистъ можетъ умножать черты характера своего героя, можетъ заставлятъ говорить и дѣйствовать его сколько ему угодно: все это не будетъ стоить того простого и недѣлимаго чувства, которое я испыталъ-бы, если-бы хотъ на одно мгновеніе могъ слиться съ самимъ дѣйствующимъ лицомъ. Тогда мнѣ казалось бы, что всѣ его дѣйствія, жесты и слова вытекаютъ естественнымъ образомъ, какъ изъ источника. Они не были-бы уже случайностями, присоединяющимися къ тому представленію, которое у меня составилось о дѣйствующемъ лицѣ, случайностями все болѣе и болѣе обогащающими это представленіе, и все-же никогда не достигающими того, чтобы вполне завершить его. Дѣйствующее лицо было-бы мнѣ дано сразу въ его цѣлостности, и мнѣ казалось бы тогда, что тысячи событій, служащія его проявленіями, не прибавляются къ представленію и не обогащаютъ его, а напротивъ выдѣляются изъ него, никогда однако не истощая и не обѣдняя его сущности. Все, что рассказывается мнѣ о личности, даетъ мнѣ точки зрѣнія на нее. Всѣ признаки, которыми мнѣ ее описываютъ и которые знакомятъ меня съ ней не иначе, какъ черезъ сравненія съ личностями или съ предметами, мнѣ уже извѣстными, являются знаками, путемъ которыхъ мнѣ изображаютъ эту личность болѣе или менѣе символически. Символы и точки зрѣнія ставятъ меня, такимъ образомъ, внѣ личности; они общаются о ней только то, что есть у нея общаго съ другими, но не то, что принадлежитъ ей собственно. То-же, что является ею собственно, что составляетъ ея сущность, не можетъ быть замѣчено извнѣ, будучи по самому опредѣленію своему внутреннимъ, и не можетъ также быть

выражено символами, такъ какъ не соизмѣримо ни съ какой другой вещью. Описаніе, исторія, анализъ оставляютъ меня въ относительномъ. Одно только сліяніе съ самой личностью дало-бы мнѣ абсолютное.

Въ этомъ, и только въ этомъ смыслѣ абсолютное является синонимомъ совершенства. Всѣ фотографіи города сняты со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія, будутъ безконечно дополнять другъ друга, но онѣ не смогутъ замѣнить собою того рельефнаго экземпляра, каковымъ является городъ, гдѣ можно прогуливаться. Переводы поэмы на всѣ возможные языки будутъ прибавлять одни оттѣнки къ другимъ, и, путемъ взаимной ретуши, поправляя другъ друга, будутъ давать все болѣе и болѣе вѣрное изображеніе поэмы, которую онѣ переводятъ, но никогда они не передадутъ внутренняго смысла оригинала. Изображеніе, схваченное съ извѣстной точки зрѣнія, переводъ, сдѣланный помощью извѣстныхъ символовъ, остаются всегда несовершенными, по сравненію съ предметомъ, съ котораго было снято изображеніе или который пытались выразить символы. Абсолютное же является совершеннымъ потому, что оно въ полномъ смыслѣ слова есть то, что оно есть.

По той-же причинѣ, безъ сомнѣнія, часто отождествляли абсолютное съ безконечнымъ. Если я хочу сообщить кому нибудь, не знакомому съ греческимъ языкомъ, то простое впечатлѣніе, которое оставляетъ во мнѣ стихъ Гомера, я дамъ переводъ этого стиха, потомъ буду комментировать мой переводъ, развивать эти комментаріи, и отъ объясненія къ объясненію буду все болѣе и болѣе приближаться къ тому, что хочу выразить, но я никогда этого не достигну. Когда вы поднимаете руку, вы выполняете движеніе, о которомъ внутренне у васъ имѣется простое впечатлѣніе; но извнѣ, для меня, смотрящаго на это движеніе, ваша рука переходитъ черезъ одну точку, потомъ черезъ другую, между этими двумя точками будутъ еще другія, такъ что если я начну ихъ считать, то эта операція можетъ совершаться безъ конца. Созерцаемое изнутри, абсолютное является, такимъ образомъ, вещью простой; рассматриваемое же извнѣ, т.е. относительно другой вещи, становится по отношенію къ выражающимъ его золотую монетой, размѣнъ

которой на мелкую монету может продолжаться бесконечно. То-же, что въ одно и то-же время схватывается, какъ недѣлимое, и поддается неистощимому исчисленію, по самому опредѣленію своему, есть бесконечное.

Отсюда слѣдуетъ, что абсолютное можетъ быть дано только въ интуиціи, тогда какъ все остальное открывается въ анализѣ. Интуиціей называется родъ интеллектуальной симпатіи, путемъ которой переносятся внутрь предмета, чтобы слиться съ тѣмъ, что есть въ немъ единственного и, слѣдовательно, невыразимаго. Анализъ-же, напротивъ является операціей, сводящей предметъ къ элементамъ уже извѣстнымъ, т.-е. общимъ этому предмету и другимъ. Анализировать значить выражать какую-нибудь вещь въ функціи того, что не является самою этою вещью. Всякій анализъ есть, такимъ образомъ, переводъ, развитіе въ символахъ, представленіе, получаемое съ послѣдовательныхъ точекъ зрѣнія, съ которыхъ и отмѣчается соприкосновеніе новаго предмета, который изучаютъ, съ тѣми, которые считаются уже извѣстными. Въ своемъ вѣчно ненасытимомъ желаніи охватить предметъ, вокругъ котораго онъ осужденъ вращаться, анализъ безъ конца умножаетъ точки зрѣнія, чтобы дополнить представленіе, всегда неполное, безъ усталости разнообразить символы, чтобы довершить переводъ, всегда несовершенный. Онъ продолжается въ бесконечность. Интуиція же, если она возможна, есть актъ простой.

Признавши это, можно замѣтить безъ труда, что обыкновенной функціей положительной науки является анализъ. Она работаетъ поэтому прежде всего надъ символами. Даже самыя конкретныя изъ наукъ о природѣ, науки о жизни, придерживаются видимой формы живыхъ существъ, ихъ органовъ, ихъ анатомическихъ элементовъ. Онѣ сравниваютъ формы однѣ съ другими, сводятъ самыя сложныя изъ нихъ къ самымъ простымъ, словомъ, онѣ изучаютъ отправление жизни въ томъ, что является въ ней, такъ сказать, видимымъ символомъ. Если существуетъ средство владѣть реальностью абсолютно вмѣсто того, чтобы познавать ее относительно, помѣщаться въ нее, то того, чтобы усваивать точки зрѣнія на нее, то интуицію вмѣсто

того, чтобы дѣлать ея анализъ, словомъ, схватывать ее помимо всякаго выраженія, перевода или символическаго представленія, то это и будетъ метафизика. Такимъ образомъ, метафизика есть наука, имѣющая притязаніе обходиться безъ символовъ.

Существуетъ, по меньшей мѣрѣ, одна реальность, которую всѣ мы схватываемъ изнутри, путемъ интуиціи, а не простымъ анализомъ. Это — наша собственная личность въ ея истеченіи во времени. Это наше я, которое длится. Мы можемъ не имѣть интеллектуальной симпатіи ни съ какой иной вещью. Но мы навѣрное ее имѣемъ относительно ч насъ самихъ.

Когда я пробѣгаю внутреннимъ взоромъ моего сознанія по собственной личности, предположивши ее въ недѣятельномъ состояніи, то я прежде всего замѣчаю всѣ воспріятія, доходящія до нея изъ матеріальнаго міра: какъ затвердѣвшая кора, они лежатъ на ея поверхности. Эти воспріятія точны, отчетливы; они рядопологаются или могутъ рядопологаются одни возлѣ другихъ; они стремятся сгруппироваться въ предметы. Я замѣчаю затѣмъ воспоминанія, болѣе или менѣе связанныя съ этими воспріятіями и служащія для ихъ истолковыванія; эти воспоминанія какъ-бы выдѣлились изъ глубины моей личности, привлекаемыя на поверхность сходными съ ними воспріятіями; они расположились на мнѣ, совершенно не будучи мною. И наконецъ я чувствую проявленіе тенденцій, двигательныхъ привычекъ, множество возможныхъ дѣйствій, болѣе или менѣе прочно связанныхъ съ этими воспріятіями и съ этими воспоминаніями. Всѣ эти элементы съ вполне опредѣленными формами тѣмъ болѣе кажутся мнѣ различающимися отъ меня, чѣмъ они болѣе отличаются другъ отъ друга. Направляясь изнутри къ наружи, они составляютъ въ своемъ соединеніи поверхность сферы, стремящейся расшириться и затеряться во внѣшнемъ мірѣ. Но если я направляюсь отъ поверхности къ центру, если я буду углубляться въ себя и искать то, что является моимъ „я“ наиболѣе неизмѣнно, наиболѣе постоянно, наиболѣе прочно, то я найду совсѣмъ иное.

Подъ этими отчетливо вырѣзанными кристаллами и этимъ поверхностнымъ напыльемъ, я нахожу непрерывность исте-

ченія, несравнимаго ни съ чѣмъ, что когда-либо передо мной протекало. Это — послѣдовательность состояній, изъ которыхъ каждое возвыщаетъ то, что за нимъ слѣдуетъ, и содержитъ то, что предшествуетъ. По правдѣ говоря, эта множественность состояній образуется только тогда, когда я уже перешелъ черезъ нихъ и оборачиваюсь назадъ, чтобы обозрѣвать ихъ слѣды. Когда я ихъ испытывалъ, они были такъ прочно организованы, такъ глубоко одушевлены общей жизнью, что я никогда-бы не могъ сказать, гдѣ одно изъ нихъ начинается, гдѣ другое кончается. Въ дѣйствительности, ни одно изъ нихъ ни начинается, ни кончается, но всѣ продолжаютъ одни въ другихъ.

Если угодно, это — развертыванье, ибо нѣтъ ни одного живого существа, которое не чувствовало бы себя мало-помалу подвигающимся къ концу своего свитка, и жизнь заключается въ томъ, чтобы старѣть. Но это также точно и постоянное наматыванье, подобное наматыванью нитки на клубокъ, ибо наше прошлое слѣдуетъ за нами; непрерывно оно растетъ на счетъ настоящаго, которое оно подбираетъ въ пути, и сознание обозначаетъ собою память.]

По правдѣ говоря, это ни наматыванье, ни развертыванье, ибо оба эти образа вызываютъ представленіе линій или поверхностей, части которыхъ однородны между собой и могутъ быть наложены однѣ на другія. А между тѣмъ не существуетъ двухъ моментовъ у одного и того-же сознательнаго существа, которые были-бы тождественны. Возьмите самое простое чувство, предположите его постояннымъ, включите въ него всю личность цѣликомъ: сознание, которое будетъ сопровождать это чувство, не сможетъ остаться тождественнымъ самому себѣ въ теченіе двухъ послѣдовательныхъ моментовъ, потому что слѣдующій моментъ всегда содержитъ въ себѣ, сверхъ момента предъидущаго, воспоминаніе, которое послѣдній по себѣ оставилъ. Сознаніе, которое имѣло бы два тождественныхъ момента, было бы сознаниемъ лишеннымъ памяти. Оно погибало бы и возрождалось непрерывно. [Можно ли представить себѣ иначе безсознательное?]

Нужно будетъ поэтому вызвать образъ спектра въ тысячахъ оттѣнковъ съ нечувствительными переходами отъ

одного оттѣнка къ другому. Потокъ ощущенія, пересѣкающій спектръ, окрашиваясь по-очередно каждымъ изъ этихъ оттѣнковъ, испыталь-бы послѣдовательныя измѣненія, изъ которыхъ каждое возвыщало-бы слѣдующее и резюмировало-бы въ себѣ предъидущія. Но послѣдовательныя оттѣнки спектра все-же останутся всегда внѣшними другъ другу. Они рядопологаются. Они занимаютъ пространство. Чистая-же длительность, напротивъ, исключаетъ всякое представленіе о рядоположенности, взаимной внѣшности и протяженности.

Представимъ-же себѣ лучше безконечно малую резину, сжатую, если бы это было возможно, въ математическую точку. Будемъ вытягивать ее постепенно такимъ образомъ, чтобы изъ точки заставить выходить линію, которая будетъ все удлиняться. Сосредоточимъ наше вниманіе не на линіи, какъ линіи, но на дѣйствіи, которое ее чертитъ. Будемъ считать, что дѣйствіе, вопреки его длительности, недѣлимо, если предположить, что оно выполняется безостановочно; что если въ него входитъ остановка, то изъ него дѣлается два дѣйствія вмѣсто одного, и каждое изъ этихъ дѣйствій будетъ такимъ недѣлимымъ, о которомъ мы говоримъ; что дѣлимымъ является не само движущееся дѣйствіе, но, неподвижная линія, которую оно отлагаетъ подъ собою, какъ слѣдъ въ пространствѣ. Освободимся наконецъ отъ пространства стягивающаго движеніе, чтобы считаться только съ самимъ движеніемъ, съ актомъ напряженія или протяженія, словомъ, съ чистой подвижностью. На этотъ разъ у насъ будетъ болѣе вѣрный образъ развитія нашего „я“ въ длительности.

И однако этотъ образъ будетъ еще неполнымъ; и всякое сравненіе будетъ недостаточнымъ, ибо развертыванье нашей длительности извѣстными сторонами походитъ на единство развивающагося движенія, другими на множественность вырисовывающихся состояній, и никакая метафора не сможетъ передать одинъ изъ двухъ аспектовъ, не жертвуя другимъ. Если я вызываю спектръ въ тысячахъ нюансовъ, то передо мною является законченная вещь, тогда какъ длительность создается непрерывно. Если я думаю объ удлиняющейся резинѣ, о пружинѣ, которая напрягается или ослабѣваетъ, я забываю о богатствѣ красокъ, ха-

ракетномъ для переживаемой длительности, и вижу только простое движеніе, путемъ котораго сознаніе переходитъ отъ одного нюанса къ другому. Внутренняя жизнь есть все это разомъ — разнообразіе качествъ, непрерывность развитія, единство направленія. Въ образахъ ее нельзя себѣ представить.

Но еще труднѣе ее представить путемъ понятій, т.-е. абстрактныхъ идей, общихъ, или простыхъ. Безъ сомнѣнія никакой образъ не передастъ въ совершенствѣ то своеобразное чувство, какое я имѣю объ истеченіи меня самого. Но нѣтъ также и необходимости въ томъ, чтобы я пробовалъ передавать это чувство. Тому, кто не способенъ дать самому себѣ интуицію длительности, составляющей его бытіе, ничто и никогда ее не дастъ, и понятія не болѣе, чѣмъ образы. Единственной задачей философа должно быть здѣсь побужденіе къ извѣстной работѣ, которую у большинства людей стремятся сковать привычки разума, болѣе полезныя для жизни. Но образъ имѣетъ по крайней мѣрѣ то преимущество, что онъ удерживаетъ насъ въ конкретномъ. Никакой образъ не замѣнитъ интуиціи длительности, но много различныхъ образовъ, заимствованныхъ изъ очень различныхъ разрядовъ вещей, смогутъ путемъ сосредоточенія ихъ дѣйствія на одной точкѣ направить сознаніе какъ разъ въ тотъ пунктъ, гдѣ можетъ быть схвачена извѣстная интуиція. Выбирая образы, по возможности не имѣющіе между собою связи, можно воспрепятствовать какому-бы-то ни было изъ нихъ узурпировать мѣсто интуиціи, которую онъ предназначенъ вызвать, ибо въ такомъ случаѣ онъ тотчасъ же будетъ изгнанъ своими соперниками. Заставляя всѣ ихъ, не смотря на различіе ихъ аспектовъ, требовать отъ нашего духа одинъ и тотъ-же родъ вниманія и, такъ сказать, одинаковую степень напряженія, можно мало-по-малу приучить сознаніе къ совершенно спеціальному и вполне опредѣленному состоянію, такому именно, какое оно должно будетъ принимать, чтобы являться передъ самимъ собою безъ покрова. Но нужно еще будетъ, чтобы оно согласилось на это усиліе. Ибо ничто не будетъ ему показано. Оно будетъ только помѣщено въ такое положеніе, которое ему нужно принять, чтобы сдѣлать требуемое усп-

ліе и самому придти къ интуиціи. Неудобство слишкомъ простыхъ понятій въ данномъ случаѣ заключается, напротивъ, въ томъ, что они по истинѣ являются символами, замѣняющими собою символизируемый ими предметъ и не требующими отъ насъ никакого усилія. Приглядываясь ближе, можно замѣтить, что каждое изъ нихъ извлекаетъ изъ предмета то, что у него есть общаго съ другимъ. Можно замѣтить, что каждое изъ нихъ, еще болѣе чѣмъ образъ, выражаетъ собою сравненіе между самимъ предметомъ и тѣмъ, которые съ нимъ сходны. Но такъ какъ сравненіе выказало сходство, такъ какъ сходство есть свойство предмета, свойство-же имѣетъ видъ части предмета, обладающаго этимъ свойствомъ,—то мы безъ труда убѣждаемъ себя, что рядопологая понятія съ понятіями, мы возстановимъ предметъ, какъ цѣлое, изъ его частей, и что мы получимъ, такъ сказать, его интеллектуальный эквивалентъ. Вотъ почему мы думаемъ, что составляемъ правильное представленіе о длительности, располагая въ линію понятія единства, множественности, непрерывности, дѣлимости конечной или бесконечной и т. д. Въ этомъ-то какъ разъ и кроется иллюзія. Въ этомъ-то и заключается опасность. Поскольку абстрактныя идеи могутъ оказывать услуги анализу, т. е. научному изученію предмета въ его отношеніяхъ къ другимъ, постольку онѣ не способны замѣнить собою интуицію, т. е. метафизическое изслѣдованіе предмета въ томъ, что есть въ немъ существеннаго и ему одному принадлежащаго. Съ одной стороны, дѣйствительно, эти сложенные вмѣстѣ понятія всегда будутъ давать намъ только искусственное воспроизведеніе предмета, они могутъ только символизировать нѣкоторыя общія и въ нѣкоторомъ родѣ безличныя его стороны. Напрасно поэтому было-бы надѣяться схватить помощью ихъ реальность: они ограничиваются тѣмъ, что представляютъ намъ только тѣнь ея. Но, съ другой стороны, вмѣстѣ съ иллюзіей существуетъ также и очень большая опасность. Ибо понятіе, абстрагируя, вмѣстѣ съ тѣмъ и обобщаетъ. Понятіе символизируетъ спеціальное свойство не иначе, какъ дѣлая его общимъ для бесконечности вещей. Широкимъ толкованіемъ, которое оно ему даетъ, оно всегда поэтому болѣе

или менѣе его извращаетъ. Помѣщенное въ метафизическій предметъ, которому оно принадлежитъ, свойство совпадаетъ съ предметомъ или, по крайней мѣрѣ, формируется по немъ, принимаетъ его контуры. Извлеченное изъ метафизическаго предмета и представленное въ понятіи, оно расширяется безгранично, оно переходитъ за предметъ, потому что отнынѣ оно должно содержать вмѣстѣ съ нимъ и другіе предметы. Различныя, образуемая нами понятія о свойствахъ вещи, обрисовываютъ поэтому вокругъ нея круги значительно ее превосходящіе, изъ которыхъ ни одинъ не прилегаетъ къ ней съ точностью. А между тѣмъ въ самой вещи свойства сливались съ ней и сливались, слѣдовательно, между собою. Намъ поэтому необходимо изыскивать какой-нибудь искусственный способъ, чтобы возстановить сліяніе. Мы беремъ одно какое-нибудь изъ этихъ понятій и пробуемъ съ его помощью соединять другія. Но въ зависимости отъ того, будемъ-ли мы исходить изъ того или изъ другого понятія, соединеніе будетъ совершаться различно. Будемъ-ли мы, напр., исходить изъ единства или изъ множественности, наше пониманіе множественнаго единства будетъ не одинаково. Все будетъ зависеть отъ вѣса, который мы придадимъ тому или другому понятію, а вѣсъ этотъ будетъ всегда произвольнымъ, такъ какъ понятіе, извлеченное изъ предмета, не имѣетъ вѣса, являясь только тѣнью тѣла. Такъ всплыветъ множество различныхъ системъ,—столько, сколько существуетъ внѣшнихъ точекъ зрѣнія на изслѣдуемую дѣйствительность,—или все расширяющихся круговъ, въ которые хотѣть ее заключить. Неудобство простыхъ понятій заключается поэтому не только въ томъ, что они дѣляютъ конкретное единство предмета на соответственное число символическихъ выраженій; онѣ дѣляютъ также философію на различныя школы, изъ которыхъ каждая держится своего мѣста, выбираетъ свои жетоны и начинается съ другими составленіе, которому не суждено окончиться. Или метафизика есть только эта игра идей, или, если это серьезное занятіе для духа, если это наука, а не просто упражненіе,—нужно чтобы она вышла изъ предѣловъ понятій, и перешла къ интуиціи. Конечно, понятія для нея необходимы, ибо всѣ

другія науки работают обыкновенно надъ понятіями, а метафизика не можетъ обойтись безъ другихъ наукъ. Но самой собою въ собственномъ смыслѣ слова она является только тогда, когда она переходитъ за понятіе или, по крайней мѣрѣ, когда она освобождается отъ понятій неподатливыхъ, вполне законченныхъ, чтобы создавать понятія инныя, совершенно не похожія на тѣ, какими мы обычно пользуемся, — я хочу сказать, создавать представленія гибкія, подвижныя, почти текучія, всегда готовые принять ускользящія формы интуиціи. Мы возвратимся еще къ этому существенному пункту. Намъ достаточно было показать, что наша длительность можетъ быть намъ представлена непосредственно въ интуиціи, что косвенно она можетъ быть намъ подсказана образами, но что она не можетъ замкнуться въ представленіе, выражаемое понятіями, если оставить за словомъ понятіе его подлинный смыслъ.

Попробуемъ на одно мгновеніе сдѣлать ее множественностью. Необходимо будетъ прибавить, что члены этой множественности, вмѣсто того, чтобы разграничиваться, какъ члены какой-бы то ни было множественности, захватываютъ другъ друга, что хотя мы и можемъ, конечно, путемъ усилія воображенія придать твердость длительности, уже истекшей, раздѣлить ее на рядопологающіеся куски и сосчитать всѣ эти куски, но что операція эта совершается надъ застывшимъ воспоминаніемъ длительности, надъ неподвижнымъ слѣдомъ, оставляемымъ за собою подвижностью длительности, но не надъ самой длительностью. Мы должны будемъ поэтому признать, что если есть здѣсь множественность, то эта множественность не походитъ ни на какую другую множественность. Не скажемъ-ли мы въ такомъ случаѣ, что длительность обладаетъ единствомъ? Конечно, непрерывность элементовъ, продолжающихся одни въ другихъ, причастна единству, такъ-же, какъ и множественности, но это подвижное, измѣнчивое, окрашенное, живое единство совсѣмъ не похоже на единство абстрактное, неподвижное и пустое, которое дается въ понятіи чистаго единства. Не можемъ-ли мы отсюда заключить, что длительность должна опредѣлиться разомъ единствомъ и множественностью? Но, странная вещь,—сколько-бы я ни

работалъ надъ этими понятіями, сколько-бы ни дозировалъ, какими-бы различными способами ни соединялъ ихъ между собою, сколько-бы ни прилагалъ къ нимъ самыхъ тончайшихъ операций умственной химіи, я никогда не получу ничего, что походило-бы на простую имѣющуюся у меня интуицію длительности, если-же я перемѣщаюсь въ длительность усиленіемъ интуиціи, я тотчасъ замѣчаю, какимъ образомъ эта длительность есть и единство, и множественность и еще многое другое. Эти различные понятія были, такимъ образомъ, внѣшними точками зрѣнія на длительность. Ни въ раздѣльности, ни въ соединеніи они не помогли намъ проникнуть въ самое длительность.

Однако мы въ нее проникаемъ, и проникаемъ только путемъ интуиціи. Въ этомъ смыслѣ внутреннее, абсолютное познаніе мною длительности моего собственнаго „я“ оказывается возможнымъ. Но если метафизика требуетъ и можетъ здѣсь получить интуицію, то наука не менѣе того нуждается въ анализѣ. И отъ смѣшенія роли анализа съ ролью интуиціи и зарождаются споры между школами и столкновенія между системами.

Въ самомъ дѣлѣ, психологія примѣняетъ анализъ подобно другимъ наукамъ. Она разлагаетъ „я“, которое первоначально было дано ей въ простой интуиціи, на ощущенія, чувства, представленія и т. д., которыми она изучаетъ отдѣльно. Такимъ образомъ, она замѣняетъ „я“ рядомъ элементовъ, являющихся психологическими фактами. Но будутъ-ли эти элементы частями? Въ этомъ весь вопросъ, и именно потому, что его не затрагивали, проблема чело-вѣческой личности и являлась часто въ неразрѣшимой постановкѣ.

Неоспоримо, что всякое психологическое состояніе, по тому одному, что оно принадлежитъ какому-нибудь лицу, отражаетъ личность въ ея цѣломъ. Не существуетъ чувства, какъ-бы просто оно ни было, которое не заключало-бы въ себѣ въ возможности прошлаго и настоящаго того существа, которое его испытываетъ; отдѣлиться отъ этого существа и образовать состояніе это чувство можетъ не иначе, какъ усиленіемъ абстракціи или анализа. Но не менѣе неоспоримо, что безъ этого усилія абстракціи или анализа не было-бы

возможно развитие науки психологии. Въ чемъ-же состоитъ операція, путемъ которой психологъ выдѣляетъ психологическое состояніе, чтобы возвести его въ болѣе или менѣе независимую сущность? Онъ начинается съ того, что пренебрегаетъ специфической окраской личности, которая не можетъ быть выражена въ общихъ и уже извѣстныхъ терминахъ. Затѣмъ онъ старается въ личности, уже такимъ путемъ упрощенной, изолировать ту или иную сторону, представляющую интересъ для изученія. Пусть дѣло идетъ, на примѣръ, о какой-нибудь склонности. Психологъ оставитъ въ сторонѣ окрашивающій ее оттѣнокъ, не поддающійся выраженію, и являющійся причиной того, что моя склонность не есть ваша склонность; затѣмъ онъ обратится къ тому движенію, которымъ наша личность стремится къ извѣстному предмету; онъ изолируетъ это положеніе, и эту специальную сторону личности, эту точку зрѣнія на подвижность внутренней жизни, эту „схему“ конкретной склонности, онъ и возведетъ въ независимый фактъ. Трудъ этотъ аналогиченъ труду художника, который, находясь проѣздомъ въ Парижѣ, сдѣлалъ-бы, на примѣръ, набросокъ одной изъ башенъ собора Notre-Dame. Башня нераздѣльно связана со всѣмъ зданіемъ, которое такъ-же нераздѣльно связано съ почвой, съ окружающимъ, со всѣмъ Парижемъ и т. д. Нужно начать съ того, что выдѣлить ее: изъ всего цѣлаго отмѣчается только извѣстный аспектъ — именно эта башня собора Notre-Dame. Далѣе, башня въ дѣйствительности составлена изъ камней, специальная группировка которыхъ и даетъ ей ея форму; но художникъ не интересуется камнями, онъ отмѣчаетъ только силуэтъ башни. Онъ замѣняетъ, такимъ образомъ, реальную и внутреннюю организацію вещи внѣшнимъ и схематическимъ составленіемъ. Такимъ образомъ, рисунокъ его соответствуетъ, въ сущности, извѣстной точкѣ зрѣнія на предметъ и выбору извѣстнаго способа представленія. Совершенно то-же самое можно сказать о той операціи, путемъ которой психологъ извлекаетъ психологическое состояніе изъ личности, какъ цѣлаго. Это изолированное психологическое состояніе является не болѣе, какъ эскизомъ, началомъ искусственнаго возстановленія; это — цѣлое, разсматриваемое подъ извѣстнымъ, элементарнымъ аспек-

томъ, которымъ спеціально интересовались и который позаботились отмѣтить. Это—не часть, но элементъ. Онъ полученъ не дѣленіемъ, но анализомъ.

Далѣе, подъ всѣми набросками, сдѣланными въ Парижѣ, иностранецъ, безъ сомнѣнія, подпишетъ для памяти „Парижъ“. И такъ такъ онъ, дѣйствительно, видѣлъ Парижъ, онъ сможетъ, исходя изъ начальной интуиціи цѣлаго, расположить въ немъ свои наброски и связать ихъ, такимъ образомъ, между собою. Но нѣтъ никакой возможности произвести обратную операцію: невозможно, даже обладая безконечностью набросковъ какой-угодно точности, даже со словомъ „Парижъ“, указывающимъ на то, что ихъ нужно соединить вмѣстѣ,—подняться до интуиціи, которой не имѣлось раньше, и получить впечатлѣніе отъ Парижа, если Парижа не видали. И это потому, что здѣсь имѣются совсѣмъ не части цѣлаго, но отмѣтки сдѣланныя съ цѣлаго. Возьмемъ еще болѣе яркій примѣръ, гдѣ символичность означенія выступаетъ съ еще большей полнотой,—предположимъ, что передо мной перемѣшанныя буквы, входящія въ составъ незнакомой мнѣ поэмы. Если-бы буквы были частями поэмы, я могъ-бы попытаться возстановить ее изъ нихъ, пробуя всевозможныя комбинаціи, какъ это дѣлаетъ ребенокъ съ частями разрѣзанной картинки. Но я не подумаю этого дѣлать ни одно мгновеніе, такъ какъ буквы не составныя части, но частичныя выраженія, что совсѣмъ иное дѣло. Вотъ почему, если я знаю поэму, я тотчасъ-же поставлю каждую букву на то мѣсто, которое ей принадлежитъ, и безъ всякаго труда я соединю ихъ непрерывной чертой, тогда какъ обратная операція не возможна. Даже если я подумаю попытаться произвести эту обратную операцію и начну ставить буквы одну за другой, то это будетъ не ранѣе, чѣмъ я представлю себѣ вѣроятный смыслъ: я даю себѣ, такимъ образомъ, интуицію, и отъ этой интуиціи я пробую спуститься къ элементарнымъ символамъ, которые и должны послужить ея выраженіемъ. Одна мысль, что можно возстановить вещь путемъ оперирования только символическими элементами, включаетъ въ себѣ такую нелѣпость, что она не могла бы никому прійти въ голову, если-бы давали себѣ отчетъ, что въ этомъ случаѣ

приводится имѣть дѣло не съ фрагментами вещи, а, въ нѣ-  
которомъ родѣ, съ фрагментами символа.

Таковымъ, однако, является предпріятіе философовъ,  
пытающихся составить личность изъ психологическихъ со-  
стояній, ограничиваются-ли они только этими состояніями,  
или прибавляютъ сюда нить, предназначенную для связы-  
ванія этихъ состояній между собою. Эмпиристы и рациона-  
листы впадаютъ въ одно и то-же заблужденіе. Тѣ и другіе  
принимаютъ частичныя означенія за реальныя  
части, смѣшивая, такимъ образомъ, точку зрѣнія анализа  
съ точкой зрѣнія интуиціи, науку съ метафизикой.

Первые вполне правы, говоря, что психологическій  
анализъ ничего не вскрываетъ въ личности, помимо психо-  
логическихъ состояній. И такова, дѣйствительно, функція  
анализа, таково само его опредѣленіе. Психологу ничего не  
остается, какъ только анализировать личность, т.-е. отмѣ-  
чать состоянія: самое большее онъ помѣтитъ состоянія руб-  
рикой „я“, говоря, что это—„состоянія я“, подобно тому,  
какъ художникъ пишетъ слово „Парижъ“ на каждомъ изъ  
своихъ набросковъ. На той почвѣ, на которой стоитъ психо-  
логъ и на которой онъ долженъ стоять, „я“ является только  
знакомъ, которымъ напоминаютъ о первоначальной интуиціи  
(къ тому же, очень смутной), доставившей психологѣ ея пред-  
метъ: это не болѣе, какъ слово, и большое заблужденіе ду-  
мать, что можно, оставаясь на той-же почвѣ, найти позади  
слова вещь. [Таково было заблужденіе тѣхъ философовъ,  
которые не могли примириться съ тѣмъ, чтобы въ психо-  
логѣ быть просто психологами; какъ, напримѣръ, Тэнъ и  
Стюартъ Милль. Психологи по методу, ими примѣняемому,  
они остались метафизиками по задачѣ, которую они себѣ  
ставятъ. Они желали-бы интуиціи и, по странной непослѣ-  
довательности, они добиваются этой интуиціи отъ анализа,  
являющагося ея полнымъ отрицаніемъ.] Они ищутъ „я“ и  
хотятъ найти его въ психологическихъ состояніяхъ, а между  
тѣмъ это многообразіе психологическихъ состояній полу-  
чается только тогда, когда переносятся внѣ „я“, чтобы сдѣлать  
съ личности рядъ набросковъ, рядъ помѣтокъ, чтобы полу-  
чить отъ нея рядъ болѣе или менѣе схематическихъ и сим-  
волическихъ представленій. Вотъ почему, сколько-бы они

ни рядопологали состоянія къ состояніямъ, сколько-бы ни умножали контакты, ни изслѣдовали промежутки, — „я“ всегда отъ нихъ ускользаетъ, такъ что въ концѣ концовъ они видятъ въ немъ только пустой призракъ. Таково было-бы отрицаніе смысла въ „Иліадѣ“ подѣ тѣмъ предлогомъ, что тщетно искали этотъ смыслъ въ промежуткахъ между буквами, составляющими поэму.

Такимъ образомъ, философскій эмпиризмъ зародился вслѣдствіе смѣшенія точки зрѣнія интуиціи съ точкой зрѣнія анализа. Сущность его состоитъ въ томъ, что онъ ищетъ оригиналь въ переводѣ, гдѣ, естественно, его быть не можетъ, и отрицаетъ оригиналь подѣ тѣмъ предлогомъ, что не находитъ его въ переводѣ. По необходимости, онъ приводитъ къ отрицаніямъ, но, приглядываясь ближе къ этимъ отрицаніямъ, можно замѣтить, что они по-просту служатъ выраженіемъ той очевидности, что анализъ — не интуиція. Отъ начальной, и притомъ смутной интуиціи, доставляющей наукѣ предметъ изслѣдованія, наука тотчасъ-же переходитъ къ анализу, умножающему до безконечности точки зрѣнія на этотъ предметъ. Очень скоро ей начинаетъ казаться, что она могла-бы возстановить предметъ, соединяя вмѣстѣ всѣ эти точки зрѣнія. Нужно-ли удивляться, что она видитъ этотъ предметъ убѣгающимъ отъ нея, какъ бываетъ это съ ребенкомъ, пожелавшимъ построить себѣ прочную игрушку изъ тѣней, рисующихся на стѣнахъ?

Но раціонализмъ поддается той-же иллюзіи. Онъ исходитъ изъ того же смѣшенія, которое совершилъ эмпиризмъ, и остается столь-же безпомощнымъ въ постиженіи личности. Какъ эмпиризмъ, онъ считаетъ психологическія состоянія за фрагменты, выдѣленные изъ соединявшаго ихъ „я“. Какъ эмпиризмъ, онъ старается вновь соединить эти фрагменты между собою, чтобы снова создать единство личности. Какъ эмпиризмъ, наконецъ, онъ видитъ, что единство личности, подобно призраку, безъ конца ускользаетъ отъ постоянно возобновляемаго со стороны раціонализма усилія. Но въ то время, какъ эмпиризмъ, утомленный сопротивленіемъ, въ концѣ концовъ заявляетъ, что нѣтъ ничего другого, кромѣ множественности психологическихъ состояній,

раціоналізмъ продолжаетъ настаивать на утвержденіи единства личности. Правда, что, такъ какъ онъ отыскиваетъ это единство на почвѣ самихъ психологическихъ состояній, и вынужденъ къ тому-же относить на счетъ психологическихъ состояній всѣ качества и опредѣленія, которыя онъ находитъ въ анализѣ (потому что анализъ, по самому опредѣленію, приводитъ всегда къ состояніямъ), то для единства личности ему ничего не остается, какъ нѣчто чисто отрицательное, отсутствіе всякаго опредѣленія. Такъ какъ психологическія состоянія по необходимости взяли и сохранили для себя, въ этомъ анализѣ, все, что представляетъ собою малѣйшую видимость матеріальности, „единство я“ не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ только формой безъ матеріи. Это будетъ абсолютная неопредѣленность и абсолютная пустота. Къ выдѣленнымъ психологическимъ состояніямъ, къ этимъ тѣнямъ „я“, собраніе которыхъ было для эмпиристовъ эквивалентомъ личности, раціоналізмъ присоединяетъ, для восстановленія личности, нѣчто, еще болѣе нереальное,—пустоту, въ которой эти тѣни двигаются, мѣстопробываніе тѣней, — если можно такъ сказать. Какъ можетъ эта поистинѣ безформенная „форма“ характеризовать живую, дѣйствующую, конкретную личность, и различать Петра отъ Павла? Нужно-ли удивляться, что философы, изолировавшіе эту „форму“ отъ личности, находятъ ее затѣмъ безсильною для опредѣленія личности, и что они вынуждены постепенно создавать изъ нѣхъ пустого „я“ бездонный пріемникъ, не принадлежащій уже ни Павлу, ни Петру, и гдѣ найдется мѣсто, по желанію, или для цѣлаго человѣчества, или для Бога, или для существованія вообще? Я вижу здѣсь между эмпиризмомъ и раціонализмомъ ту единственную разницу, что первый, отыскивая единство „я“, такъ сказать, въ промежуткахъ между психологическими состояніями, вынужденъ пополнять промежутки новыми состояніями, и такъ до бесконечности, такъ что „я“, сжатое въ постепенно суживающемся промежуткѣ, по мѣрѣ того, какъ подвигается анализъ, приближается къ нулю, тогда какъ раціоналізмъ, дѣлая изъ „я“ мѣстонахожденіе состояній, имѣетъ передъ собою пустое пространство, для ограниченія котораго здѣсь или въ другомъ мѣстѣ не существуетъ

никакихъ оснований, которое переходитъ всѣ послѣдовательныя границы, какія можно было-бы ему поставить, которое все расширяется и стремится потеряться уже не въ нуль, а въ безконечности.

Такимъ образомъ, разстояніе между мнимымъ „эмпиризмомъ“, какъ эмпиризмъ Тэна, и самыми трансцендентными умозрѣніями нѣмецкихъ пантеистовъ, гораздо менѣе значительно, чѣмъ это полагаютъ. Методъ аналогиченъ въ обоихъ случаяхъ: онъ состоитъ въ томъ, что обь элементахъ перевода, рассуждаютъ такъ, какъ будто-бы это были части оригинала. Истинный-же эмпиризмъ ставитъ себѣ задачей встать какъ можно ближе къ самому оригиналу, углубиться въ его жизнь и помощью какъ-бы интеллектуальной аускультациі почувствовать біеніе его души; и этотъ истинный эмпиризмъ есть истинная метафизика. Работа эта крайне трудная, такъ какъ тутъ не можетъ уже служить ни одно изъ готовыхъ понятій, которыми пользуется мысль для своихъ повседневныхъ операцій. Ничего нѣтъ легче, какъ сказать, что „я“ есть множественность, или что оно есть единство, или синтезъ того и другого. Единство и множественность являются здѣсь представленіями, которыя нѣтъ нужды выкраивать по предмету; они оказываются уже сфабрикованными, и остается только выбрать ихъ изъ кучи; это—готовое платье, пригодное какъ для Петра, такъ и для Павла, потому что оно не обрисовываетъ фигуры ни того ни другого. Но эмпиризмъ, достойный этого имени,— эмпиризмъ, работающій только по мѣркѣ, считаетъ себя обязаннымъ для каждаго вновь изучаемаго имъ предмета совершить вполнѣ новое усиліе. Онъ выкраиваетъ для предмета понятіе, приспособленное только для одного этого предмета, — понятіе которое едва допускаетъ это названіе, такъ какъ оно прилагается только къ одной этой вещи. Онъ не прибѣгаетъ къ комбинированію идей, находящихся въ обращеніи, какъ, напр., идей единства и множественности; представленіе, къ которому оно насъ приводитъ, является, напротивъ, представленіемъ единымъ, простымъ, хотя и дающимъ полную возможность понять, — послѣ того, какъ оно образовалось, — почему его можно помѣстить въ рамки единства, множественности т. д. всѣ гораздо болѣе широкія, чѣмъ оно. Сло-

вомъ, философія съ такимъ опредѣленіемъ не будетъ выбирать между понятіями и не будетъ примыкать къ какой-нибудь школѣ; она будетъ искать единую интуицію и, находясь выше дѣленія на школы, сможетъ легко спускаться къ различнымъ понятіямъ.

Что личность имѣетъ единство,—это извѣстно, но подобное утвержденіе ничему меня не научаетъ относительно необычайной природы того единства, каковымъ является личность. Что наше „я“ множественно, я также съ этимъ согласенъ; но здѣсь существуетъ множественность, относительно которой нужно будетъ признать, что она не имѣетъ ничего общаго ни съ какой другой множественностью. Существеннымъ для философіи является знать, какое единство, какая множественность, какая реальность, возвышающаяся надъ абстрактными единымъ и многимъ, является множественнымъ единствомъ личности. И она познаетъ это только тогда, когда вновь овладѣетъ той простой интуиціей, въ которой „я“ познается самимъ „я“. Тогда, смотря по склону, который она выберетъ при спускѣ съ этой вершины, она придетъ къ единству или къ множественности, или къ какому бы то ни было изъ понятій, которыми пытаются опредѣлить подвижную жизнь личности. Но, повторяемъ, никакая смѣсь этихъ понятій не можетъ дать ничего, что походило-бы на личность, которая длится.

Если вы дадите мнѣ твердый конусъ, мнѣ не трудно будетъ замѣтить, какъ онъ суживается къ вершинѣ, стремясь слиться съ математической точкой, какъ также онъ расширяется по направленію къ основанію въ безконечно увеличивающійся кругъ. Но ни точка, ни кругъ, ни наложение обонхъ на одну плоскость не дадутъ мнѣ ни малѣйшаго представленія о конусѣ. Такъ и съ множественностью и единствомъ психологической жизни. Такъ и съ Нулемъ и Безконечностью, къ которымъ приводится личность эмпиризмомъ и рационализмомъ.

Понятія, какъ мы покажемъ это въ другомъ мѣстѣ, возникаютъ обыкновенно парами и представляютъ собою двѣ противоположности. Не существуетъ конкретной реальности, на которую нельзя было-бы имѣть разомъ двухъ точекъ зрѣнія, другъ другу противоположныхъ и, слѣдовательно,

вкладывающихся въ два противоположныхъ понятія. Отсюда—тезисъ и антитезисъ, которые напрасно было-бы пытаться примирить логическимъ путемъ, по той очень простой причинѣ, что изъ понятій и точекъ зрѣнія никогда ничего не создается. Но отъ предмета, схваченнаго въ интуиціи, во множествѣ случаевъ, можно безъ труда перейти къ двумъ противоположнымъ понятіямъ, и такъ какъ, благодаря этому, можно видѣть, какъ изъ реальности выходитъ тезисъ и антитезисъ, то можно схватить разомъ и то, какимъ образомъ этотъ тезисъ и этотъ антитезисъ противопоставляются, и какъ они согласуются.

Правда, что для этого нужно прибѣгнуть къ полному нарушенію порядка въ обычной работѣ интеллекта. Мыслить обычно—значитъ идти отъ понятій къ вещамъ, а не отъ вещей къ понятіямъ. Познавать реальность въ обыкновенномъ смыслѣ слова „познавать“,—значитъ брать уже готовые понятія, дозировать ихъ и соединять вмѣстѣ до тѣхъ поръ, пока не получится практическій эквивалентъ realнаго. Но не слѣдуетъ забывать, что обычный трудъ интеллекта далеко не является трудомъ безкорыстнымъ. Вообще, мы добиваемся знанія не ради знанія, но для того, чтобы принять извѣстное рѣшеніе или извлечь выгоду, словомъ, ради какого-нибудь интереса. Мы изслѣдуемъ, въ какой мѣрѣ познаваемый предметъ является тѣмъ или этимъ, въ какой уже извѣстный родъ онъ входитъ, какое дѣйствіе, попытку или положеніе долженъ онъ намъ подсказать. Эти различные возможные дѣйствія и положенія и будутъ направленіями понятій въ нашемъ мышленіи, опредѣляемыми разъ на всегда; остается только имъ слѣдовать: въ этомъ именно и состоитъ приложение понятій къ вещамъ. Примѣрять понятіе на предметъ, это значитъ—спросить у предмета, что намъ съ нимъ дѣлать, что онъ можетъ намъ сдѣлать. Наклеить на предметъ этикетку какого-нибудь понятія, это значитъ отмѣтить въ точныхъ выраженіяхъ родъ дѣйствія или положенія, который предметъ долженъ будетъ намъ подсказать. Всякое познаніе въ собственномъ смыслѣ слова идетъ поэтому въ извѣстномъ направленіи или получается съ извѣстной точки зрѣнія. Правда, что нашъ интересъ бываетъ иногда

очень сложенъ. Вотъ почему намъ случается давать нѣсколько послѣдовательныхъ направленій нашему познанію одного и того-же предмета, и мѣнять наши точки зрѣнія на него. Въ этомъ состоитъ „широкое“ и „всеобъемлющее“ познаніе предмета въ обычномъ значеніи этихъ выраженій: предметъ сводится тогда не къ единому понятію, но къ нѣсколькимъ, къ которымъ его считаютъ „причастнымъ“. Какъ можетъ онъ оказаться причастнымъ всѣмъ этимъ понятіямъ разомъ,—этотъ вопросъ не ставится и въ практикѣ значенія не имѣетъ. Поэтому естественно и законно, чтобы въ текущей жизни мы примѣняли рядоположеніе и дозировку понятій: никакого философскаго затрудненія отъ этого не произойдетъ, потому что, по молчаливому соглашенію, мы будемъ воздерживаться отъ философствованія. Но переносить этотъ *modus operandi* въ философію, и здѣсь также идти отъ понятій къ вещи, и здѣсь имѣя въ виду на этотъ разъ безкорыстное постиженіе предмета, въ немъ самомъ, прилагать тотъ же способъ познанія, который внушается извѣстнымъ интересомъ и по самому опредѣленію является точкой зрѣнія, взятой на предметъ извне, — это значитъ идти противъ собственной цѣли, это значитъ сдѣлать философію жертвой вѣчныхъ пререканій между школами, это значитъ вложить противорѣчіе въ самое сердце предмета и метода. Или не существуетъ никакой философіи, и всякое познаніе вещей есть познаніе практическое, направленное къ тому, чтобы извлечь изъ этихъ вещей пользу, или философія состоитъ въ томъ, чтобы перемѣщаться въ самый предметъ усиленіемъ интуиціи.

Но чтобы понять природу этой интуиціи, чтобы съ точностью опредѣлить, гдѣ кончается интуиція и гдѣ начинается анализъ, нужно возвратиться къ тому, что было говорено выше объ истеченіи длительности.

Тогда обнаружится, что понятія и схемы, къ которымъ приводитъ анализъ, характеризуются, главнымъ образомъ, тѣмъ, что они остаются неподвижными въ то время, когда ихъ разсматриваютъ. Я изолировалъ въ цѣломъ внутренней жизни ту психологическую сущность, которую я называю простымъ ощущеніемъ. Пока я его изучаю, я пред-

полагаю, что оно остается тѣмъ, что оно есть. Если бы я нашелъ въ немъ какое-нибудь измѣненіе, я сказалъ-бы, что тутъ нѣтъ единого ощущенія, но нѣсколько послѣдовательныхъ ощущеній; и на каждое изъ этихъ послѣдовательныхъ ощущеній я перенесъ-бы тогда неизмѣняемость, приписываемую сначала ощущенію въ его цѣломъ. При достаточно углубленномъ анализѣ я всегда смогу дойти до элементовъ, которые я буду считать за неизмѣнные. Въ этомъ, и только въ этомъ, я найду прочное основаніе для операций, въ которомъ нуждается наука для своего развитія.

И однако, не существуетъ душевнаго состоянія, какъ-бы просто оно ни было, которое не мѣнялось бы каждое мгновеніе, потому что нѣтъ сознанія безъ памяти, нѣтъ продолженности состоянія безъ прибавленія къ чувству даннаго момента воспоминанія о моментахъ прошлыхъ. Въ этомъ и состоитъ длительность. Внутренняя длительность есть непрерывная жизнь памяти, продолжающей прошлое въ настоящемъ, будетъ-ли это настоящее отчетливо заключать въ себѣ образъ постоянно растущаго прошлаго, или—что вѣрнѣе—свидѣтельствовать своимъ непрерывнымъ качественнымъ измѣненіемъ о бремені, которое приходится тащить за собою, и которое становится все тяжелѣе по мѣрѣ старѣнія. Безъ этого переживанія прошлаго въ настоящемъ не было-бы длительности, была-бы только мгновенность.

Правда, противъ упрека въ томъ, что я исключаю психологическое состояніе изъ длительности уже тѣмъ однимъ, что его анализирую, я могу защищаться, говоря, что каждое изъ этихъ элементарныхъ психологическихъ состояній, къ которымъ приводитъ мой анализъ, является состояніемъ, все еще занимающимъ время. „Мой анализъ, скажу я, разлагаетъ внутреннюю жизнь на состоянія, изъ которыхъ каждое само по себѣ однородно; но такъ какъ однородность простирается на опредѣленное число минутъ или секундъ, то элементарное психологическое состояніе не перестаетъ длиться, хоть оно и не мѣняется“.

Но кто не видитъ, что опредѣленное число минутъ и секундъ, приписываемыхъ мною элементарному психологическому состоянію, есть не болѣе какъ знакъ, назначеніе котораго заключается въ томъ, чтобы напоминать мнѣ, что

психологическое состояніе, предполагаемое однороднымъ, въ дѣйствительности есть состояніе, которое мѣняется и которое длится? Состояніе, взятое въ самомъ себѣ, есть вѣчное становленіе. Я извлекъ изъ этого становленія нѣкоторую среднюю качества, которую я предположилъ неизмѣнной; я составилъ, такимъ образомъ, устойчивое, и этимъ самымъ схематическое, состояніе. Съ другой стороны, я извлекъ изъ него становленіе вообще, которое является безразлично становленіемъ чего-бы то ни было, того-ли или этого; это я и называлъ временемъ, занимаемымъ даннымъ состояніемъ. Присмотрѣвшись ближе, я увидалъ-бы, что это абстрактное время такъ-же неподвижно для меня, какъ и состояніе, которое я въ немъ локализирую, что оно можетъ истекать не иначе, какъ въ процессѣ непрерывнаго качественного измѣненія, безъ качества-же, какъ простая арена для измѣчивости, оно становится неподвижной средой. Я увидалъ-бы, что гипотеза этого однороднаго времени просто предназначена для того, чтобы облегчить сравненіе между различными конкретными длительностями, позволить намъ считать одновременности и измѣрять одно истеченіе длительности по отношенію къ другому. И наконецъ я понялъ-бы, что соединяя съ представленіемъ элементарнаго психологическаго состоянія указаніе опредѣленнаго числа минутъ и секундъ, я только напоминаю, что состояніе было выдѣлено изъ „я“, которое длится, и размежевываю мѣсто, гдѣ можно было-бы его снова привести въ движеніе, чтобы снова его обратить изъ простой схемы, какою оно сдѣлалось, въ конкретную форму, какою оно имѣло прежде. Но я забываю все это, такъ какъ съ этимъ нечего дѣлать въ анализѣ.

Это значитъ, что анализъ всегда оперируетъ неподвижнымъ, тогда какъ интуиція помѣщаетъ себя въ подвижность или — что сводится къ тому-же самому — въ длительность. Здѣсь именно проходитъ демаркаціонная линія между интуиціей и анализомъ. Реальное, переживаемое, конкретное узнается по тому, что оно есть сама измѣчивость. Элементъ узнается по тому, что онъ неизмѣняемъ. И онъ неизмѣняемъ по самому опредѣленію, будучи схемой, упрощенной передѣлкой, часто простымъ символомъ, во всякомъ случаѣ, снимкомъ, полученнымъ съ реальности, которая протекаетъ.

Но ошибочно предполагать, что изъ этихъ схемъ можно возстановить реальное. Никогда не будетъ лишнимъ повторять, что отъ интуиціи можно перейти къ анализу, но нельзя перейти отъ анализа къ интуиціи.

Изъ измѣнчивости я создамъ столько вариаций, столько качествъ или видоизмѣненій, сколько мнѣ вздумается, такъ какъ это будутъ неподвижные снимки, схваченные анализомъ съ данной въ интуиціи подвижности. Но эти сложенные вмѣстѣ видоизмѣненія не произведутъ ничего, что походило бы на измѣнчивость, потому что они были не частями ея, но элементами, что совсѣмъ другое дѣло.

Разсмотримъ, на примѣръ, измѣнчивость, наиболѣе близкую къ однородности, — движеніе въ пространствѣ. Я могу себѣ представить на пути этого движенія возможные остановки: это я называю положеніями подвижнаго тѣла или точками, черезъ которыя оно проходитъ. Но изъ положеній, будь они въ безконечномъ количествѣ, я не могу составить движенія. Они не являются частями движенія; это — снимки съ движенія; можно сказать, что это только предположенія остановокъ. Никогда подвижное тѣло не бываетъ, въ дѣйствительности, ни въ одной изъ точекъ; самое большее можно сказать, что оно черезъ нихъ проходитъ. Но прохождение, т. е. движеніе, не имѣетъ ничего общаго съ остановкой, т. е. съ неподвижностью. Движеніе не можетъ наложиться на неподвижность, ибо, въ такомъ случаѣ, оно слилось бы съ нею, что было бы противорѣчіемъ. Точки не бываютъ внутри движенія, какъ части, ни даже подъ движеніемъ, какъ мѣстонахожденіе подвижнаго тѣла. Онѣ просто проэцированы нами подъ движеніе, какъ мѣста, въ которыхъ, остановившись, могло бы находиться подвижное тѣло, по гипотезѣ, не останавливающееся. Онѣ являются поэтому, собственно говоря, не положеніями, но предположеніями, [взглядами разума, или его точками зрѣнія. Возможно-ли изъ точекъ зрѣнія построить вещь?

И, однако, мы именно это и пытаемся дѣлать всякій разъ, когда разсуждаемъ о движеніи, а также и о времени, представленіемъ котораго служить движеніе. Благодаря иллюзіи, глубоко вкоренившейся въ нашъ разумъ, и такъ какъ мы не можемъ не смотрѣть на анализъ, какъ на экви-

валентъ интуиціи, мы начинаемъ съ того, что различаемъ на пути движенія извѣстное число возможныхъ остановокъ, или точекъ, изъ которыхъ мы дѣлаемъ, волей-неволей, части движенія. Въ силу нашего безсилія возсоздать движеніе изъ этихъ точекъ, мы вставляемъ въ промежутки новыя точки, рассчитывая такимъ путемъ по возможности приблизиться къ тому, что является подвижностью въ движеніи. Затѣмъ, такъ какъ подвижность все еще отъ насъ ускользаетъ, мы подставляемъ на мѣсто конечнаго и опредѣленнаго числа точекъ, число „бесконечно возрастающее“; такъ пытаемся мы—хотя напрасно—движеніемъ нашей мысли, совершающей бесконечное прибавленіе точекъ къ точкамъ, поддѣлать реальное и недѣлимое движеніе подвижнаго тѣла. Въ концѣ концовъ мы говоримъ, что движеніе составляется изъ точекъ, но что помимо этого оно включаетъ въ себя неясный, таинственный переходъ отъ одного положенія къ другому, за нимъ идущему. Какъ будто бы неясность не зависить цѣликомъ отъ того, что неподвижность предполагается болѣе понятной, чѣмъ подвижность, покой считается предшествующимъ движенію. Какъ будто бы таинственность не происходитъ отъ того, что хотятъ идти отъ остановокъ къ движенію путемъ составленія, что является невозможнымъ, тогда какъ такъ легко перейти, путемъ простаго нисхожденія, отъ движенія къ замедленію и къ неподвижности. Именно въ движеніи нужно приучиться видѣть то, что является самымъ простымъ и самымъ яснымъ, такъ какъ неподвижность есть только крайній предѣлъ замедленія движенія, предѣлъ, быть можетъ, только мыслимый, но никогда не осуществляемый въ природѣ. Вы искали смысла поэмы въ формѣ буквъ, ее составляющихъ; вы думали, что, рассматривая увеличивающееся число буквъ, вы сможете постигнуть, наконецъ, смыслъ, всегда ускользающій, и отчаявшись въ этомъ, видя, что бесполезно искать часть смысла въ каждой изъ буквъ, вы предположили, что эта искомая часть таинственнаго смысла должна находиться между каждой буквой и слѣдующей. Но буквы—повторяю еще разъ—не части вещи: это—элементы символа. Положенія подвижнаго тѣла — не части движенія: это—точки пространства, которое по предположенію стагн-

ваетъ движеніе. Это неподвижное и пустое пространство, которое только познается разумомъ, но никогда не воспринимается, совершенно равнозначуще символу. Какъ могли бы вы, употребляя символы, сфабриковать реальность?

Но символъ отвѣчаетъ здѣсь самымъ закоренѣлымъ привычкамъ нашей мысли. Мы помѣщаемся обыкновенно въ неподвижности, гдѣ мы находимъ точку опоры для практики, и думаемъ изъ неподвижности создать подвижность. Мы добиваемся такимъ путемъ только неловкаго подражанія, поддѣлки реальнаго движенія, но это подражаніе служить намъ въ жизни гораздо болѣе, чѣмъ могла-бы это сдѣлать интуиція самой вещи. Нашъ разумъ имѣетъ непреодолимую склонность считать самой ясной ту идею, которая служить ему чаще всего. Вотъ почему неподвижность ему кажется понятнѣе, чѣмъ подвижность, покой предшествующимъ движенію.

Это и вызвало затрудненія, поднятыя проблемой движенія еще со времени глубокой древности. Они являются всегда отъ того, что хотятъ идти отъ пространства къ движенію, отъ линіи, оставляемой движущимся тѣломъ, къ самому передвиженію, отъ неподвижныхъ положеній къ подвижности, и переходить отъ одного къ другому путемъ составленія. А между тѣмъ движеніе предшествуетъ покою, и отношеніе между положеніями и перемѣщеніемъ не будетъ отношеніемъ частей къ цѣлому, а отношеніемъ многообразія возможныхъ точекъ зрѣнія къ реальной недѣлимости предмета.

Та-же самая иллюзія породила много другихъ проблемъ. Чѣмъ являются неподвижныя точки по отношенію къ движенію подвижнаго тѣла, тѣмъ-же самымъ оказываются понятія различныхъ качествъ по отношенію къ качественной измѣнчивости предмета. Различныя понятія, на которыхъ разлагается измѣненіе, оказываются, такимъ образомъ, устойчивыми видѣніями, получаемыми отъ неустойчивости реальнаго. И „мыслить“ предметъ, въ обычномъ смыслѣ этого слова, значить схватывать съ его подвижности одинъ или нѣсколько такихъ неподвижныхъ снимковъ. Это значить, въ сущности, спрашивать себя отъ времени до времени, въ какомъ онъ состояніи, чтобы знать что можно изъ него сдѣ-

лать. Ничего нѣтъ, впрочемъ, болѣе законнаго, чѣмъ этотъ способъ дѣйствія, пока дѣло идетъ только о практическомъ познаніи дѣйствительности. По сколько познаніе направлено на практику, ему остается только перечислять главные возможные положенія вещи относительно насъ, равно какъ наши возможно лучшія положенія по отношенію къ вещи. Такова обычная роль готовыхъ понятій, этихъ вѣхъ, которыми мы отмѣчаемъ путь становленія. Но желать проникнуть съ ихъ помощью во внутреннюю природу вещей, это значить прилагать къ подвижности реального тотъ методъ, который созданъ для того, чтобы дать неподвижныя точки зрѣнія на нее. Это значить позабывать, что если метафизика возможна, то она можетъ быть только тяжелымъ, даже мучительнымъ, усиліемъ, направленнымъ къ тому, чтобы пойти противъ естественнаго склона работы мысли, чтобы сразу войти, путемъ нѣкотораго рода интеллектуальнаго расширенія, въ ту вещь, которую изучаютъ, словомъ, чтобы идти отъ реальности къ понятіямъ, а не отъ понятій къ реальности. Удивительно-ли, что философы такъ часто замѣчаютъ, что предметъ, который они стремятся схватить, ускользаетъ отъ нихъ, подобно тому какъ дымъ ускользаетъ отъ дѣтей, желающихъ удержать его въ сжатой рукѣ. Такъ тянутся безконечные споры между школами, изъ которыхъ каждая, упрекая другія, указываетъ имъ, что онѣ упустили реальное.

Но если метафизика должна прибѣгать къ интуиціи, если интуиція имѣетъ своимъ предметомъ подвижность длительности и если длительность имѣетъ психологическую сущность, то не придется-ли философу замкнуться въ исключительномъ созерцаніи самого себя? Не будетъ-ли философія состоять въ томъ, чтобы только созерцать жизнь, „какъ сонный пастухъ созерцаетъ текущую воду“. Говорить такъ, значило-бы повторять то заблужденіе, на которое мы не переставали указывать съ самого начала этого очерка. Это значило-бы не признавать своеобразной природы длительности, а также по существу своему активнаго, я сказалъ-бы даже, насильственнаго характера метафизической интуиціи. Это значило-бы не видѣть того, что только тотъ методъ, съ которымъ мы говоримъ, позволяетъ перейти за идеализмъ.

равно какъ и за реализмъ, позволяетъ утверждать существованіе предметовъ низшихъ и высшихъ по отношенію къ намъ, хотя однако, въ извѣстной мѣрѣ, находящихся внутри насъ, легко допускаетъ сосуществованіе этихъ предметовъ и даетъ возможность разсѣять постепенно неясности, нагромождаемыя анализомъ вокругъ всѣхъ великихъ проблемъ. Не касаясь здѣсь изученія этихъ различныхъ пунктовъ, покажемъ только, какъ интуиція, о которой мы говоримъ, не является единичнымъ актомъ, но безконечнымъ рядомъ актовъ, изъ которыхъ всѣ безъ сомнѣнія одного рода, но каждый очень своеобразной разновидности — и какъ это многообразіе актовъ отвѣчаетъ всѣмъ ступенямъ бытія.

Если я хочу анализировать длительность, т. е. разложить ее на готовые понятія, я обязанъ по самой природѣ понятія и анализа установить на длительность вообще двѣ противоположныя точки зрѣнія, изъ которыхъ я и долженъ буду потомъ стараться возсоздать ее. Это соединеніе, — заключающее въ себѣ къ тому-же нѣчто чудесное, ибо непонятно, какъ двѣ противоположности могутъ соединиться вмѣстѣ, — не сможетъ представить собою ни многообразія степеней, ни измѣчивости формъ: какъ всѣ чудеса оно можетъ быть только принято или отвергнуто. Я скажу, напримѣръ, что, съ одной стороны, существуетъ множественность послѣдовательныхъ состояній сознанія, а съ другой — единство, ихъ соединяющее. Длительность будетъ „синтезомъ“ этого единства и этой множественности, — операція таинственная, совершающаяся во мракѣ и не позволяющая различать ни отбѣнковъ, ни степеней. Согласно этой гипотезѣ, есть, и должна быть, только единая длительность, — та, въ которой обычно оперируетъ наше сознаніе. Если мы, чтобы закрѣпить нашу мысль, возьмемъ длительность просто подъ видомъ движенія, выполняющагося въ пространствѣ, движеніе же, рассматриваемое, какъ представитель Времени, попытаемся свести къ понятіямъ, то мы получимъ, съ одной стороны, какое угодно число точекъ на траекторіи, и съ другой абстрактное единство, которое соединяетъ ихъ подобно нити, удерживающей вмѣстѣ жемчужины ожерелья. Соединеніе этой абстрактной множественности съ этимъ абстрактнымъ единствомъ, — разъ допу-

стить его возможность — является вещью своеобразною, въ которой мы найдемъ не болѣе нюансовъ, сколько ихъ допускаетъ въ ариѳметикѣ сложеніе данныхъ чиселъ. Но если вмѣсто того, чтобы стремиться анализировать длительность (т.-е., въ сущности, создавать изъ нея синтезъ понятій)—мы прежде всего проникнемъ въ нее путемъ усилія интуиціи, то получится чувство извѣстнаго вполне определеннаго напряженія, само опредѣленіе котораго является, какъ выборъ между безконечностью возможныхъ длительностей. Тогда можно замѣтить какое угодно число длительностей, очень различающихся между собой, хотя каждая изъ нихъ, обращенная въ понятія, т.-е. рассматриваемая извнѣ, съ двухъ противоположныхъ точекъ зрѣнія, всегда сводится къ одному и тому же необъяснимому сочетанію множественнаго и единаго.

Выразимъ ту-же идею съ большей точностью. Если я рассматриваю длительность, какъ множественность моментовъ, соединенныхъ одинъ съ другимъ единствомъ, проходящимъ черезъ нихъ подобно нити, то эти моменты, какъ-бы ни была коротка выбранная длительность, будутъ въ неограниченномъ количествѣ. Я могу предполагать ихъ какъ угодно близкими другъ къ другу; между этими математическими точками всегда появятся новыя математическія точки, и такъ до безконечности. Такимъ образомъ, рассматриваемая со стороны множественности, длительность должна исчезнуть, обратившись въ пыль моментовъ, каждый изъ которыхъ не длится, будучи мгновеннымъ. Если же, съ другой стороны, я рассматриваю единство, соединяющее вмѣстѣ эти моменты, оно также не можетъ длиться, потому что, согласно гипотезѣ, все, что есть въ длительности мѣняющагося и такого, что можетъ длиться въ собственномъ смыслѣ слова, было отнесено ко множественности моментовъ. Это единство, по мѣрѣ того, какъ я буду углубляться въ его сущность, явится передо мной, какъ неподвижный субстратъ движущагося, какъ какая-то безвременная сущность времени: это то, что я назову вѣчностью, — вѣчностью смерти, потому что это — ничто иное, какъ движеніе, лишенное подвижности, составлявшей его жизнь. Исслѣдуя близко мнѣнія противоположныхъ школъ

по вопросу длительности, можно видѣть, что онѣ различаются только тѣмъ, что приписываютъ тому или другому изъ этихъ двухъ понятій основное значеніе. Одни держатся точки зрѣнія множественнаго; они возводятъ въ конкретную реальность раздѣльные моменты времени, такъ сказать, размельченного ими; они считаютъ гораздо болѣе искусственной единство длительности, превращающее крупицы въ порошокъ. Другіе, напротивъ, возводятъ въ реальность единство длительности. Они помѣщаются въ вѣчное. Но такъ какъ ихъ вѣчность остается все-таки абстрактной, ибо она пуста, такъ какъ это — вѣчность понятія, искалѣющаго изъ себя, согласно гипотезѣ, понятіе противоположное, то не видно, какъ эта вѣчность позволяетъ сосуществовать съ ней безконечную множественность моментовъ. Въ первой гипотезѣ міръ оказывается висящимъ въ воздухѣ; онъ долженъ кончаться и вновь начинаться изъ самого себя каждое мгновенье. Во второй имѣется Безконечное абстрактной вѣчности; и здѣсь въ той-же мѣрѣ остается непонятнымъ, почему это безконечное не остается включеннымъ въ самого себя, и какъ оно позволяетъ сосуществованіе съ нимъ вещей. Но въ обоихъ случаяхъ, и на какую-бы изъ двухъ метафизикъ ни переводили стрѣлку, время съ психологической точки зрѣнія кажется смѣсью двухъ абстракцій, не допускающихъ ни степеней, ни нюансовъ. Какъ въ той, такъ и въ другой системѣ, существуетъ только одна длительность, которая все съ собою увлекаетъ, бездонная, безбрежная рѣка, текущая безъ замѣтной силы, въ направленіи, не поддающемся опредѣленію. Даже то, что это рѣка, и рѣка, которая течетъ — и это является только потому, что реальность получаетъ отъ обѣихъ доктринъ эту жертву, пользуясь ихъ разсѣянностью въ логикѣ. Какъ только онѣ овладѣваютъ собою, онѣ сковываютъ это истечение или въ безграничную твердую пелену, или въ безконечность плышущихъ кристалловъ, — всегда въ вещь, по необходимости причастную къ неподвижности какой-нибудь точки зрѣнія.

Совсѣмъ другое, если помѣститься сразу, путемъ усплія интуиціи, въ конкретное истечение длительности. Конечно, мы не найдемъ тогда никакого логического смысла въ томъ, чтобы полагать множественныя и многообразныя

длительности. Строго говоря могло бы не существовать иной длительности, кромѣ нашей, какъ могло бы не быть въ мірѣ иного цвѣта, кромѣ, напримѣръ, оранжеваго. Но подобно тому какъ цвѣтовое сознаніе, если-бы оно внутренне связывалось съ оранжевымъ цвѣтомъ, а не воспринимало его внѣшнимъ образомъ,—почувствовало-бы себя между краснымъ и желтымъ, даже, быть можетъ, могло-бы предчувствовать подъ этимъ послѣднимъ весь спектръ, въ который естественнымъ образомъ продолжается непрерывность, идущая отъ краснаго къ желтому,—такъ интуиція нашей длительности, далеко не оставляя насъ висящими въ пустотѣ, какъ это сдѣлалъ бы чистый анализъ, вводитъ насъ въ соприкосновеніе со всей непрерывностью длительностей, за которой мы должны пытаться слѣдовать или внизъ, или вверхъ: въ обоихъ случаяхъ мы можемъ безконечно расширяться путемъ все болѣе и болѣе насильственного усилія, въ обоихъ случаяхъ мы переходимъ границы самихъ себя. Въ первомъ случаѣ мы направляемся къ длительности, все болѣе и болѣе разсѣивающейся: ея біенія, болѣе быстрыя чѣмъ наши, раздѣляя наше простое ощущеніе, растворяютъ его качество въ количество: въ предѣлѣ будетъ чистая однородность, чистое повтореніе, каковымъ мы опредѣлимъ матеріальность. Идя въ другомъ направленіи, мы приближаемся къ длительности, которая все болѣе и болѣе напрягается, сжимается, становится все болѣе и болѣе интенсивной: въ предѣлѣ будетъ вѣчность. Не вѣчность понятія, являющаяся вѣчностью смерти, но вѣчность жизни,—вѣчность живая и, слѣдовательно, также движущаяся, гдѣ наша длительность была-бы подобна колебаніямъ свѣта, и которая была бы сжатіемъ всякой длительности, какъ матеріальность есть ея разсѣяніе. Между этими двумя границами движется интуиція. Движеніе это и есть сама метафизика.

\* \* \*

Чтобы пройти здѣсь черезъ всѣ этапы этого движенія,—объ этомъ не можетъ быть и вопроса. Но послѣ того, какъ представленъ методъ въ его общихъ чертахъ и сдѣлано первое его приложеніе, быть можетъ, не будетъ бесполезно

формулировать, въ возможно точныхъ выраженіяхъ, тѣ принципы, на которыхъ онъ покоится. Большая часть тѣхъ предложеній, которыя мы представимъ, получили уже въ настоящемъ трудѣ, начало своего доказательства. Мы надѣемся доказать ихъ болѣе полно, когда приступимъ къ другимъ проблемамъ.

I. Существуетъ внѣшняя, хотя и непосредственно данная нашему духу, реальность. Здравый смыслъ правъ относительно этого пункта, идя противъ идеализма и реализма философовъ.

II. Этой реальностью является подвижность. Нѣтъ готовыхъ вещей, существуютъ только вещи, создающіяся; нѣтъ сохраняющихся состояній; существуютъ только состоянія измѣняющіяся. Покой всегда бываетъ кажущимся, или, вѣрнѣе, относительнымъ. Сознаніе, имѣющееся у насъ о нашей собственной личности, въ ея непрерывномъ истеченіи, вводитъ насъ внутрь реальности, по образцу которой мы должны представлять себѣ другія. Всякая реальность есть поэтому тенденція, если согласиться называть тенденціей измѣненіе направленія при его возникновеніи.

III. Главной функціей нашего разума, ищущаго твердыя точки опоры, является въ обыденномъ теченіи жизни, представленіе состояній и вещей. Время отъ времени онъ производитъ почти мгновенные снимки съ недѣлимой подвижности реального. Онъ получаетъ, такимъ образомъ, ощущенія и идеи. Этимъ самымъ онъ замѣняетъ непрерывное прерывнымъ, подвижность устойчивостью, тенденцію въ процессъ измѣненія неподвижными точками, отмѣчающими направленіе измѣненія и тенденціи. Эта замѣна необходима для обиходнаго разумѣнія, для языка, для практической жизни и даже, въ извѣстной мѣрѣ, которую мы попытаемся опредѣлить, для положительной науки. Нашъ интеллектъ, слѣдуя своей естественной склонности, оперируетъ прочными воспріятіями съ одной стороны и устойчивыми понятіями — съ другой. Онъ исходитъ изъ неподвижнаго, и познаетъ и воспринимаетъ движеніе не иначе, какъ въ функціи неподвижности. Онъ помѣщается въ готовые понятія и направ-

вляеть свое усиліе на то, чтобы захватить ими, какъ сѣтью, что нибудь изъ протекающей реальности, — безъ сомнѣнія, не для того, чтобы овладѣть внутреннимъ и метафизическимъ познаніемъ реальнаго, но чтобы просто использовать его, такъ какъ каждое понятіе, (какъ, впрочемъ, и каждое ощущеніе) является практическимъ вопросомъ, который ставить наша дѣятельность реальности, и на который реальность должна отвѣчать, какъ это и надлежитъ въ практическихъ дѣлахъ, краткимъ „да“ или „нѣтъ“. Но тѣмъ самымъ интеллектъ упускаетъ изъ реальнаго то, что является самой сущностью его.

IV. Затрудненія, присуція метафизикѣ, поднимаемая ею антиноміи, противорѣчія, въ которыя она попадаетъ, раздѣленіе на враждующія школы и несогласныя противоположенія между системами происходятъ по большей части отъ того, что мы прилагаемъ къ безкорыстному познанію реальнаго тѣ-же приемы, которыми мы пользуемся въ текущей жизни въ цѣляхъ практической полезности. Они возникаютъ отъ того, что мы помѣщаемъ въ неподвижное, чтобы подстергать движущееся при его прохожденіи, вмѣсто того, чтобы перемѣститься въ движущееся и проходить вмѣстѣ съ нимъ черезъ неподвижныя положенія. Они возникаютъ отъ того, что мы хотимъ возстановить реальность, являющуюся тенденціей и, слѣдовательно, подвижностью, при помощи правилъ и понятій, назначеніе которыхъ лишать ее этой подвижности. Изъ остановокъ, какъ бы многочисленны онѣ ни были, никогда нельзя создать подвижности, тогда какъ, беря подвижность, можно, путемъ ослабленія, извлечь изъ нея мыслью сколько угодно остановокъ. Другими словами, понятно, что неподвижныя понятія могутъ быть извлечены нашей мыслью изъ подвижной реальности; но нѣтъ никакой возможности возстановить подвижность реальнаго изъ неподвижности понятій. И однако догматизмъ, поскольку онъ является строителемъ системъ, всегда посягалъ на это возстановленіе.

V. Онъ долженъ былъ терпѣть въ этомъ неудачу. Это безсиліе, и только его, констатируютъ скептическія, идеалистическія, критическія доктрины, словомъ, всѣ тѣ, которыя

оспариваютъ у нашего интеллекта власть постигать абсолютное. Но изъ того, что мы терпимъ неудачу при восстановленіи живой реальности помощью неподатливыхъ, готовыхъ понятій, не слѣдуетъ, чтобы мы не могли ее схватить какимъ-нибудь инымъ способомъ. Доказательства относительности нашего познанія грѣшатъ однимъ первобытнымъ порокомъ: они предполагаютъ, подобно догматизму, на который они нападаютъ, что всякое познаніе должно по необходимости исходить изъ понятій съ ясно очерченными контурами, чтобы охватить помощью этихъ понятій текучую реальность.

VI. Истина-же заключается въ томъ, что нашъ интеллектъ можетъ идти обратнымъ ходомъ. Онъ можетъ помѣститься въ подвижную реальность, слѣдовать за ея непрерывно мѣняющимся направленіемъ, словомъ, овладѣвать ею посредствомъ той интеллектуальной симпатіи, которую называютъ интуиціей. Это представляетъ собою крайнюю трудность. Нужно, чтобы разумъ сдѣлалъ надъ собою усиліе, чтобы онъ измѣнилъ въ обратномъ направленіи обычный процессъ мышленія, чтобы онъ переворачивалъ или, вѣрнѣе, перешлавливалъ непрерывно все свои категоріи. Но такимъ путемъ онъ прійдетъ къ понятіямъ текучимъ, способнымъ слѣдовать за реальностью во всехъ ея изгибахъ и усваивать само движеніе внутренней жизни вещей. Только такимъ путемъ составитя прогрессивная философія, свободная отъ споровъ, которымъ предаются различныя школы, способная разрѣшить проблемы естественнымъ путемъ. Философствовать значитъ повернуть въ обратную сторону обычное направленіе работы мысли.

VII. Это обращеніе никогда не совершалось методическимъ образомъ; но углубленная исторія человѣческой мысли могла-бы показать, что мы ему обязаны тѣмъ, что есть самаго великаго въ наукѣ и жизнеспособнаго въ метафизикѣ. Самый мощный методъ изслѣдованія, которымъ располагаетъ человѣческій разумъ, анализъ безконечномалыхъ, родился изъ того-же самаго обращенія. Современная математика является какъ разъ усиліемъ, направленнымъ къ тому, что-

бы замѣнить готовое создающимся, чтобы слѣдовать за зарожденіемъ величинъ, чтобы схватывать движеніе уже не извнѣ и не въ проявленномъ имъ результатѣ, но изнутри и въ его тенденціи къ измѣненію, словомъ чтобы принять подвижную непрерывность очертанія вещей. Правда, что она держится очертанія, будучи только наукой о величинахъ. Правда также, что она могла придти къ своимъ чудеснымъ приложеніямъ не иначе, какъ путемъ изобрѣтенія извѣстныхъ символовъ, и что если интуиція, о которой мы только что говорили, заложена въ происхожденіи изобрѣтенія, то въ приложеніи принимаетъ участіе только символъ. Но метафизика, которая не имѣетъ въ виду никакого приложенія, сможетъ, и чаще всего должна будетъ, воздерживаться отъ обращенія интуиціи въ символъ. Свободная отъ обязательства добиваться практически полезныхъ результатовъ, она будетъ расширять до безконечности область своихъ изслѣдованій. То, что она потеряетъ, по сравненію съ наукой, въ полезности и въ точности, то она выиграетъ въ значеніи и въ широтѣ. Если математика является наукой о величинахъ, если математическія приемы прилагаются только къ количествамъ, то не нужно забывать, что количество всегда есть нѣчто отъ качества въ его зарождающемся состояніи: можно сказать, что это его предѣлъ. Естественнo поэтому, что метафизика принимаетъ идею-производительницу нашей математики, чтобы распространить ее на всѣ качества, т.-е. на всю реальность. Это ни комъ образомъ не означаетъ, что она должна придти къ универсальной математикѣ, этой химерѣ современной философіи. Совершенно напротивъ, по мѣрѣ того, какъ она будетъ болѣе подвигаться впередъ, она будетъ встрѣчать предметы, все менѣе переводимые въ символы. Но по крайней мѣрѣ свое соприкосновеніе съ непрерывностью и подвижностью реальнаго она начнетъ тамъ, гдѣ это соприкосновеніе можетъ быть всего чудеснѣе использовано. Она будетъ созерцать себя въ зеркалѣ, которое отразитъ ей ея образъ,—безъ сомнѣнія очень сжатый, хотя и очень яркій. Она увидитъ совершенно ясно, что заимствуютъ математическіе приемы отъ конкретной реальности, и она будетъ продолжать свой путь въ направленіи конкретной реальности, а не математическихъ приемовъ. Скажемъ по-

этому, смягчая заранее то, что будетъ въ формулировкѣ разомъ и слишкомъ скромнымъ и слишкомъ притязательнымъ, что предметъ метафизики — дѣлать качественныя дифференцированія и интегрированія.

VIII. Что предметъ этотъ былъ потерянъ изъ вида, и сама наука была введена въ заблужденіе относительно происхожденія употребляемыхъ ею приемовъ, это объясняется тѣмъ, что разъ схваченная интуиція должна найти такой способъ выраженія и примѣненія, который сообразовался-бы съ привычками нашей мысли и давалъ-бы намъ, въ видѣ вполне опредѣленныхъ понятій, твердыя точки опоры, въ которыхъ мы такъ нуждаемся. Отсюда вытекаетъ то, что мы называемъ строгостью, точностью, а также безконечнымъ расширеніемъ общаго метода на частичные случаи. Но это расширение и этотъ трудъ логическаго совершенствованія могутъ происходить въ теченіе вѣковъ, тогда какъ актъ, порождающій методъ, длится не болѣе мгновенія. Вотъ почему мы принимаемъ такъ часто логическій аппаратъ науки за самое науку <sup>1)</sup>, забывая метафизическую интуицію, положившую начало всему.

Вслѣдствіе забвенія этой интуиціи явилось все, что было говорено философами и самими учеными объ „относительности“ научнаго познанія. Относительнымъ будетъ символическое познаніе, получаемое помощью предсуществующихъ понятій, идущее отъ неподвижнаго къ движущемуся, но не познаніе интуитивное, которое помѣщается въ движущееся и слѣдуетъ за самой жизнью вещей. Такая интуиція постигаетъ абсолютное.

Такимъ образомъ, наука и метафизика соединяются въ интуиціи. Философія, въ истинномъ смыслѣ слова интуитивная, реализовала бы столь желаемое сліяніе метафизики съ наукой. Создавая метафизику въ видѣ позитивной науки, — я хочу сказать метафизику развивающуюся и способную

---

<sup>1)</sup> Относительно этого пункта, какъ и о другихъ вопросахъ, трактуемыхъ въ настоящей статьѣ, см. прекрасные труды г.г. Леруа, Винцента и Вильбуа въ *Revue de Métaphysique*.

къ безконечному совершенствованію — она заставила-бы позитивныя науки въ собственномъ смыслѣ этого слова сознать свое истинное значеніе, часто гораздо болѣе высшее, чѣмъ они его себѣ представляютъ. Она вложила бы болѣе науки въ метафизику, и болѣе метафизики въ науку. Какъ результатъ, она имѣла-бы возстановленіе непрерывности между интуиціями, получаемыми различными позитивными науками время отъ времени въ теченіе ихъ исторіи, и только силою генія.

IX. Что не существуетъ двухъ различныхъ способовъ познанія сущности вещей, что корень различныхъ наукъ скрытъ въ метафизикѣ, — такъ думали, вообще, древніе философы. И не въ этомъ была ихъ ошибка. Она заключалась въ томъ, что они всегда проникались столь естественной человѣческому уму вѣрою, что измѣненіе есть только выраженіе и развитіе неизмѣняемости. Отсюда слѣдовало, что Дѣйствіе есть ослабленное Созерцаніе, длительность — обманчивый и подвижной образъ неподвижной вѣчности, Душа — паденіе Идеи. Вся эта философія, которая начинается съ Платона и приводитъ къ Плотину, является развитіемъ принципа, который мы могли-бы формулировать такъ: „Неизмѣнное заключаетъ въ себѣ больше, чѣмъ движущееся, и отъ устойчиваго переходятъ къ неустойчивому путемъ простого уменьшенія“. А между тѣмъ истина какъ разъ въ обратномъ.

Современная наука начинается съ того дня, когда подвижность была возведена въ независимую реальность. Она начинается съ того дня, когда Галилей, заставляя катиться шаръ по наклонной плоскости, принялъ твердое рѣшеніе изучить это движеніе сверху внизъ само по себѣ, въ немъ самомъ, вмѣсто того, чтобы искать его принципъ въ понятіяхъ верхъ и низъ, въ двухъ неподвижностяхъ, которыя Аристотель считалъ достаточными для объясненія подвижности. И это не единичный фактъ въ исторіи науки. Мы полагаемъ, что многія изъ великихъ открытій, изъ тѣхъ, по крайней мѣрѣ, которыя преобразовали позитивныя науки или создали изъ нихъ новыя, могутъ быть уподоблены бросанію лота въ чистую длительность. Чѣмъ болѣе живой была затрагиваемая реальность, тѣмъ глубже проникалъ лотъ.

Но лоть, заброшенный въ глубину моря, выносить жидкую массу, которую солнце очень скоро высушиваетъ въ твердыя и раздѣльныя песчинки. И интуиція длительно-сти, когда ее подставляютъ подъ лучи разума, точно также очень скоро сгущается въ застывшія, раздѣльныя, неподвижныя понятія. Въ живой подвижности вещей разумъ старается отмѣтить реальныя или возможныя остановки; онъ помѣчаетъ отправленія и прибытія: это все, что имѣетъ значеніе для мысли человѣка, поскольку она является мыслью только человѣческой. Схватить то, что происходитъ въ промежуткѣ, превышаетъ человѣческое. Но философія не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ только усиленіемъ къ тому, чтобы перейти за человѣческое состояніе.

На понятіяхъ, которыми, какъ вѣхамъ, уставленъ путь интуиціи, ученые всего охотнѣе останавливали свой взглядъ. Чѣмъ болѣе они разсматривали эти осадки интуиціи, перешедшія въ символы, тѣмъ болѣе они приписывали всей наукѣ символическій характеръ. И чѣмъ болѣе они вѣрили въ символическій характеръ науки, тѣмъ болѣе они его реализовали и подчеркивали. Скоро они перестали уже дѣлать различіе въ позитивной наукѣ между искусственнымъ и естественнымъ, между данными непосредственной интуиціи и огромнымъ трудомъ анализа, совершаемымъ разумомъ вокругъ интуиціи. Они приготовили, такимъ образомъ, пути для доктрины, утверждающей относительность всѣхъ нашихъ познаній.

Но и метафизика также поработала для этого.

Какъ могли учителя современной философіи, которые были одновременно и метафизиками, и обновителями науки, не имѣть чувства подвижной непрерывности реальнаго? Какъ могли они не переноситься въ то, что мы называемъ конкретной дѣятельностью? Они дѣлали это болѣе, чѣмъ они сами объ этомъ думали, въ особенности гораздо болѣе, чѣмъ они объ этомъ говорили. Если попытаться связать непрерывной чертой тѣ интуиціи, вокругъ которыхъ сьорганизовались системы, то окажется, что рядомъ со многими другими сходящимися или расходящимися линіями, существуетъ одно, вполне опредѣленное, направленіе мысли и чувства. Что это за скрытая мысль? Какъ выразить это

чувство? Заимствуя еще разъ у платониковъ ихъ способъ выраженія, мы скажемъ, освобождая слова отъ ихъ психологическаго смысла, и называя Идеей извѣстный залогъ въ легкой постигаемости и Душой—извѣстную жизненную тревогу, что, невидимое теченіе, заставляетъ новѣйшую философію Душу ставить выше Идеи. Она стремится этимъ самымъ, подобно современной наукѣ и даже еще гораздо болѣе, идти въ направленіи, обратномъ тому, по которому шла античная мысль.

Но эта метафизика, какъ и эта наука, раскинула вокругъ своей внутренней жизни богатую ткань символовъ, забывая иногда, что если наука нуждается въ символахъ для своего аналитическаго развитія, то существованіе метафизики вызывается, главнымъ образомъ, необходимостью разрыва съ символами. Здѣсь также разумъ совершалъ свою работу закрѣпленія, раздѣленія, перестройки. Правда онъ совершалъ ее подъ другой формой. Не останавливаясь на этомъ пунктѣ, который мы предполагаемъ развить въ другомъ мѣстѣ, ограничимся указаніемъ на то, что разумъ, ролью котораго является оперированье устойчивыми элементами, можетъ искать этой устойчивости или въ отношеніяхъ, или въ вещахъ. По скольку онъ работаетъ надъ понятіями отношеній, онъ приходитъ къ научному символизму. По скольку онъ оперируетъ понятіями вещей, онъ приходитъ къ символизму метафизическому. Но въ томъ и въ другомъ случаѣ распорядокъ исходитъ отъ него. Охотно онъ желалъ-бы считать себя независимымъ. Въмѣсто того, чтобы тотчасъ-же признать, чѣмъ онъ обязанъ глубокой интуиціи реальности, онъ выставляетъ себя такъ, что во всей его работѣ ничего нельзя увидѣть, кромѣ искусственнаго размѣщенія символовъ. Такъ что если придерживаться буквы того, что говорятъ метафизики и ученые, а также остановиться на матеріальности того, что тѣ и другіе дѣлаютъ, то можно подумать, что первые прорыли подъ реальностью глубокий тоннель, вторые перекинули черезъ нее красивый мостъ, потокъ-же, увлекающій вещи, течетъ между двумя этими созданіями искусства, ихъ не касаясь. Одинъ изъ главныхъ приѣмовъ кантіанской критики состоялъ въ томъ, чтобы поймать на словѣ метафизика и ученаго, пустить

метафизику и науку до крайняго предѣла символизма, до котораго онѣ могутъ дойти, и куда онѣ впрочемъ приходятъ сами собой, лишь только разумъ начинаетъ требовать столь опасной для него независимости. Разъ не признавалось связи науки и метафизики съ интеллектуальной интуиціей, Канту уже не трудно было показать, что наша наука вполне относительна, и метафизика вполне искусственна. Такъ какъ онъ довелъ до послѣднихъ предѣловъ независимость разума въ томъ и другомъ случаѣ, такъ какъ онъ снялъ тяжесть интеллектуальной интуиціи—этого внутренняго балласта—съ метафизики и науки, то наука явилась ему въ своихъ отношеніяхъ только какъ оболочка формы, и метафизика со своими вещами—только какъ оболочка матеріи. Можно-ли удивляться послѣ этого, что первая кажется ему лишь рамками вложенными въ рамки, вторая—призраками бѣгущими за призраками?

Онъ нанесъ нашей наукѣ и нашей метафизикѣ такіе тяжелые удары, что онѣ еще до сихъ поръ не оправились отъ своего напряженія. Нашъ разумъ охотно примиряется съ тѣмъ, чтобы видѣть въ наукѣ относительное знаніе и въ метафизикѣ пустое умозрѣніе. Еще и нынѣ намъ кажется, что критика Канта приложима ко всякой наукѣ и ко всякой метафизикѣ, тогда какъ, главнымъ образомъ, она прилагается къ философіи древнихъ, равно какъ и къ той формѣ—тоже античной—которую современные философы чаще всего оставляли для своей мысли. Съ полнымъ правомъ она можетъ быть направлена противъ метафизики, имѣющей притязаніе дать намъ единую и вполне готовую систему вещей, противъ науки, которая была-бы единой системой отношеній, словомъ противъ науки и метафизики, которыя являются въ простотѣ архитектуры платоновской теоріи идей или греческаго храма. Если метафизика имѣетъ притязаніе составиться изъ понятій, которыми мы обладали до нея, если она состоитъ въ искусномъ размѣщеніи преуствующихъ идей, которыми мы пользуемся, какъ пользуются строительными матеріалами для постройки зданія, словомъ, если она есть что-либо, помимо постояннаго расширенія нашего духа, помимо этого всегда возобновляемаго усилія, направляемаго къ тому, чтобы

выйти за предѣлы нашихъ актуальныхъ идей и, быть можетъ, нашей простой логики, -- то слишкомъ очевидно, что она становится искусственной, какъ всѣ творенія чистаго разума. И если наука является вся цѣликомъ созданіемъ анализа или абстрактнаго представленія, если опытъ долженъ служить здѣсь только провѣркой „ясныхъ идей“, если, вмѣсто того, чтобы исходить изъ множественности различныхъ интуицій, которыя проникаютъ въ движеніе, присущее каждой реальности, но не вкладываются всегда однѣ въ другія, она стремится къ тому, чтобы стать необъятной математикой, единой системой отношеній, захватывающей цѣлокупность реальнаго въ разставленную заранее сѣть, — то она становится познаніемъ вполнѣ относительнымъ, зависящимъ отъ человѣческаго разума. Вчитываясь въ Критику чистаго Разума, можно замѣтить, что наука для Канта есть этотъ родъ универсальной математики, а метафизика — этотъ чуть измѣненный платонизмъ. По правдѣ говоря, мечта объ универсальной математикѣ — это тотъ же міръ Идей, но при предположеніи, что Идея — это уже не вещь, а отношеніе или законъ. Кантъ принялъ за реальность эту мечту нѣкоторыхъ современныхъ философовъ <sup>1)</sup>: болѣе того, онъ считалъ, что всякое научное познаніе является только оторваннымъ фрагментомъ или, вѣрнѣе, связующимъ камнемъ универсальной математики. Съ того времени критика поставила своей задачей дать основаніе такой математикѣ, т. е. опредѣлить, чѣмъ долженъ быть интеллектъ и чѣмъ долженъ быть предметъ, чтобы непрерывная математика могла ихъ соединить другъ съ другомъ. И если всякій возможный опытъ можетъ войти въ застывшія и уже сформировавшіяся рамки нашего разума, то это значитъ (если только не предполагать предустановленной гармоніи) что нашъ разумъ самъ организуетъ природу и находитъ въ ней себя, какъ въ зеркалѣ. Отсюда возможность науки, которая всей своей силой обязана своей относительности, и невозможность метафизики,

<sup>1)</sup> См. объ этомъ очень интересную статью Radulescu-Motru: Zur Entwicklung von Kant's Theorie der Naturcausalität въ Philosophische Studien Вунда. (т. IX, 1894 г.).

ибо послѣдней ничего не останется дѣлать, какъ только пародировать на призракахъ вещей тотъ трудъ размѣщенія понятій, который наука серьезнымъ образомъ продѣлываетъ надъ отношеніями. Короче говоря, вся Критика чистаго Разума въ концѣ концовъ устанавливаетъ, что платонизмъ, незаконный при условіи, если Идеи суть вещи, становится законнымъ, если Идеи дѣлаются отношеніями, и что готовая идея, сведенная такимъ образомъ съ неба на землю, является общимъ основаніемъ мысли и природы, какъ этого желалъ Платонъ. Но вся критика чистаго разума покоится также на томъ постулатѣ, что нашъ интеллектъ не способенъ ни къ чему иному, какъ только къ платонизированью, т.-е. къ тому, чтобы всякій возможный опытъ вливать въ предсуществующія формы.

Въ этомъ весь вопросъ. Если научное познаніе есть именно то, что желалъ изъ него сдѣлать Кантъ, то существуетъ простая наука, заранѣе сформированная и даже заранѣе сформулированная въ природѣ, какъ это и полагалъ Аристотель; великія открытія только зажигаютъ точка за точкой начертанную заранѣе линію этой логики, присущей вещамъ, подобно тому, какъ въ праздничный вечеръ постепенно зажигается газовая нить, заранѣе обрисовывавшая контуры монумента. И если метафизическое познаніе есть именно то, что желалъ изъ него сдѣлать Кантъ, то оно сводится къ одинаковой возможности двухъ обратныхъ одно другому положеній разума передъ всѣми великими проблемами; его проявленіемъ будетъ всегда произвольный, всегда эфемерный выборъ между двумя рѣшеніями, виртуально сформулированными въ вѣчности: антиноміи даютъ ему жизнь и умираніе. Истина-же въ томъ, что ни современная наука не представляетъ такой прямолинейной простоты, ни современная метафизика такихъ непоколебимыхъ противоположеній.

Современная наука ни едина, ни проста. Я согласенъ, что она покоится на идеяхъ, которыя въ концѣ концовъ кажутся ясными: но онѣ освѣтились постепенно

черезъ употребленіе, которое изъ нихъ сдѣлали: главной частью своего блеска онѣ обязаны тому свѣту, который онѣ получаютъ путемъ отраженія отъ фактовъ и отъ вызванныхъ ими самими примѣненій, такъ какъ ясность понятія есть въ сущности только нѣкогда приобрѣтенная увѣренность, что можно съ пользою употреблять его. Сначала многія изъ этихъ понятій должны были казаться неясными, плохо согласуемыми съ понятіями, уже допущенными въ наукѣ, даже граничащими съ нелѣпостью. Это значитъ, что наука не заключается въ процессѣ правильного вдвиганія понятій, предназначенныхъ къ тому, чтобы съ точностью входить другъ въ друга. Каждая истинная и плодотворная идея есть соприкосновеніе съ какимъ-нибудь потокомъ реальности, причемъ нѣтъ необходимости въ томъ, чтобы всѣ эти потоки направлялись въ одну точку. Правда, что въ мѣстѣ своего пребыванія путемъ округленія угловъ, взаимнымъ треніемъ, понятія всегда добиваются, такъ или иначе, примиренія другъ съ другомъ.

Съ другой стороны, современная метафизика не построена изъ столь крайнихъ рѣшеній, чтобы они могли вылиться въ непримиримыя противоположенія. Такъ было бы, безъ сомнѣнія въ томъ случаѣ, если бы была какая-нибудь возможность получать въ одно и то же время и на одной и той же почвѣ тезу и антитезу антиномій. Но философствовать именно и значитъ помѣщаться усиліемъ интуиціи внутрь той конкретной реальности, на которую Критика беретъ извнѣ двѣ противоположныхъ точки зрѣнія, тезисъ и антитезисъ. Я никогда не смогу себѣ представить, какъ могутъ проникать другъ друга бѣлое и черное, если я не видалъ сѣраго, но разъ я видѣлъ сѣрое, я пойму безъ труда, какъ можно его разсматривать съ двойной точки зрѣнія—съ точки зрѣнія бѣлаго и чернаго. Доктрины, имѣющія въ основѣ интуицію, ускользаютъ отъ кантіанской критики какъ разъ въ той мѣрѣ, въ какой онѣ интуитивны; а эти доктрины и есть все въ метафизикѣ, если только брать живую метафизику у философовъ, а не метафизику въ видѣ застывшихъ и мертвыхъ тезисовъ. Конечно, различія между школами поразительны, т.-е. въ сущности различія между группами учениковъ, образовав-

шихся вокруг нѣсколькихъ великихъ учителей. Но такъ ли рѣзки эти различія между самими учителями? Что-то господствуетъ здѣсь надъ различіями системъ, что-то, повторяемъ, простое и ясное, какъ паденіе лота, который, опускаясь на большую или на меньшую глубину, касается дна одного и того же океана, хотя каждый разъ выносить на поверхность очень различные матеріалы. Надъ этими то матеріалами обыкновенно и работаютъ ученики: въ этомъ и заключается роль анализа. И самъ учитель, поскольку онъ формулируетъ, развиваетъ, переводитъ на абстрактныя идеи то, что онъ приноситъ, является въ нѣкоторомъ родѣ ученикомъ по отношенію къ самому себѣ. Но тотъ простой актъ, который сообщилъ движеніе анализу и который скрывается за анализомъ, исходитъ совсѣмъ изъ другой способности, чѣмъ способность анализировать. Это будетъ, согласно опредѣленію, интуиція.

Скажемъ въ заключеніе: эта способность не содержитъ въ себѣ ничего таинственнаго. Нѣтъ никого среди насъ, кто не имѣлъ бы случая въ извѣстной мѣрѣ проявлять ее. Каждый, кто работалъ, на примѣръ, надъ литературнымъ произведеніемъ, хорошо знаетъ, что послѣ продолжительнаго изученія предмета, когда всѣ документы собраны, всѣ замѣтки сдѣланы, чтобы приступить къ самой созидательной работѣ, требуется нѣчто большее, требуется усиліе, часто очень тягостное, чтобы разомъ перемѣститься внутрь предмета, и чтобы почерпнуть возможно глубже тотъ импульсъ, которому потомъ придется только отдаться. Этотъ импульсъ, разъ полученный, выводитъ духъ на тотъ путь, гдѣ онъ находитъ собранныя раньше свѣдѣнія и еще тысячи новыхъ подробностей; этотъ импульсъ развивается, анализируетъ самого себя въ безчисленныхъ выраженіяхъ: чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе ихъ открывается, и никогда нельзя дойти до того, чтобы было уже все сказано. А между тѣмъ, если внезапно обернуться къ этому ощущаемому позади импульсу, чтобы схватить его,—онъ ускользаетъ, ибо это была не вещь, а направленіе движенія, и, хотя и способный къ безконечному расширенію, импульсъ этотъ есть сама простота. Метафизическая интуиція есть нѣчто въ такомъ же родѣ. Замѣткамъ и документамъ литератур-

наго произведенія здѣсь соотвѣтствуетъ совокупность наблюденій и опытовъ, собранныхъ позитивной наукой. Ибо нельзя получить отъ реальности интуицію, т.-е. интеллектуальную симпатію къ тому, что есть въ реальности самаго сокровеннаго, если не заслужить ея довѣрія путемъ продолжительнаго общенія съ ея поверхностными проявленіями. И дѣло идетъ не о томъ только, чтобы усвоить выдающіеся факты; ихъ нужно собрать и сплавить изъ нихъ такую огромную массу, чтобы была возможность въ этомъ сплавѣ нейтрализовать однѣ другими всѣ предвзятія и скоропѣлыя идеи, которыя наблюдатели могли положить, безъ своего вѣдома, въ основаніе своихъ наблюденій. Только такимъ путемъ проявляется грубая матеріальность познаваемыхъ фактовъ. Даже въ томъ простомъ и привилегированномъ случаѣ, который послужилъ намъ примѣромъ, даже для прямого соприкосновенія „я“ съ самимъ собою, рѣшающее успіе ясной интуиціи было бы невозможно для того, кто не соединилъ бы и не сличилъ бы между собою очень большого числа психологическихъ анализовъ. Учителя современной философіи были людьми, усвоившими весь научный матеріаль своего времени. И частичное затмѣніе метафизики въ теченіе полувѣка, очевидно, не имѣло никакой иной причины, кромѣ необыкновеннаго затрудненія, испытываемаго теперь философамъ, когда онѣ хотятъ войти въ соприкосновеніе съ наукой, слишкомъ разсѣявшейся. Но метафизическая интуиція, хотя къ ней и нельзя прійти иначе, какъ при помощи матеріальныхъ, познаній, является совсѣмъ иной вещью, чѣмъ резюме или синтезъ этихъ познаній. Повторяемъ: она отличается отъ нихъ, какъ толчокъ, давшій движеніе, отличается отъ пройденнаго движущимся тѣломъ пути, какъ напряженіе пружины отличается отъ видимыхъ движеній въ часовомъ механизмѣ. Въ этомъ смыслѣ метафизика совсѣмъ не представляетъ собою обобщенія опыта, и тѣмъ не менѣе ее можно опредѣлить какъ цѣлостный опытъ.

---

# ПСИХО-ФИЗИЧЕСКІЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМЪ И ПОЗИТИВНАЯ МЕТАФИЗИКА \*).

Бергсонъ предлагаетъ вниманію философскаго общества слѣдующія положенія:

1. Если психо-физическій параллелизмъ не отличается ни строгостью, ни полнотой, если не существуетъ абсолютнаго соотвѣствія между каждой опредѣленной мыслью и опредѣленнымъ мозговымъ состояніемъ, то дѣло опыта отмѣчать съ растущей приближенностью тѣ именно пункты, гдѣ начинается и гдѣ кончается параллелизмъ.

2. Если такое опытное изслѣдованіе возможно, оно будетъ измѣрять все точнѣе и точнѣе отклоненіе между мыслью и физическими условіями, въ которыхъ эта мысль работаетъ. Другими словами, оно будетъ все лучше и лучше разяснять намъ отношеніе человѣка, существа мыслящаго, къ человѣку, существу живущему, и этимъ самымъ то, что можно назвать значеніемъ жизни.

3. Если это значеніе жизни можетъ опредѣляться эмпирически все съ большей и большей точностью и полнотой, то является возможной метафизика позитивная, т.-е. безспорная и способная къ прямолинейному и безконечному прогрессу. Дѣйствительно, ни одинъ философъ, какъ-бы ни былъ онъ недовѣрчивъ къ изслѣдованіямъ собственно метафизическимъ, т.-е. выходящимъ за предѣлы жизни, не будетъ отрицать за нашимъ интеллектомъ способности законно и полезно прилагать свою дѣятельность

---

\*) Настоящая статья представляетъ собою отчетъ, Журнала „французскаго Философскаго Общества“, о засѣданіи 2 мая 1901 г., въ которомъ А. Бергсонъ былъ докладчикомъ, при участіи въ преніяхъ Бело, Галеви, Леруа, Вебера, Брунсвига и Кутюра. Примѣч. перевод.

къ самой жизни. Если до мысли въ себѣ, до матеріи въ себѣ мы поднимаемся путемъ построенія, всегда хрупкаго съ какой-нибудь стороны, то, напротивъ, отношеніе между собою этихъ двухъ членовъ и, въ особенности, ихъ взаимное отклоненіе, бываютъ или могутъ сдѣлаться, фактами, доступными наблюденію. Метафизика, которая начала-бы отливаться по контуру этихъ фактовъ, могла-бы обнаружить поэтому много безспорно научныхъ признаковъ. И она оказалась-бы способной къ безконечному прогрессу, потому что все болѣе и болѣе точное опредѣленіе отношенія сознанія къ его матеріальнымъ условіямъ, показывая намъ съ возрастающей точностью, въ какихъ пунктахъ, въ какихъ направленіяхъ, вслѣдствіе какихъ необходимостей мысль встрѣчаетъ себѣ ограниченіе, указало-бы намъ путь къ совершенно специальному усилю, которое мы должны сдѣлать, чтобы освободиться отъ этого ограниченія.

---

Белло. Прежде всего надлежитъ значительно разграничить вопросъ, поставленный г-номъ Бергсономъ, и я долженъ признаться, что способомъ его постановки онъ не облегчилъ мнѣ задачи, выполнение которой затруднительно уже по тому одному, что приходится имѣть передъ собою такого противника. Въ самомъ дѣлѣ, онъ представляетъ на обсужденіе не столько теорію, сколько гипотезу, не столько доктрину, сколько методъ. Онъ не касается непосредственно самого параллелизма, и тѣхъ доказательствъ, которыя можно было бы выставить за или противъ этой концепціи отношеній духовнаго и тѣлеснаго, но только метафизическаго метода, состоящаго въ томъ, чтобы искать и объяснять отклоненіе духовнаго отъ тѣлеснаго, и слѣдствій, которыя можно было-бы извлечь изъ этого уклоненія въ гипотезѣ, гдѣ это уклоненіе нуждается въ доказательствахъ и опредѣленіи.

Обсужденіе должно поэтому касаться единственно возможности приложенія къ метафизикѣ этого новаго метода и возлагаемой на него надежды дать намъ новую метафизику.

Новымъ этотъ методъ является впрочемъ скорѣе благо-

даря столь оригинальному и остроумному употребленію, какое сдѣлалъ изъ него авторъ, чѣмъ самъ по себѣ. Ибо едва ли нужно напоминать здѣсь, что большая часть картезіанской метафизики была вызвана проблемой отношеній души и тѣла. Главное различіе заключается въ томъ, что картезіанцы ставили своей задачей, главнымъ образомъ, перенести эти отношенія въ область постижимости, тогда какъ г-нъ Бергсонъ остается единственно на почвѣ фактовъ, и именно изъ констатированья извѣстной нерегулярности во взаимныхъ психо-фізіологическихъ отношеніяхъ и хочетъ вывести необходимость спиритуалистической гипотезы. Я хочу слѣдовать за г-номъ Бергсономъ на этой почвѣ и совсѣмъ не предполагаю противопоставлять ему аргументы а priori. Прогрессъ въ наукѣ съ достаточной ясностью указываетъ намъ, что мы не должны полагаться на то, что извнѣ кажется относящимся или неотносящимся къ области умопостигаемаго, такъ какъ то и другое очень часто бываетъ только отраженіемъ привычекъ нашего разума; что мы не должны навязывать природѣ границъ нашей способности воображенія; и, съ другой стороны, въ самой природѣ метафизическихъ вопросовъ лежитъ свойство доходить до предѣловъ мысли, до того пункта, гдѣ она вынуждена сама признать свое безсиліе.

Вотъ почему я ограничусь тремя слѣдующими пунктами:

I. До какихъ поръ возможно надѣяться, что то, что я для краткости назову „психо-фізическимъ отклоненіемъ“, можетъ становиться фактомъ опыта, который могъ-бы быть констатированъ и опредѣленъ съ точностью?

II. Какова возможность на этомъ допущенномъ констатированьи основать новую метафизику, являющую собой подлинный характеръ позитивности и способной къ прямолинейному прогрессу?

III. Въ какой мѣрѣ, наконецъ, психо-фізическое отклоненіе—по предположенію установленное—можетъ вскрыть намъ съ достовѣрностью „значеніе жизни“.

I. Древній спиритуализмъ также считалъ своимъ долгомъ признавать отклоненіе между фізическимъ и моральнымъ, какъ убѣдительный доводъ въ свою пользу. Но это отклоненіе онъ искалъ въ высшихъ способностяхъ, и можно

поэтому понять тотъ интересъ, который онъ къ нему выказывалъ: именно тѣмъ, что душа заключала въ себѣ наиболѣе духовнаго, она и выходила за предѣлы тѣла.

Въ новомъ спиритуализмѣ отклоненіе признается въ низшихъ, наиболѣе безсознательныхъ, отправленіяхъ. Какъ возможно, въ такомъ случаѣ, быть увѣреннымъ въ этомъ несогласіи между явленіями физическими и явленіями психическими, по самому опредѣленію, ускользающими отъ непосредственнаго констатированья? Подобно тому, какъ спиритуалистъ, имѣя передъ собою безсознательное, можетъ всегда создать гипотезу „полипсихизма“ и сказать, что наше безсознательное не одно и то-же для продолговатаго мозга или для какихъ нибудь иныхъ мозговыхъ центровъ, такъ матеріалистъ можетъ всегда утверждать, что такое мышленіе, которое въ предѣлѣ является мышленіемъ только по имени, есть простой фізіологическій продуктъ. Ни съ той, ни съ другой стороны не оказывается, такимъ образомъ, строгаго доказательства не-параллелизма.

Чтобы установить отклоненіе, куда-бы его ни помѣщать, нужно имѣть возможность получить полный и общій анализъ разомъ и сознанія, и физическихъ состояній, мысли и этой, составляющей нервную субстанцію, матеріи, столь необычайно сложной въ своей структурѣ и утонченной въ своихъ отправленіяхъ. Очевидно мы не располагаемъ подобнымъ анализомъ ни той, ни другой стороны, и возможно, что не будемъ его имѣть никогда.

Болѣе того: доктрина г-на Бергсона, болѣе чѣмъ какая-либо иная, запрещаетъ намъ надѣяться на подобный анализъ духовной стороны. Дѣйствительно, она запрещаетъ намъ всякое точное дѣленіе, всякое разложеніе духовной жизни какъ съ точки зрѣнія качественной, такъ и съ точки зрѣнія длительности, тѣмъ болѣе всякое измѣреніе психическихъ фактовъ. Возможно ли поэтому въ этомъ состояніи неясности и, такъ сказать, тесноты, въ которомъ поддерживается сознательная жизнь, опредѣлить, что въ ней соотвѣтствуетъ или не соотвѣтствуетъ какому нибудь мозговому состоянію?

Нельзя-ли попробовать взглянуть на этотъ вопросъ съ другой стороны и, вмѣсто того, чтобы разсматривать отно

шеніе между явленіями, ограничиться разсмотрѣніемъ отношенія между функціями въ ихъ цѣломъ. Доктрина не-параллелизма заключалась-бы тогда въ томъ, чтобы только установить, что не существуетъ никакой опредѣленной локализаци, что нѣтъ никакой мозговой схемы, которая была-бы адекватна такой опредѣленной умственной функціи, какъ рѣчь, что всякая механическая формула, соответствующая извѣстной части фактовъ, какъ-бы ни возрастала ихъ сложность, можетъ быть опровергнута другими фактами. Съ этой именно стороны и былъ разсмотрѣнъ г-номъ Бергсономъ этотъ вопросъ въ его замѣчательномъ трактатѣ объ отношеніяхъ языка и воспоминанія, гдѣ онъ стремится установить, что никакая опредѣленная и неподвижная мозговая схема не сможетъ освѣтить всѣ факты, представляемые болѣзнями рѣчи.

Такъ надѣются показать съ очевидностью относительную взаимную независимость фізическаго и психическаго, устанавливая отсутствіе всякаго опредѣленнаго отношенія между органами нервной системы и опредѣленной умственной функціей.

Здѣсь возникаетъ вопросъ о мозговыхъ замѣщеніяхъ, благодаря которымъ извѣстныя части мозга, поврежденные или разрушенные, могутъ быть въ извѣстной, довольно значительной, мѣрѣ замѣнены другими. Оба вопроса тѣсно между собою связаны. Ибо невозможность найти опредѣленную схему, способную координировать всѣ наблюденія надъ психо-паталогіей языка, невозможность къ которой повидимому сводится вся экспериментальная аргументація противъ параллелизма, могла бы быть истолкована не какъ доказательство независимости психической силы отъ мозга, но просто, какъ результатъ замѣщеній. Вопросъ тогда преобразовался-бы и поставился бы такъ: самый фактъ замѣщеній говоритъ за или противъ теоріи параллелизма? Я могу здѣсь не болѣе какъ только поставить этотъ вопросъ.

Безъ сомнѣнія, въ самомъ томъ фактѣ, что функція стремится возратить себѣ органъ, ею утраченный, есть уже что-то, говорящее въ пользу телеологической философіи, въ пользу какъ-бы формальнаго спиритуализма, согласно кото-

рому единство господствует надъ множественностью и предсуществуетъ ему метафизически. Но все-же тутъ нѣтъ ничего, что позволило-бы сдѣлать эмпирическое замѣчаніе въ пользу трансцендентнаго спиритуалистическаго принципа. Въ самомъ дѣлѣ, если функція возсоздаетъ себѣ органъ, то это потому, что, не будучи абсолютно простой, она, быть-можетъ, и не уничтожается никогда со всѣми ея свойствами. Физически, какъ и психологически, всегда поэтому остается отъ нея достаточно для того, чтобы она могла себя возстановить, и ни въ одинъ моментъ она не лишается всего своего матеріальнаго субстрата. Вотъ почему, наприм., какъ это видно изъ опытовъ Эвальда \*), нарушенія въ функціи равновѣсія и умѣнья оріентироваться, происходящія вслѣдствіе разрушенія органовъ лабиринта, излѣчиваются если та зона мозговой корки, которая лежитъ около Роландовой борозды, остается нетронутой; они появляются съ большей силой, если, въ свою очередь, разрушается и эта область; наконецъ, функція можетъ быть еще возстановлена, несмотря на это двойное разрушеніе, если животное можетъ пользоваться зрѣніемъ, между тѣмъ какъ заболѣваніе упорствуетъ, если держать животное въ темнотѣ. Все это можетъ служить вполне философскимъ аргументомъ въ пользу точки зрѣнія цѣлесообразности и динамизма, но, какъ мнѣ кажется, не можетъ считаться рѣшающимъ доводомъ противъ допущенія параллелизма въ области фактовъ.

Теорія параллелизма не должна поэтому приниматься, — какъ, повидимому, того хочетъ г-нъ Бергсонъ, — за эквивалентъ узкаго понятія мозговыхъ локализаций, — локализаций непосредственныхъ, абсолютныхъ, неизмѣнныхъ. Теорія локализаций постепенно сдѣлалась менѣе односторонней и болѣе гибкой; точно также въ психологической области, способности, считавшіяся первоначально простыми и данными въ готовомъ видѣ, въ настоящее время считаются функціями сложными и сьорганизовавшимися съ той или иной скоростью, съ тѣмъ или инымъ совершенствомъ.

Мнѣ кажется поэтому, что не-параллелизмъ еще цѣлн-

---

\*) Въ статьѣ Грассе „Le vertige“, Revue philosophique (мартъ 1901, стр. 246).

комъ требуетъ своего обоснованія, и я не вижу, особенно въ философіи г-на Бергсона, какъ можно его создать съ увѣренностью и точностью.

II. Изслѣдуемъ теперь, можетъ-ли отклоненіе между физическимъ и психическимъ служить основаніемъ для составленія новой метафизики, болѣе прочной, болѣе вѣрной, болѣе успѣшной, чѣмъ старая, такъ какъ она основана на опытѣ.

Намъ не кажется это возможнымъ. Замѣтимъ прежде всего, что отклоненіе это гораздо менѣе установлено между дѣйствительно данными фактами, чѣмъ между предѣльными членами, исходной точкой для построенія которыхъ служило реальное: чистымъ воспріятіемъ, чистымъ воспоминаніемъ. Въ дѣйствительности оно признается скорѣе по отношенію къ метафизическому данному, чѣмъ по отношенію къ данному опыта. Замѣчательно, что г-нъ Бергсонъ, отказывающійся прилагать дискурсивныя формы мышленія въ области чистаго опыта, охотно ихъ примѣняетъ для того, чтобы выйти изъ этой области. Это какъ-бы противовѣсъ положенію Канта, для котораго формы мышленія имѣютъ примѣненіе только въ опытѣ и не могутъ намъ служить для того, чтобы переступить его границы. Въ этой философіи есть реализмъ метода, состоящій въ томъ, чтобы непосредственно актуализировать опредѣленія, вытекающія изъ аналитическаго разложенія реальнаго. Яркимъ примѣромъ можетъ служить признаніе наличнаго существованія всѣхъ воспоминаній въ силу того, что все происходитъ такъ, какъ будто-бы наши воспоминанія находятся тутъ и готовы вновь появиться. Чистое воспріятіе и чистое воспоминаніе даютъ намъ другой примѣръ, капиталный для даннаго случая. Но отсюда видно, что методъ, о которомъ идетъ рѣчь, не является настолько новымъ, чтобы можно было ожидать отъ него результатовъ, которые нельзя было получить до сего времени. Ибо этотъ методъ перехода къ предѣлу является въ сущности методомъ, давшимъ всѣ понятія текущей метафизики. Напримѣръ, идея субстанціи есть только предѣлъ аналитическаго метода реальнаго, состоящаго въ томъ, чтобы искать устойчивое подъ мѣняющимся, однородное подъ разнород-

нымъ, скрытое подъ явнымъ. Точно также для классическаго спиритуализма духъ есть предѣлъ признанія единства, матерія—предѣлъ признанія множественности, и т. д.

Хотятъ-ли того или нѣтъ, и какой-бы ни принять способъ толкованія—аналитическій или синтетическій,—во всей метафизикѣ точкой отправленія для теоріи является непосредственный опытъ, и движущимъ принципомъ метода оказывается присущая мысли потребность въ ясности и различеніи. Если это такъ, то почему можно ожидать, что тотъ методъ, которому въ дѣйствительности всегда болѣе или менѣе слѣдовали, окажется сейчасъ болѣе вѣрнымъ, чѣмъ онъ былъ въ примѣненіи къ уже извѣстнымъ метафизическимъ системамъ?

Возвращаясь къ занимающему насъ вопросу, не ясно-ли, что отрицаніе параллелизма является только результатомъ перехода къ предѣлу, и, слѣдовательно, метафизическимъ построеніемъ, получаемымъ не путемъ большаго приближенія къ фактамъ, а путемъ удаленія отъ нихъ? По отношенію къ чистымъ концепціямъ, построеннымъ путемъ метафизическаго анализа, реальность, данная въ опытѣ, всегда будетъ казаться (г-нъ Бергсонъ не будетъ отрицать этого) какъ-бы смѣшанной. Вотъ почему мы видимъ здѣсь, что чѣмъ болѣе приближаются къ фактамъ, дѣйствительно наблюдаемымъ, тѣмъ болѣе оказываются вынужденными признавать параллелизмъ. Напримѣръ, съ нами соглашаются, что воспоминаніе о боли становится болью по мѣрѣ того, какъ оно дѣлается дѣйствительностью; но спрашиваютъ себя, было-ли оно болью „въ своемъ происхожденіи“? Не схватываемъ-ли мы въ самомъ этомъ вопросѣ переходъ къ предѣлу? Разсматривая послѣдовательныя измѣненія боли переходящія въ воспоминаніе, по мѣрѣ того, какъ восходятъ къ первому ея появленію, приходятъ къ допущенію полнаго исчезновенія этого болѣзненнаго характера въ воспоминаніи, взятомъ въ его происхожденіи, но продолжаютъ придавать самому этому воспоминанію опредѣленное собственное существованіе, всегда одинаковое, несмотря на уничтоженіе всего того, что его отличало и придавало ему индивидуальность. Такимъ образомъ, признають, что по мѣрѣ того, какъ воспоминаніе

переходить въ дѣйствительность, оно принимаетъ тотъ-же самый характеръ и приводитъ въ дѣйствіе тѣ-же самые органы, какъ и подлинное состояніе; въ этомъ отношеніи параллелизмъ остается въ выигрышѣ. Все, что въ воспоминаніи можетъ быть констатировано и опредѣлено, подтверждаетъ параллелизмъ; и если его отрицаютъ, то дѣлаютъ это во имя того, что нельзя въ этомъ воспоминаніи ни непосредственно наблюдать, ни опредѣлить; что сводится къ чистой возможности, въ которой, путемъ, такъ сказать, вполнѣ алгебраическаго дѣйствія перехода къ предѣлу, сохраняютъ реальность, лишая ее опредѣленія.

Въ такихъ условіяхъ я не вижу, какъ можно надѣяться на то, чтобы собрать точныя и экспериментальныя доказательства для психо-физическаго отклоненія, въ особенности для точнаго опредѣленія его границы.

И я прибавлю, что сама доктрина г-на Бергсона другими своими сторонами стремится уменьшить эту надежду. Чтобы получить „неоспоримые“ результаты, о которыхъ намъ говорятъ, нужно было-бы прежде всего допустить дискурсивную точку зрѣнія, чтобы за признакъ истины принималось согласіе умовъ, а не внутренняя интуиція, которая не можетъ сообщаться другимъ. А мы знаемъ отъ самого г-на Бергсона, что принятіе этой интеллектуалистической точки зрѣнія было-бы отрицаніемъ всей его доктрины.

Конечно, помимо дискурсивнаго доказательства можетъ быть и общая интуиція. Но я сомнѣваюсь, чтобы тогда возможно было говорить о дѣйствительно научной достовѣрности и неоспоримомъ знаніи. Въ области психологіи можно всегда, путемъ привлекательнаго и яркаго описанія, создать цѣликомъ способъ чувствованія, который хотятъ оправдать, или субъективныя представленія, которыя нужно было найти. И мы знаемъ, какъ умѣетъ г-нъ Бергсонъ заставить насъ видѣть то, что онъ видитъ самъ, и привести насъ къ его мысли путемъ внушенія, между тѣмъ, какъ, лишь только мы смогли нарушить очарованье, мы хотимъ видѣть, чтобы мысль эта была представлена намъ въ доказательствахъ. Мы можемъ съ полнымъ правомъ, во имя научной критики, не довѣрять интуиціи, которая вмѣсто того,

чтобы быть проверкой доктрины, ее контролем, рискует быть ее продуктомъ.

III. Намъ остается рассмотреть, насколько отклонение психического отъ физическаго, — допустивши, что оно установлено, — можетъ, дѣйствительно, дать намъ разъясненія о „значеніи жизни“. Я попросилъ-бы еще позволенія сдѣлать замѣчаніе, что передо мной нѣтъ никакого опредѣленнаго тезиса, и я желалъ-бы знать, какое это значеніе жизни считаютъ возможнымъ вывести изъ отрицанія параллелизма.

Вынужденный оспаривать самоѣ возможность такого вывода, я считаю позволительнымъ сказать, что между признаніемъ отклоненія психическаго отъ физическаго и толкованіемъ, которое можно было-бы ему дать, по необходимости вставляются гипотезы чисто-метафизическія, чуждыя самому этому признанію и которыя одиѣ опредѣляютъ, и опредѣляютъ заранее, направленіе доктрины. Какъ, дѣйствительно, отвѣтить на такой, напр., вопросъ: почему духъ хочетъ проникнуть въ матерію, желаетъ дѣйствовать въ матеріи? Совершенно ясно, что чѣмъ болѣе подниматься къ началу жизни, тѣмъ болѣе, повидимому, имѣютъ перевѣсъ потребности тѣла и жизненные нужды, и тѣмъ болѣе онѣ господствуютъ надъ сознаніемъ и опредѣляютъ его дѣятельность. Чѣмъ болѣе, напротивъ, спускаться отъ этихъ началъ къ самымъ развитымъ и самымъ законченнымъ формамъ жизни, тѣмъ болѣе сама мысль кажется предѣломъ и цѣлью жизни. Весь вопросъ въ точкѣ зрѣнія. Что заставитъ насъ принять одну предпочтительно передъ другою? Переходя отъ смутнаго къ отчетливому, отъ неопредѣленности, которая, очевидно, не будетъ свободой, къ свободѣ, которая уже не будетъ неопредѣленностью, реализуетъ-ли духъ свою собственную сущность, если онъ отъ нея удаляется? Должно-ли искать смыслъ жизни въ *primum vivere* скорѣе, чѣмъ въ *deinde philosophari*? Намъ не показано, чтобы такой выборъ вытекалъ изъ экспериментальнаго доказательства отклоненія психическаго отъ физическаго, ни что онъ можетъ сдѣлаться предметомъ позитивной и научной достовѣрности.

Та-же самая неясность, если коснуться истины и метода. Какое принять направленіе? Можетъ-ли служить при-

знакомъ истины единоедушіе, согласіе умовъ, или имъ будетъ внутренняя интуиція, не сообщаемая другимъ? Придется-ли быть рационалистомъ, апеллирующимъ къ научному и социальному развитію, или придется признать родъ абсолютнаго эмпиризма, въ которомъ невыразимое и неопредѣлимое принимаются за истинную реальность, потому что нѣчто подобное предчувствуется на низшей границѣ индивидуальной и элементарной мысли?

Та-же, наконецъ, нерѣшительность съ точки зрѣнія моральной. Стремиться къ тому, чтобы изолировать духъ отъ тѣла,—это значитъ также стремиться изолировать души однѣ отъ другихъ; исторія моральной мысли можетъ подтвердить, какъ мнѣ кажется, этотъ кажущійся парадоксъ, и во всякомъ случаѣ доктрина г-на Бергсона съ большою ясностью способствуетъ признанію солидарности между этими двумя идеями. И вотъ, нужно-ли работать въ направленіи изолированія личности и ея возврата къ самой себѣ, или въ направленіи общественнаго единенія личности? Какое направленіе будетъ истиннымъ направленіемъ жизни, и какъ теорія параллелизма или не-параллелизма можетъ рѣшить этотъ вопросъ?

Такимъ образомъ, констатировать отклоненіе психическаго отъ физическаго не значитъ еще умѣть истолковать его; это толкованіе остается безъ почвы, и, какъ всегда, фактъ, приобрѣтенный научнымъ путемъ, могъ бы существовать самъ по себѣ, философская-же его часть будетъ находиться цѣликомъ въ зависимости отъ предварительнаго метафизическаго предпочтенія, отъ системы, болѣе или менѣе предварающей самый фактъ. Не показано, чтобы изъ самаго факта могла выйти новая и болѣе вѣрная метафизика.

Я окончилъ изложеніе моихъ возраженій. Но я не могу еще предоставить слово г-ну Бергсону, не задавши себѣ вопроса, въ общей формѣ, какой интересъ заключается для истиннаго спиритуализма въ этой попыткѣ раздѣленія духа отъ тѣла. Древній спиритуализмъ также дѣлалъ подобную попытку, хотя совершенно инымъ способомъ, или, по крайней мѣрѣ, также постоянно свидѣтельствовалъ, что онъ заинтересованъ въ томъ, чтобы допустить такое раздѣленіе. Я, съ своей стороны, не раздѣляю этого мнѣнія. Въ самомъ дѣлѣ,

нужно различать доктрину параллелизма отъ той современной формы матеріализма, которая называется епифеноменизмомъ. Иногда ихъ смѣшиваютъ; но ясно, что одна есть отрицаніе другой, потому что епифеноменизмъ исключаетъ постоянное отношеніе между физическимъ и моральнымъ, и что, допуская произвольное появленіе и исчезновеніе сознанія, онъ отнимаетъ у него всякую реальность. Въ теоріи параллелизма, напротивъ, можно, безъ сомнѣнія, сказать, что душа говоритъ о тѣлѣ; но съ той-же справедливостью можно сказать, что тѣло говоритъ о душѣ, если предпочесть метафизически эту точку зрѣнія. Однимъ словомъ, я скажу, что параллелизмъ, безъ сомнѣнія, является гипотезой, но гипотезой, научной по природѣ, потому что, съ одной стороны, эта гипотеза благопріятствуетъ образованію науки о духѣ, какъ и науки о тѣлѣ, допуская истинную психологическую непрерывность, совпадающую съ непрерывностью механической, потому что, съ другой, она сама по себѣ безразлична къ тому, желаютъ-ли ей дать матеріалистическое или спиритуалистическое толкованіе.

Если-же мы возьмемъ спиритуализмъ, то заинтересованъ-ли онъ въ томъ, чтобы поддерживать, что душа выходитъ за предѣлы тѣла подобно тому, какъ въ епифеноменизмѣ тѣло выходитъ за предѣлы души? Я этого не вижу. Прежде всего, по мнѣнію г-на Бергсона, — и, признаюсь, я этимъ удивленъ, — для объясненія привычки достаточно одного тѣла, между тѣмъ какъ воспоминанія тѣло объяснить не можетъ. Его достаточно для привычки, функціи по существу динамической, и съ такой очевидностью, по крайней мѣрѣ, по внѣшности, переходящей за дѣйствительные факты, изъ которыхъ она исходитъ, дававшей древнимъ спиритуалистамъ такой ходячій, такой благовидный аргументъ. Его недостаточно для воспоминанія, котораго неподвижность, инерція, вполне статическій характеръ, какъ намъ его, по крайней мѣрѣ, представляютъ, должны естественнымъ образомъ совпадать со свойствами матеріи. Тѣло можетъ удовлетворительно объяснить сохраненіе тенденціи и не можетъ объяснить сохраненіе состоянія. Воспоминаніе, соединенное съ тѣломъ своимъ происхожденіемъ и стремящееся безпрестанно войти въ него, чтобы

въ немъ реализоваться, содержаніе котораго не выходитъ за предѣлы частныхъ фактовъ, его породившихъ, какъ это бываетъ въ случаѣ съ привычкой, оказывается,—по скольку оно является чистымъ воспоминаніемъ,—независимымъ отъ тѣла въ своей сущности и въ непрерывности своего существованія. Вотъ первое и очень значительное затрудненіе.

Но помню того, если этимъ именно душа выходитъ за предѣлы тѣла, то легко-ли спиритуализму одержать побѣду? Для г-на Бергсона все, что относится къ актуальному и ясному сознанию, исходитъ отъ тѣла, или по крайней мѣрѣ прямо обуславливается тѣломъ и дѣйствіемъ. Собственно говоря, чисто-психическое должно быть поэтому чисто-безсознательнымъ. Но тогда, что можно знать объ этомъ безсознательномъ, о которомъ ничего нельзя сказать, кромѣ того, что это все, что угодно, исключая дѣйственной мысли? Какъ утверждать тогда,—на что я уже указывалъ,—что оно не сводится, согласно Стюарту Миллю, къ простому физиологическому факту? Какъ-же убѣдиться, что то, что даетъ возможность замѣтить, что душа выходитъ за предѣлы тѣла, не совпадаетъ именно съ тѣмъ, въ чемъ тѣло выходитъ за предѣлы души, согласно съ епифеноменизмомъ?

Итакъ, я не вижу ни возможности установить эмпирически отклоненіе психическаго отъ физическаго и точные предѣлы этого отклоненія, въ особенности въ данной доктринѣ, ни возможности основанія на такомъ констатированіи подлинно новаго метафизическаго метода, имѣющаго позитивную достовѣрность и способнаго къ безконечному прогрессу, ни, наконецъ, возможности обойтись безъ предвзятой метафизической гипотезы, чтобы получить философское толкованіе этого отклоненія, ни, слѣдовательно, возможности вывести изъ него съ достовѣрностью значеніе жизни.

Бергсонъ. Я начинаю съ благодарности моему товарищу и другу за только что представленную имъ столь интересную критику моихъ положеній. Онъ послалъ мнѣ краткій набросокъ, с х е м у, предполагаемыхъ съ его стороны возраженій. Эти возраженія кажутся болѣе относящимися къ предполагаемому мною общему методу, чѣмъ къ частнымъ приложе-

ніямъ, которыя я пытался изъ него сдѣлать, или къ результа-тамъ, къ которымъ онъ меня привелъ. Я предпочелъ бы, чтобы пренія держались на этой почвѣ. Я вѣрю въ великую силу метода; я не желалъ бы, чтобы о немъ судили по неполнымъ и несовершеннымъ результатамъ, которые могъ извлечь изъ него отдѣльный изслѣдователь. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ г-нъ Бело, повидимому, считаетъ методъ отвѣтственнымъ за его приложеніе, то я послѣдовательно разсмотрю различныя возраженія, поднимаемыя имъ противъ того и другого,—всѣ тѣ, по крайней мѣрѣ, которыя я могъ попутно отмѣтить. Я попрошу моего оппонента взять снова свое слово, если я упущу какой-нибудь существенный пунктъ.

Г-нъ Бело прежде всего удивляется „гипотетической“ формѣ, въ которой я редактировалъ мои заключенія. „Намъ предлагаютъ не столько теорію, говоритъ онъ, сколько гипотезу“. Совершенно справедливо, что мои три предложенія всѣ начинаются съ е с л и. Е с л и послѣдняго предложенія выражаетъ, что оно зависитъ отъ принятія второго, е с л и второго, что онъ предполагаетъ допущеніе перваго. Но вотъ и само первое предложеніе начинается тоже съ е с л и: этому, конечно, и удивляется г-нъ Бело. Я спѣшу ему отвѣтить, что я не изложилъ бы это предложеніе въ такой формѣ, если бы думалъ, что всѣ согласятся со мною относительно того, что въ немъ заключается, т.-е., что „психо-физическій параллелизмъ не отличается ни строгостью, ни полнотой“. Я защищалъ это положеніе; но, убѣдившись самъ, я не имѣю права говорить такъ, какъ будто бы я убѣдилъ другихъ. Это е с л и было, такимъ образомъ, въ моей мысли учтивостью по отношенію къ моимъ возможнымъ оппонентамъ. Если на это е с л и посмотреть, какъ на неувѣренность, то я тотчасъ же сотру его и замѣню выраженіемъ такъ какъ. Я не имѣю относительно этого пункта ни малѣйшаго сомнѣнія: я вполнѣ убѣжденъ, что между психологическимъ фактомъ и мозговою дѣятельностью существуетъ извѣстное отношеніе, существуетъ извѣстнаго рода соотвѣтствіе, какъ я тотчасъ это объясню, но что ни коимъ образомъ тутъ нѣтъ параллелизма.

Я подхожу ко второму предварительному замѣчанію г-на Бело. „Проблема отношеній души и тѣла, говоритъ

онъ, занимала уже важнѣйшее мѣсто въ метафизикѣ картезианцевъ. Но въ то время, какъ картезианцы старались, главнымъ образомъ, перенести эти отношенія въ область постижимости, г-нъ Бергсонъ становится единственно на почвѣ фактовъ“. Можно было бы многое сказать относительно этого различія. Я задаю себѣ вопросъ, имѣли-ли бы картезианцы, если бы они сейчасъ воскресли, то-же самое представленіе о постижимости. Я полагаю, что очень трудно сказать сразу о какомъ-либо понятіи, постижимо оно или не постижимо. Постижимость приходитъ къ нему мало-по-малу путемъ приложенія, какое изъ нея дѣлають. Постижимость какой-нибудь идеи можетъ измѣряться только богатствомъ того, что она подсказываетъ, разбѣромъ, плодотворностью и вѣрностью ея приложенія, возрастающимъ числомъ сочлененій, которыя она позволяетъ намъ, такъ сказать, обнажить въ реальномъ, словомъ, ея внутренней энергіей. Понятіе дифференціала, столь темное для первыхъ математиковъ, которые имъ пользовались, черезъ само это пользованіе сдѣлалось понятіемъ яснымъ по преимуществу, освѣщающимъ всю математику. Если картезианцы (гораздо болѣе, впрочемъ, чѣмъ самъ Декартъ) относили къ протяженности все то, что природа даетъ намъ яснаго и отчетливаго, то это потому, что открытія астрономовъ и физиковъ XVI-го и XVII вѣковъ и, сверхъ того, всѣ открытія Декарта, вскрыли передъ ними объяснительное значеніе идеи протяженности. Ихъ критерій постижимости былъ гораздо болѣе эмпирическимъ, чѣмъ они это думали. Онъ соотвѣтствовалъ полному углубленію ихъ собственнаго опыта. Но нашъ опытъ гораздо болѣе обширенъ. Онъ такъ расширился, что мы должны были отказаться—вотъ уже скоро столѣтіе—отъ надежды на универсальную математику. На самомъ этомъ отказѣ построились новыя науки, производящія наблюденія и опыты безъ всякой задней мысли придти когда-нибудь къ математической формулѣ. Постижимость распространяется, такимъ образомъ, мало-по-малу на новыя понятія, сами подсказанныя опытомъ. Я не думаю поэтому оказаться невѣрнымъ методу Декарта, требуя пересмотра для такого или иного картезианскаго рѣшенія въ томъ именно направленіи, въ которомъ потребовалъ бы безъ сомнѣнія этого пересмотра и

философъ-картезіанецъ, имѣя передъ собой болѣе гибкую науку, наученный болѣе обширнымъ опытомъ и склонный допускать въ явленіяхъ природы сложность организаціи, которую трудно обратить въ математическій механизмъ. Если методомъ назвать извѣстное положеніе разума относительно своего предмета, извѣстное приспособленіе формы изслѣдованій къ ихъ матеріи, то это не значитъ оставаться вѣрнымъ методу, если сохранить неизмѣнными его приемы въ то время, какъ матеріалы, которыми этотъ методъ оперируетъ, радикально измѣнились. Остаться вѣрнымъ извѣстному методу значитъ, напротивъ, постоянно преобразовывать форму по матеріи, такъ чтобы всегда сохранять ту-же самую точность приспособленія.

Но я подхожу къ основному вопросу. Г-нъ Бело начинаетъ съ указанія, что „древній спиритуализмъ также считалъ своимъ долгомъ признавать отклоненіе между физическимъ и моральнымъ, но что онъ искалъ это отклоненіе въ высшихъ способностяхъ, тогда какъ въ новомъ спиритуализмѣ отклоненіе это утверждается въ функціяхъ низшихъ и безсознательныхъ“. Преяде всего я долженъ исправить одну детальную неточность. Правда, что я искалъ отклоненія со стороны „низшихъ“ способностей, но не со стороны способностей „безсознательныхъ“. Это не значитъ, что я отрицаю безсознательное. Говоря мимоходомъ, идея безсознательнаго могла бы служить провѣркой тому, что я только-что говорилъ, т.-е., что идея становится понятной черезъ ея примѣненіе. Двадцать лѣтъ тому назадъ обыкновенно говорили, что психологическое состояніе, по самому своему опредѣленію, есть состояніе сознательное (я самъ имѣю на своей совѣсти преподаваніе этого въ теченіе долгаго времени) и что идея безсознательнаго психологическаго состоянія является, слѣдовательно, идеей противорѣчивой. Однако, я полагаю, что для каждаго, кто близко слѣдилъ за успѣхами психологій въ эти послѣдніе года, очень трудно не отвести широкаго мѣста безсознательному въ психологическихъ объясненіяхъ, и даже не признать, что идея безсознательнаго, по мѣрѣ того какъ надъ ней работаешь, становится все болѣе и болѣе ясной, такъ какъ умъ нашъ расширяется, приобретаетъ силу и въ концѣ-концовъ за-

хватываетъ это, первоначально ускользающее представленіе Детальное развитіе наукъ, безъ сомнѣнія, совершается путемъ растущей провѣрки уже принятыхъ принциповъ: но какъ можетъ получиться существенный, радикальный прогрессъ въ наукѣ иначе какъ путемъ усилія интеллектуальнаго расширенія, дѣлающаго постижимыми извѣстныя понятія, которыя до сего времени казались близкими къ противорѣчію? Но, повторяю, для безсознательнаго нѣтъ мѣста въ настоящей дискуссіи, ибо измѣрять отклоненіе между физическимъ и моральнымъ я хочу не на безсознательныхъ психологическихъ фактахъ.

На низшихъ психологическихъ фактахъ — да. И это является дѣйствительно, какъ очень хорошо было сказано г-номъ Бело, одною изъ характерныхъ чертъ того спиритуализма, который онъ назвалъ новымъ.

Что высшія способности духа — разумъ, разсудокъ, творческое воображеніе, — являются истинными и существенными способностями человѣка, я первый готовъ это признать. Древній спиритуализмъ имѣлъ полное основаніе искать здѣсь духовную характеристику человѣка. Но когда въ борьбѣ со своими противниками, матеріалистами, и работая надъ опредѣленіемъ отношенія души къ тѣлу, онъ замкнулся, какъ въ крѣпости, въ эти высшія способности, онъ былъ, по-моему, вдвойнѣ неправъ. Онъ оказался произвольнымъ, и онъ былъ безплоденъ.

Онъ оказался произвольнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, его противники могли всегда ему возразить, что отклоненіе, установленное имъ между психическимъ и физическимъ, происходило просто отъ того, что онъ разсматривалъ матерію въ ея самыхъ рудиментарныхъ формахъ, а духъ въ его самыхъ позднѣйшихъ состояніяхъ, что можно легко говорить о непревратимости мысли въ движеніе, но что если взять матерію на той степени ея сложности и подвижности, гдѣ она подражаетъ нѣкоторымъ свойствамъ сознанія, а сознаніе на той степени простоты и устойчивости, на которой оно становится причастнымъ инерціи матеріи, то можно было бы безъ труда добиться ихъ совпаденія: тогда, составляя изъ нихъ элементарныя психологическія состоянія, можно, переходя отъ синтеза къ синтезу, дойти до воз-

становленія самыхъ высокихъ проявленій психологической дѣятельности. Существуетъ извѣстный монизмъ, близкій къ матеріализму, который дуалистическій спиритуализмъ никогда не могъ отвергнуть именно потому, что спиритуализмъ ограничивался противопоставленіемъ одного другому двухъ крайнихъ членовъ, мысли и движенія. Дуализмъ разсматривалъ границы интервала, монизмъ держался середины: помѣстившись на различныхъ почвахъ, какъ могли эти двѣ доктрины соединяться и соразмѣряться одна съ другой? Мнѣ казалось, что было одно, и только одно, средство чтобы ограничить монизмъ: перейти на его собственную почву. Это значило, что вмѣсто того, чтобы разсматривать высшія психологическія состоянія, взять, напротивъ, психологическое состояніе самое рудиментарное. Это значило, показать фактическое отклоненіе, отклоненіе, доступное для наблюденія, между этимъ состояніемъ и физическими условіями, на которыя оно накладывается. Думайте, что хотите о матеріи „въ себѣ“ и о духѣ „въ себѣ“, приписывайте даже матеріи, въ видахъ пользы для вашей монистической концепціи вселенной, смутное сознаніе, сущность, аналогичную сущности духа,—остается не менѣе вѣрно, что когда появляется фактъ сознанія въ точномъ и собственномъ смыслѣ слова, мы можемъ заставить васъ прикоснуться къ чему-то абсолютно новому, къ извѣстной неопредѣленности, къ извѣстной случайности, способности выбора. И тогда вы можете, если хотите, возстановить высшую дѣятельность духа изъ самыхъ элементарныхъ психологическихъ состояній, ваша гипотеза будетъ безсильна противъ спиритуализма, потому что она съ самаго начала положила съ собою своего врага. Другими словами, я говорю, что спиритуализмъ долженъ покориться и спуститься съ высотъ, на которыхъ онъ укрѣпился. Пока онъ тамъ остается, онъ можетъ обладать истиной, но онъ останется безсильнымъ обратитъ къ ней другихъ. Мы хотимъ замѣнить прежнюю игру школь, гдѣ каждый развивалъ до конца абстрактную концепцію, чтобы противопоставить ее потомъ противоположной концепціи, философіей широкой, открытой для всѣхъ, развивающейся, гдѣ мнѣнія должны будутъ сами себя испытывать, исправлять другъ друга и—я надѣюсь—въ концѣ-

концовъ прійдутъ къ общему согласію при соприкосновеніи съ однимъ и тѣмъ же опытомъ.

Вотъ почему я сказалъ, что древній спиритуализмъ долженъ казаться произвольнымъ. Я прибавляю, что онъ былъ, по необходимости, бесплоднымъ, и что пренебреженіе, которое ему выказывало и еще выказываетъ значительное число людей науки, происходитъ именно отсюда. Онъ былъ бесплоденъ именно потому, что ограничивался разсмотрѣніемъ крайнихъ членовъ и однимъ простымъ заявленіемъ, что духъ непревратимъ въ матерію. Заявленіе подобнаго рода можетъ быть справедливымъ (по-моему мнѣнію, оно справедливо) но изъ него ничего нельзя извлечь, не болѣе, впрочемъ, какъ и изъ утвержденія обратнаго. Да и нѣтъ бесплодны въ философіи. Интереснымъ, поучительнымъ, плодотворнымъ будетъ „въ какой мѣрѣ?“ Ничего нельзя выиграть отъ признанія того, что два понятія, какъ понятіе духа и понятіе матеріи, виѣшны одно относительно другого. И можно, напротивъ, сдѣлать важныя открытія если помѣститься въ томъ пунктѣ, гдѣ оба понятія соприкасаются, на ихъ общую границу, чтобы изучать форму и природу ихъ соприкосновенія. Правда, что первая операція всегда соблазняла философовъ, такъ какъ это трудъ діалектическій, который можно тотчасъ-же выполнить надъ идеями, тогда какъ вторая операція требуетъ труда и можетъ выполниться только на фактахъ, на опытѣ, такъ какъ опытъ и является какъ-разъ тѣмъ пунктомъ, гдѣ понятія соприкасаются и проникаютъ другъ друга. На этотъ трудъ, очень долгій и очень тяжелый, я и склонялъ философовъ.

Я самъ испробовалъ его въ очень слабой мѣрѣ, въ той, на которую я чувствовалъ себя способнымъ. Я разсмотрѣлъ сначала проявленія матеріи не въ томъ, что есть въ нихъ самаго простого, т.-е., въ фактахъ физическихъ, но въ самой сложной ихъ формѣ, въ фактѣ физиологическомъ. И я взялъ не вообще физиологическій фактъ, но фактъ мозговой. Даже не вообще фактъ мозговой, но фактъ вполне опредѣленный и локализованный, тотъ, который обуславливаетъ извѣстную функцію рѣчи. Я поднимался, такимъ образомъ, отъ усложненія къ усложненію, до того пункта

гдѣ дѣятельность матеріи приходитъ въ соприкосновеніе съ дѣятельностью духа. Тогда отъ упрощенія къ упрощенію я заставилъ духъ спуститься къ матеріи настолько близко, насколько я могъ этого достигнуть. Я оставилъ въ сторонѣ идеи, чтобы разсматривать только образы, изъ образовъ я удержалъ только воспоминанія, изъ воспоминаній, вообще, только воспоминанія словъ, изъ воспоминаній словъ только исполнѣ спеціальныя воспоминанія, сохраняющіяся у насъ отъ звука словъ: въ этотъ разъ я былъ на границѣ, я почти касался мозгового явленія, въ которомъ звуковая вибрація имѣетъ свое продолженіе. И, однако, отклоненіе существовало. Правда, это уже не было тѣмъ абстрактнымъ отклоненіемъ, которое можно признавать а priori между двумя такими понятіями, какъ понятія „сознаніе“ и „движеніе“: изъ взаимнаго исключенія, повторяю, ничего нельзя извлечь. Это было конкретное и живое отношеніе. Я видѣлъ—какъ разъ въ тотъ моментъ, когда фактъ сознанія долженъ удвоиться мозговымъ спутникомъ—почему и какъ мысль имѣетъ нужду развернуть въ пространственное движеніе все то, что заключается въ ней, какъ возможное дѣйствіе, все, что есть въ ней такого, что можетъ быть разыграно. Я видѣлъ также въ психологическомъ фактѣ, присоединяющемся къ мозговой дѣятельности, что-то въ извѣстной части свободное, въ извѣстной части неопредѣленное, такъ что, въ то время, какъ разыгрываемая сторона этого факта строго опредѣлялась его физическими условіями, другая сторона этого же самаго факта,—образъ, или представленіе,—была гораздо болѣе независима. Отсюда выявилась въ моихъ глазахъ возможность опредѣлить эмпирически, послѣдовательно, то, что я называлъ „значеніемъ жизни“, т.-е., истинный смыслъ различія между душою и тѣломъ, равно какъ и основаніе, по которому они соединяются вмѣстѣ и сотрудничаютъ. Мнѣ казалось также, что такимъ путемъ мы смогли бы выяснять все лучше и лучше тотъ исполнѣ спеціальнѣйшій родъ ограниченія, который жизнь приноситъ нашей мысли. Не сочли-ли философы за познаніе относительное то, что является только познаніемъ уменьшеннымъ, сѣуженнымъ, вынужденнымъ проявляться внѣшнимъ образомъ въ дѣйствіи прежде, чѣмъ углу-

биться въ мысль? И если форма этого ограниченія замѣчается все яснѣе и яснѣе, то не могли-ли бы мы все лучше и лучше открывать, въ какомъ направленіи мы должны дѣлать усиліе, чтобы перейти это ограниченіе? И даже неясности дуализма, затрудненіе въ установленіи столь радикальнаго различія между сознаніемъ и его опорой, не окказались-ли бы затрудненіемъ и неясностями искусственными, происшедшими отъ того ограниченія, которое какъ бы навязывается нашему интеллекту самою двойственностью тѣла и духа? Такимъ образомъ, сжимая спиритуализмъ на этой крайне узкой почвѣ, мнѣ кажется, что можно-бы было безконечно увеличить его плодотворность и его силу, сдѣлать его такимъ, что онъ могъ бы быть принятъ тѣми, кто его отталкиваетъ, свести его къ теоріи познанія, которая разсѣяла бы заключающіяся въ немъ неясности, наконецъ, сдѣлать изъ него самую эмпирическую доктрину по методу и самую метафизическую по результатамъ.

Противъ этой метафизики или, по крайней мѣрѣ, противъ этого метода г-нъ Бело поднимаетъ рядъ возраженій, вытекающихъ прежде всего изъ невозможности для насъ установить неоспоримымъ образомъ существованіе рѣзкаго отклоненія между психологическимъ фактомъ и его мозговымъ субстратомъ. Добрую часть его аргументовъ, если я не ошибаюсь, можно резюмировать такъ: „Если даже вы найдете отклоненіе, ничто не доказываетъ, что дальнѣйшіе успѣхи въ наукѣ не заполняютъ его. Вы не можете доказать невозможности параллелизма“. О, конечно, нѣтъ, конечно, я не могу доказать невозможности параллелизма. Не существуетъ способа, доступнаго пониманію, для доказательства невозможности факта. Можно доказать его возможность, показывая экспериментальнымъ путемъ его реальность; но нельзя показать ни опытомъ, ни разсужденіемъ его невозможность. Тѣмъ не менѣе соглашаются признать, что извѣстныя фактическія невозможности совершенно удовлетворительно установлены наукой. Признають, со времени Пастера, невозможность самопроизвольнаго зарожденія, по крайней мѣрѣ, въ настоящихъ условіяхъ жизни. Это не является увѣренностью строгою, абсолютною, математическою, я съ этимъ согласенъ. Все, что могъ сдѣлать Пастеръ,

это показать своимъ противникамъ, что во всѣхъ опытахъ, гдѣ они думали, что имѣютъ дѣло съ самопроизвольнымъ зарожденіемъ, предсуществовали живые зародыши. И всегда мы можемъ спросить себя, не могли ли бы мы наблюдать самопроизвольное зарожденіе жизни въ другихъ условіяхъ существованія, о которыхъ не думали сами противники Пастера. Однако, повторяю, существуетъ согласіе относительно того, чтобы признать, что Пастеръ возвелъ свою теорію на такую степень вѣроятности, которая, практически и научно, соотвѣтствуетъ достовѣрности. И вотъ, если бы я могъ придти въ вопросахъ, касающихся отношеній психическаго къ физическому, и въ метафизическихъ проблемахъ вообще, къ достовѣрности, равной или даже просто сравнимой съ достовѣрностью положенія Пастера, что „не существуетъ самопроизвольнаго зарожденія“, эта достовѣрность была бы для меня совершенно достаточной.

Я очень боюсь, что это-то насъ и раздѣляетъ, и что вы, вопреки собственному вашему желанію, представляете себѣ метафизику, какъ науку, аналогичную математикѣ, съ отчетливой простотой и рѣшительнымъ догматизмомъ математическихъ наукъ. Если метафизика такова, намъ остается только выбирать между окончательно установленными, простыми концепціями, чтобы довести до конца ихъ развитіе: это—законченная наука или, скорѣе, только правильная игра между противоположными школами, которыя вмѣстѣ выступаютъ на сцену, чтобы по очереди заставлять себѣ аплодировать. Я вижу, напротивъ, въ будущей метафизикѣ науку, эмпирическую на свой манеръ, развивающуюся, вынужденную, подобно другимъ положительнымъ наукамъ, выдавать послѣдніе результаты своего внимательнаго изученія реальнаго только за временно рѣшающіе результаты. На результатахъ подобнаго рода я и остановился. Лѣтъ двѣнадцать тому назадъ я задалъ себѣ слѣдующую проблему: „чему могутъ научить теперешнія фізіологія и паталогія по античному вопросу объ отношеніяхъ физическаго и моральнаго,—научить умъ, не зараженный предвзятыми мыслями, рѣшающійся забыть всѣ умозрѣнія, которымъ онъ могъ предаваться по этому поводу, рѣшающійся также отбросить въ утвержденіяхъ ученыхъ все то, что не

является чистымъ и простымъ констатированьемъ фактовъ“? И я принялся за изученіе. Очень скоро я замѣтилъ, что вопросъ можетъ имѣть временное рѣшеніе и даже точную формулировку не иначе, какъ если его сѣзуть до проблемы памяти. Я вынужденъ былъ затѣмъ урѣзывать очертанія самой памяти, суживая ихъ все болѣе и болѣе. Остановившись на памяти словъ, я увидалъ, что такая формулировка проблемы была еще слишкомъ широкой, и что только память звука словъ ставить вопросъ въ самой точной и самой интересной формѣ. Литература по афазіи огромна. Я затратилъ пять лѣтъ, чтобы разобратъся въ ней. И я пришелъ къ тому заключенію, что между психологическимъ фактомъ и его мозговымъ субстратомъ должно существовать отношеніе, не отвѣчающее никакой изъ готовыхъ концепцій, которыя философія даетъ въ наше распоряженіе. Это не будетъ ни безусловное опредѣленіе одного изъ этихъ состояній другимъ, ни полная независимость одного по отношенію къ другому, ни порожденіе одного другимъ, ни простое сосуществованіе, ни строгій параллелизмъ, словомъ—я повторяю—ни одно изъ отношеній, которыя можно получить а priori, оперируя абстрактными концепціями или комбинируя ихъ между собою. Это будетъ извѣстное отношеніе *sui generis*, которое я могу формулировать (впрочемъ, очень неполно) слѣдующимъ образомъ:

Въ данномъ психологическомъ состояніи, та его часть, которая можетъ быть разыграна, которая передается извѣстнымъ положеніемъ тѣла или дѣйствіями тѣла, представлена въ мозгѣ: остальное отъ него независимо и не имѣетъ мозгового эквивалента. Такъ что одному и тому же мозговому состоянію могутъ соответствовать много различныхъ психологическихъ состояній, но не любыя изъ нихъ. Это будутъ такія психологическія состоянія, которыя всѣ имѣютъ ту-же самую „двигательную схему“. Въ одну и ту-же рамку можетъ быть вставлено много картинъ, но не всѣ картины. Возьмемъ возвышенную, абстрактную, философскую мысль. Мы не можемъ ее познать, не присоединивши къ ней образнаго представленія, подкладываемаго нами подъ нее. Мы не представляемъ себѣ, въ свою очередь, этого образа, не кладя подъ него чертежа, резюми-

рующего его главные линии. Мы не представляемъ самого этого чертежа, не представляя себѣ, и тѣмъ самымъ не набрасывая, извѣстныхъ воспроизводящихъ его движеній. Этотъ-то набросокъ, и только онъ одинъ, и дается мозгомъ. Полагая набросокъ, вы имѣете просторъ для образа. Полагая, въ свою очередь, образъ, вы получаете еще больший просторъ для мысли. Такимъ образомъ, мысль является относительно свободной и неопредѣленной по отношенію къ направляющей ее мозговой дѣятельности, такъ какъ послѣдняя выражаетъ только двигательныя артикуляціи идеи, которыя могутъ быть однѣ и тѣ-же для идей абсолютно различныхъ. И однако это не полная свобода, не абсолютная неопредѣленность, потому что какая нибудь идея, взятая случайно, можетъ не представить требуемыхъ артикуляцій. Коротко говоря, ни одно изъ простыхъ понятій, которыми снабжаетъ насъ философія, не могло бы выразить искомага отношенія; отношеніе же это выходитъ съ достаточной ясностью изъ опыта.

Но вы настаиваете и говорите, что этотъ опытъ не полонъ, и спрашиваете, не будетъ ли онъ давать все болѣе и болѣе оправданій для теоріи параллелизма по мѣрѣ того, какъ онъ будетъ болѣе углубляться въ факты. Какія основанія вы имѣете для такого предположенія? Научно-ли, имѣя реальный опытъ, который мы знаемъ, апеллировать къ опыту возможному, о которомъ мы ничего еще не можемъ сказать? Изслѣдуйте теперь, не является ли ваша вѣра въ параллелизмъ, ваше довѣрчивое ожиданіе его доказательства въ будущемъ, простымъ переживаніемъ въ васъ вѣры Лейбница или Спинозы въ универсальный механизмъ? Послѣдователи Декарта, доводя идеи учителя до ихъ крайнихъ послѣдствій, вѣрили въ единую науку о природѣ, въ великую математику, способную охватить все. И именно, чтобы не порвать это строгое сцѣпленіе причинъ и слѣдствій, они и говорили о параллелизмѣ между психическимъ и физическимъ, какъ будто бы тѣло и духъ выражали совершенно одно и то же на двухъ самостоятельныхъ языкахъ. Но создалось ли бы у нихъ теперь то же самое представленіе о природѣ? Добивались ли бы они въ наукѣ той же самой простоты? По прежнему ли они понимали бы по-

стижимость? Если мы останемся въ абстрактномъ, если мы будемъ видѣть въ метафизикѣ прямолинейное развитіе простыхъ идей, то, конечно, мы присоединимся къ теоріи параллелизма, потому что она выражаетъ прямо, просто и полно требованія принципа причинности, который и самъ формулируется весьма простымъ образомъ. Но реальность гораздо болѣе сложна, и опытъ гораздо болѣе поучителенъ.

Правда, я не могъ войти въ мозгъ, идти по слѣдамъ за мозговымъ колебаніемъ, измѣрять циркулемъ отклоненіе, раздѣляющее это явленіе отъ соответствующаго психологическаго состоянія. Но изъ того, что истина по природѣ эмпирическая, не слѣдуетъ, чтобы можно было ее тотчасъ же провѣрить эмпирически. Часто приходится дѣлать обходъ, открывать на нее многочисленные пути, изъ которыхъ ни по одному нельзя идти до конца, но общее направленіе которыхъ къ одной точкѣ съ достаточной точностью показываетъ пунктъ, куда можно бы было придти. Такъ измѣряютъ разстояніе до неуловимаго пункта, намѣчая къ нему направленія съ тѣхъ пунктовъ, съ которыхъ есть къ этому доступъ. Существуютъ научныя достоувѣрности, которыя получаютъ только путемъ накопленія вѣроятностей. Существуютъ линіи фактовъ, изъ которыхъ ни одна не достаточна сама по себѣ для опредѣленія истины, но которыя опредѣляютъ ее своимъ пересѣченіемъ. Къ такому прибавленію вѣроятностей, къ такому пересѣченію „линій фактовъ“ я и прибѣгнулъ въ книгѣ, на которую г-нъ Бело соблаговолилъ намекнуть. Я предпочелъ бы не говорить сегодня объ этомъ трудѣ. Но я обязанъ сказать о немъ нѣсколько словъ, потому что вопросъ перенесенъ на эту почву.

Вторая и третья главы книги „Матерія и Память“, дѣйствительно, посвящены опредѣленію отношенія между психологическимъ состояніемъ и его мозговымъ спутникомъ. Но не нужно думать, что я стремился доказать то вполне отрицательное положеніе, что между ними „нѣтъ параллелизма“, или что я основывалъ мое доказательство на спеціальномъ изученіи замѣщеній или вообще локализаций. Нельзя многого извлечь изъ чисто отрицательнаго положенія. Съ другой стороны, вопросъ о замѣстителяхъ настолько теменъ, наблюдаемые факты такъ хорошо мирятся здѣсь со

всякими толкованіями, что я счелъ своимъ долгомъ оставить замѣщенія совершенно въ сторонѣ: у меня нѣтъ о нихъ ни одного слова. И наконецъ, что касается мозговой локализациі, то я не думалъ въ ней сомнѣваться ни на одинъ моментъ, такъ какъ я рассматривалъ ее какъ разъ тамъ, гдѣ она строго доказана,—въ функціяхъ рѣчи. Вопросъ ставился передо мной совсѣмъ въ другой формѣ. Дѣло шло о томъ, чтобы опредѣлить точное значеніе фактовъ локализациі въ тѣхъ случаяхъ, когда локализациа достовѣрна. Рассматриваемые отдѣльно, эти факты не допускаютъ при настоящемъ состояніи науки никакого точнаго толкованія и, быть можетъ, даже никогда не допустятъ толкованія полнаго. Но мнѣ казалось, что, комбинируя эти факты съ очень большимъ числомъ другихъ фактовъ, заимствованныхъ изъ нормальной или патологической психологіи, можно дать приблизительное рѣшеніе проблемы, рѣшеніе, способное къ возрастающей достовѣрности, словомъ, рѣшеніе научное. Путемъ сходящихся линій фактовъ, путемъ фактовъ нормальнаго узнаванія, путемъ фактовъ узнаванія патологическаго, въ частности психической слѣпоты, наконецъ—и главнымъ образомъ—черезъ различные проявленія чувственной афазіи,—я пришелъ къ тому заключенію, что мозгъ включаетъ въ себѣ „двигательныя схемы“ образовъ и идей, что онъ въ каждое мгновеніе вырисовываетъ ихъ двигательныя артикуляціи, что онъ, слѣдовательно, извѣстнымъ образомъ и въ извѣстной мѣрѣ даетъ порядокъ мышленію. Такъ всѣ перемѣщенія актеровъ на сценѣ обозначены въ книжкѣ режиссера. Но эти перемѣщенія представляютъ собою только очень незначительную часть пьесы и опредѣляютъ только очень незначительную часть игры актеровъ. И если мозгъ поддерживаетъ съ мышленіемъ подобнаго рода отношеніе, то изъ этого слѣдуетъ, что не можетъ быть между мозговою дѣятельностью и мышленіемъ ни параллелизма, ни эквивалентности.

Итакъ, отрицаніе параллелизма основывается мною не на отрицательныхъ соображеніяхъ. Изъ отсутствія фактовъ или доказательствъ въ пользу параллелизма нельзя, дѣйствительно, ничего извлечь. Я не говорю, что при отсутствіи фактовъ и доказательствъ можно имѣть право утвер-

ждать,—какъ, кажется это дѣлаетъ г-нъ Бело,—что доказательства и факты явятся по мѣрѣ того, какъ будетъ обогащаться наука. Только при томъ условіи можно признать за собой это право, если пропитаться, какъ многіе изъ философовъ, лейбниціанской или спинозистской идеей универсальнаго механизма. Но должно-же быть, по крайней мѣрѣ, предоставлено право на то, чтобы ждать. Помимо того, положеніе чисто отрицательное есть такое положеніе, изъ котораго философія не извлечетъ никакой пользы. Я сдѣлалъ попытку, напротивъ, формулировать положительный тезисъ поддающійся послѣдовательному улучшенію и провѣркѣ. И я прибавляю еще, что если нѣкоторыми учеными принимается безъ обсуждения гипотеза параллелизма, то это не потому, чтобы она была болѣе научной, но потому, что она болѣе проста, и что философы этого вѣка не взяли на себя труда поискать другую.

И именно потому, что наша теорія позитивна, что она поддается постепенной провѣркѣ и улучшенію, она и не имѣетъ никакого отношенія къ тому, что г-нъ Бело назвалъ „переходомъ къ предѣлу“ нѣкоторыхъ метафизическихъ доктринъ. Предлагаемый мною методъ не заключается въ томъ, чтобы извлечь изъ реальности простое понятіе (тѣмъ болѣе понятіе отрицательное, какъ не-параллелизмъ), чтобы подвергнуть его потомъ діалектической обработкѣ. Этотъ методъ, напротивъ, требуетъ непрерывнаго соприкосновенія съ реальностью. Онъ состоитъ въ томъ, чтобы слѣдовать за реальнымъ во всѣхъ его изгибахъ. Онъ требуетъ, чтобы наши способности наблюденія простирались до возможности переходить по временамъ за предѣлы самихъ себя (какъ напр., чтобы схватить на порогѣ безсознательнаго это „чистое воспріятіе“ или „чистое воспоминаніе“, которыя очень далеки отъ того, чтобы быть, какъ это полагаетъ г-нъ Бело, простыми построеніями разума). Онъ создается изъ постепенныхъ исправленій, ретушей, дополненій. Онъ стремится къ тому, чтобы создать метафизику, которая была бы столь же достовѣрной и общепризнанной наукой, какъ и другія науки. Онъ долженъ такъ близко подойти къ проникновенію мысли въ жизнь, чтобы значеніе жизни показалось яснымъ и неоспоримымъ для всѣхъ умовъ.

Меня просятъ сказать сейчасъ-же, каково это значеніе жизни. Ожидаютъ формулы. Удивляются, не имѣя передъ собою тезиса. Но какъ могъ бы я формулировать сейчасъ окончательное заключеніе, если предлагаемый мною методъ требуетъ того, чтобы къ идеямъ подходили постепенно, длиннымъ и труднымъ путемъ фактовъ? Вы желаете всегда, чтобы мы дѣйствовали какъ математики, помощью развитія а priori простаго понятія. Все, что я могу сдѣлать, это резюмировать вамъ въ нѣсколькихъ словахъ временныя заключенія, къ которымъ привели меня мои изысканія. Они слишкомъ неопредѣленны, чтобы научить васъ чему нибудь вполне новому. И отдѣленные отъ связанныхъ съ ними доводовъ и фактовъ, они будутъ безсильны привлечь къ себѣ тѣхъ, которые иначе понимаютъ жизнь.

Я скажу вамъ, такимъ образомъ, что я не могу разсматривать общую эволюцію и жизненный прогрессъ въ цѣломъ организованнаго міра, соотношеніе между жизненными функціями и подчиненіе ихъ одни другимъ у одного и того же живого существа, отношенія, которыя психологія вмѣстѣ съ фізіологіей должны повидимому установить между мозговой дѣятельностью человѣка и его мышленіемъ, не приходя къ тому заключенію, что жизнь есть огромное усиліе со стороны мысли, чтобы получить отъ матеріи что то, чего матерія не желала бы ей дать. Матерія инертна, она есть обиталище необходимости, она дѣйствуетъ механически. Кажется, что мысль ищетъ того, чтобы воспользоваться этимъ предрасположеніемъ матеріи къ механизации, чтобы утилизировать его для дѣйствій, и обратить въ случайныя движенія въ пространствѣ и въ непредвидимыя событія во времени всю творческую энергію, которую она несетъ въ себѣ,—по крайней мѣрѣ, все, что есть въ этой энергіи такого, что можетъ быть обращено во внѣ и что можетъ быть разыграно. Со знаніемъ дѣла и съ великимъ трудомъ она накапливаетъ усложненія на усложненія, чтобы создать свободу изъ необходимости, чтобы создать себѣ матерію столь нѣжную, столь подвижную, что свобода можетъ наконецъ удерживаться въ равновѣсіи на самой этой подвижности въ силу истиннаго физическаго парадокса и благодаря усилію, которое не можетъ длиться

долгое время. Но она попадаетъ въ западню. Вихрь, на который она опустилась, захватываетъ ее и увлекаетъ. Она становится плѣнницей механизмовъ, ею заведенныхъ. Автоматизмъ овладѣваетъ ею и, въ силу неизбежнаго забвенія намѣченной цѣли, жизнь, которая должна быть не болѣе какъ средствомъ въ виду высшей цѣли, тратится цѣликомъ на усиліе, чтобы только сохранить самое себя. Начиная съ самыхъ низшихъ изъ организованныхъ существъ до высшихъ позвоночныхъ, являющихся тотчасъ передъ человѣкомъ, передъ нами совершается попытка, всегда неудавшаяся, всегда снова возобновляемая съ все болѣе и болѣе умудреннымъ искусствомъ. Только человѣкъ добился побѣды—и то съ трудомъ, и съ такимъ несовершенствомъ, что достаточно ему одного момента ослабленія или невниманія, чтобы автоматизмъ слова его захватилъ. Но все же онъ восторжествовалъ, благодаря тому чудесному орудію, каковымъ является человѣческій мозгъ. Превосходство этого орудія, мнѣ кажется, цѣликомъ зависитъ отъ предоставленнаго ему, такъ сказать, безграничнаго пространства въ построеніи механизмовъ, которые должны наносить удары другимъ механизмамъ. Онъ формируетъ—не разъ навсегда, но въ непрерывномъ процессѣ—двигательныя привычки, дѣятельность которыхъ онъ предоставляетъ потомъ въ вѣдѣніе низшихъ центровъ. Способность животнаго усваивать двигательныя привычки ограничена. Мозгъ же человѣка даруетъ ему возможность научиться безконечному числу „спортовъ“. Это прежде всего органъ спорта, и съ этой точки зрѣнія можно было бы опредѣлить человѣка, какъ „животное, занимающееся спортомъ“. Первымъ изъ всѣхъ видовъ спорта является языкъ,—функция, захватывающая столь обширную область въ мозгу человѣка. Языкъ сдѣлался орудіемъ освобожденія по преимуществу, вопреки автоматизму, который онъ налагаетъ затѣмъ на мышленіе. Въ общемъ превосходство нашего мозга заключается въ томъ, что онъ даетъ намъ силу для освобожденія отъ тѣлеснаго автоматизма, позволяя намъ непрерывно создавать новыя привычки, которыя должны поглощать другія или держать ихъ подъ страхомъ. Въ этомъ смыслѣ въ мозгу не найдется ничего, что соотвѣтствовало бы въ

собственномъ смыслѣ слова операціи мышленія, и все же именно человѣческій мозгъ сдѣлалъ возможнымъ человѣческую мысль. Безъ него высшія способности мысли не могли бы направиться къ матеріи безъ того, чтобы не быть захваченными автоматизмомъ и не затеряться въ безсознательномъ.

Что еще могу я вамъ сказать? И какъ на этой, столь еще неопредѣленной, философіи жизни могъ бы я построить точную и законченную мораль, которую вы повидимому отъ меня требуете? Я могу только сказать, что нормальное отправленіе человѣческой дѣятельности будетъ опредѣляться все лучше и лучше путемъ углубленія самой жизни. Съ своей стороны, я всегда и повсюду вижу въ развитіи этой дѣятельности проявленіе двойного направленія. Въ то время, какъ мысль проникаетъ въ жизнь и сосредоточивается на дѣйствіи (которое кажется даже самымъ предметомъ жизни) она лучше сознаетъ свою собственную природу, а, слѣдовательно, и свою независимость относительно матеріи. Привязанность и оторванность—вотъ два полюса, между которыми колеблется моральность. Вы спрашиваете меня, на которомъ она должна остановиться. Я не вижу, почему должна она остановиться. Если не, привязываясь къ жизни, то усилю не достаетъ интенсивности. Если не отрывается отъ нея, хотя бы слегка и мысленно,—усилю не достаетъ направленія. Нужно имѣть точку опоры въ первомъ, чтобы имѣть силу дѣйствовать, и во второмъ, чтобы освободиться отъ предразсудковъ момента и знать, что слѣдуетъ дѣлать. Но не слѣдуетъ идти ни только въ одномъ первомъ, ни только во второмъ направленіи. Я возвращаюсь къ идеѣ, которая была лейтъ-мотивомъ всей моей реплики. Не является ни интереснымъ, ни поучительнымъ, ни согласнымъ съ истиной противоположеніе однихъ понятій другимъ, изъ которыхъ каждое отчасти прилагается къ реальному, ибо оно по необходимости было изъ него извлечено. Философія должна скорѣе дозировать ихъ смѣсь и, если возможно, создавать высшія понятія, въ которыхъ поглощаются прежнія противоположности.

Будемъ-же работать для того, чтобы приблизиться къ опыту, насколько только это намъ возможно. Примемъ на-

ку въ ея теперешней сложности и, имѣя матеріаломъ эту новую науку, возобновимъ усиліе, аналогичное тому, къ которому дѣлали попытки древніе метафизики, опираясь на науку болѣе простую. Нужно порвать съ математическими рамками, нужно считаться съ науками біологическими, психологическими, соціологическими, и на этомъ широкомъ базисѣ построить метафизику, способную подниматься все выше и выше путемъ непрерывнаго, послѣдовательнаго, организованнаго усилія всѣхъ философовъ, соединенныхъ одинаковымъ уваженіемъ къ опыту.

Бело. Я не считаю нужнымъ, несмотря на любезное приглашеніе г-на Бергсона, возвращаться къ подробностямъ моей аргументаціи, главная заслуга которой заключается въ томъ, что она вызвала столь блестящее изложеніе. Если осталось безъ отвѣта какое-нибудь затрудненіе изъ числа мною указанныхъ,—какъ я и думаю—то къ нему возвратится съ большей пользой какой-нибудь другой членъ Общества.

Но есть два пункта въ отвѣтѣ г-на Бергсона, на которыхъ я считаю полезнымъ остановить его вниманіе.

Нѣсколько разъ г-нъ Бергсонъ приписывалъ мнѣ ту мысль, что метафизика, какъ я ее понимаю, оперируетъ рѣзкими противоположеніями да и нѣтъ, сталкиваетъ другъ съ другомъ абсолюты, какъ-бы взятые готовыми изъ разума и перенесенные въ вещи. Никакая мысль не могла-бы быть болѣе противоположной моей. Я также вполне убѣжденъ,—и я указалъ на это,—что метафизика опирается прежде всего на опытъ, и что она не имѣетъ ни другихъ источниковъ, ни другихъ функцій, кромѣ опредѣленія различныхъ направленій, которыя анализъ можетъ схватить въ относителномъ. Я указалъ, что метафизическіе абсолюты являются только предѣльными членами каждаго изъ процессовъ, допускаемыхъ этимъ анализомъ, и въ сущности обозначаютъ только различные и часто обратные методы, которыхъ можно держаться при объясненіи реального.

Но тогда я спрашиваю, дѣйствительно-ли существуетъ убѣжденіе, что метафизика имѣетъ совершенно релятивистическое значеніе, что съ нею не выходятъ изъ относительнаго? И въ чемъ-же именно я считалъ возможнымъ

возражать г-ну Бергсону? Какъ-разъ въ томъ, что онъ не удержался въ относительномъ, перейдя къ передѣлу, и такіе предѣльные члены, какъ чистое Воспоминаніе и чистое Воспріятіе, разсматривалъ, какъ данныя реальности, между которыми онъ затѣмъ и установилъ радикальныя антитезы. Я прошу его извинить меня, но мнѣ кажется, что въ данномъ случаѣ именно я призываю его къ тому методу, который онъ такъ прекрасно и такъ тонко опредѣлилъ.

Въ томъ-же смыслѣ я просилъ-бы его понять мои заключительныя замѣчанія относительно значенія жизни, мои антитезы между мыслью и дѣйствіемъ. Я ничуть не забываю, что въ дѣйствительности все смѣшивается, что ничего нельзя исключать, что было-бы бессмыслицей жертвовать жизнью мысли или мыслью жизни. Однако если позволительно различать нѣсколько возможныхъ направленій въ дѣйствіи и высказаться относительно „значенія жизни“, какъ этого г-нъ Бергсонъ проситъ и ожидаетъ, то нужно согласиться съ тѣмъ, чтобы разсматривать одно изъ противоположныхъ направленій, какъ главное, и другое, какъ простое практическое условіе перваго, или, по крайней мѣрѣ, указать, съ какой точки зрѣнія каждое имѣетъ цѣнность, и стоя на какой точкѣ зрѣнія, на-примѣръ, долженъ работать индивидуумъ, чтобы, изолироваться и выдѣлиться отъ другихъ или чтобы напротивъ, соціально слиться и ассимилироваться, не оставаясь при этомъ въ абстрактномъ. Во всякомъ случаѣ, если говорить о значеніи жизни, то невозможно оставить невыясненными, или даже поставить на одинъ уровень, какъ равныя и равноцѣнныя, различныя противоположныя другъ другу толкованія жизни. Вотъ почему я спрашивалъ и спрашиваю еще разъ, что извлекаетъ г-нъ Бергсонъ въ этомъ смыслѣ изъ отрицанія параллелизма и какъ это отрицаніе можетъ опредѣлить его взглядъ на значеніе жизни.

Это приводитъ меня ко второму пункту, на который я желалъ-бы указать. Это то, что въ столь замѣчательныхъ обобщеніяхъ г-на Бергсона, развернутыхъ передъ нами въ заключеніе, и очарованіе которыхъ я къ сожалѣнію немного нарушилъ, вопросъ о параллелизмѣ остался абсолютно неза-

тронутымъ. Мнѣ кажется, что большая часть его столь остроумныхъ указаній на привязанность и на оторванность могли-бы быть одинаково приняты въ современной психологіи и въ современной морали, допустить-ли параллелизмъ, или его отбросить; намъ не кажется установленнымъ,—какъ можно было на это надѣяться,—что мы имѣемъ здѣсь дѣло со слѣдствіями, строго выведенными изъ отрицанія параллелизма. Если это такъ, то вся послѣдняя часть моихъ возраженій поистинѣ осталась безъ отвѣта.

Бергсонъ. Я не могу принять различія, устанавливаемого г-номъ Бело между „относительнымъ“, даннымъ въ опытѣ, и тѣмъ „абсолютнымъ“ (слѣдовательно, по необходимости, проблематичнымъ), къ которому должна придти метафизика, переходя „къ предѣлу“ того, что даетъ опытъ. Въ философіи, которую я только-что набросалъ въ главныхъ чертахъ, ни опытъ не является такимъ относительнымъ, ни абсолютное столь проблематичнымъ и столь трансцендентнымъ, какъ это бываетъ въ большей части метафизикъ. Я не могу думать о томъ, чтобы начертать здѣсь историческое развитіе метафизики, какъ я себѣ его представляю. Достаточно сказать, что метафизика, какъ мнѣ кажется, и въ древности, и въ новѣйшія времена, и у Платона, и у Декарта, образцомъ и опорой принимала науки математическія. Для этого у нея было полное основаніе, такъ какъ математика до кануна XIX вѣка была единственной прочно поставленной наукой. Но изъ этой тѣсной связи между метафизикой и математикой вытекало то, что реальности, полагаемая метафизикой, имѣли окоченѣлыя формы, не совмѣстимыя съ текучестью опыта: отсюда идея „относительности“ опыта, относительности, которая очевидно имѣла смыслъ только при сопоставленіи съ переходящимъ за нее абсолютнымъ. Я не говорю, что нѣтъ абсолютнаго, выходящаго за предѣлы реальности, данной въ обыкновенномъ опытѣ. Но я говорю, что мы можемъ и должны къ нему придти безъ потрясенія, не покидая нити опыта и поднимаясь къ такимъ его областямъ, гдѣ интуиція требуетъ все большаго и большаго усилія.

Наконецъ, я повторяю, что дѣйствительно не смогу-бы ничего извлечь изъ „отрицанія параллелизма“, но что на-

мѣреніе мое заключалось въ томъ, чтобы опредѣлить положительнымъ, а не отрицательнымъ образомъ, отношеніе между тѣломъ и духомъ. Въ трудѣ, о которомъ г-нъ Бело со- благоволить упомянуть, я показалъ, какъ одно и то же воспо- минаніе переходитъ по возрастающимъ степенямъ на- пряженія, пока не включится въ „двигательную схему“, вырисовываемую мозгомъ. Можно-ли отъ этой психо-физио- логиі перейти къ морали? Очевидно нѣтъ. Но она даетъ намъ направленіе для извѣстнаго метафизическаго усилія. Показывая намъ точное значеніе ограниченія, которое жизнь создаетъ для мысли, она указываетъ, она будетъ намъ указывать все лучше и лучше, тѣ пункты, на которыхъ мы должны сосредоточить наше усиліе, чтобы освободиться отъ этого ограниченія. Я сказалъ, и мнѣ остается только повторить: реальный прогрессъ не совершается путемъ оперирования готовыми понятіями, но путемъ усилія, рас- ширяющаго интеллектъ. Къ этому усилію я и призываю. Что-же касается окончательнаго результата, къ которому приведетъ это усиліе, то я не способенъ его предвидѣть. Я ограничился тѣмъ, что въ неопредѣленныхъ терминахъ вы- разилъ то, что я могу замѣчать только неопредѣленно.

Галеви проситъ дать нѣсколько поясненій, относя- щихся къ понятію напряженія, только что введенному г-номъ Бергсономъ въ пренія. „Лѣтъ двѣнадцать тому назадъ мы читали, перечитывали и немного знали наизусть книгу „Непосредственные данныя сознанія“, <sup>1)</sup> начинавшуюся кри- тикой понятія психологической интенсивности. Понятіе ин- тенсивности, говорилось тамъ, есть понятіе ложное, потому что оно включаетъ въ себѣ, въ состояніи смѣшенія, два противорѣчивыхъ понятія, качества и количества. Въ за- ключеніи-же второго труда г-на Бергсона, „Матерія и Па- мять“, понятія напряженія (tension) и протяженія (extension) даны, какъ разрѣшающія загадку вселенной именно потому, что они составляютъ синтезъ понятій чистаго качества и чистаго количества, непротяженнаго и протяженнаго. Я спрашиваю, согласимы-ли оба положенія, не приводитъ-ли

---

1) А. Бергсонъ. Собр. сочин. т. 2-ой.

философія Бергсона, въ зависимости отъ того, какое изъ этихъ положеній принять, то къ подчеркиванью, то къ сглаживанью дуализма противоположныхъ членовъ; выражаясь точнѣе, я спрашиваю, въ какомъ смыслѣ критика которая имѣла значеніе, когда она направлялась противъ понятія интенсивности, теряетъ его, направляясь противъ понятій напряженія и протяженія.

Бергсонъ. Въ „Опытѣ о непосредственныхъ данныхъ сознанія“ я критиковалъ понятіе интенсивности въ психологіи не какъ ложное, но какъ требующее интерпретаціи. Никто не можетъ отрицать, что психологическое состояніе имѣетъ интенсивность. Вопросъ заключается только въ томъ, будетъ ли эта интенсивность величиной. Я пытался установить, что слово „интенсивность“ имѣетъ два различныхъ смысла, смотря по тому, прилагается-ли оно къ простымъ психологическимъ фактамъ, или къ состояніямъ сложнымъ. Интенсивность простого состоянія есть извѣстное качество или нюансъ этого состоянія, увѣдомляющій насъ, путемъ ассоціаціи идей и благодаря приобретенному нами опыту, о приблизительной величинѣ внѣшней причины, породившей это состояніе. Интенсивность-же сложнаго состоянія есть нѣчто иное. Это чувствуемая множественность элементовъ, входящихъ въ составъ этого состоянія, или вѣрнѣе множественность элементовъ, на которые можно его разложить. По правдѣ говоря, эта множественность существуетъ въ самомъ состояніи сознанія только какъ возможность: реализація ея заканчивается нашимъ размышленіемъ, путемъ анализа и разчлененія. Этотъ второй смыслъ слова я и подразумеваю, когда приписываю сознанію степени напряженія.

Галевъ замѣчаетъ, что даже касаясь второго рода интенсивности, г-нъ Бергсонъ долженъ былъ употребить количественныя выраженія: онъ говорилъ о степени, о множественности. Не остается-ли въ силѣ первое затрудненіе?

Бергсонъ. Нельзя выражаться иначе, какъ словами, и тѣ, которыя языкъ даетъ въ наше распоряженіе, всегда будутъ подсказывать слишкомъ геометрическій образъ. Я долженъ былъ говорить о „степеняхъ напряженія“, но я не

думаю, чтобы это были степени измѣримыя, или, вообще, величины. Будемъ говорить, если вы хотите, послѣдовательные оттѣнки, „мѣняющееся богатство окраски“.

Галевн признаетъ обоснованность этихъ замѣчаній. Но тогда нужно сказать, что между матеріей и духомъ существуетъ нечувствительный переходъ. А между тѣмъ г-нъ Бергсонъ въ своемъ трудѣ „Матерія и Память“ постоянно настаиваетъ, что между матеріей и духомъ существуетъ различіе по природѣ, а не въ степени. Это было-бы понятно только тогда, если-бы „Опытъ о непосредственныхъ данныхъ сознанія“ установилъ радикальный дуализмъ между качественнымъ и количественнымъ. Но изъ заключительныхъ замѣчаній о понятіяхъ напряженія, и протяженія, представленныхъ въ книгѣ „Матерія и Память“, нельзя-ли естественнымъ образомъ заключить, что чистая матерія и чистый духъ не являются дѣйствующими другъ на друга непревратимыми реальностями, но абстракціями, логическими предѣлами?

Бергсонъ. Я не думаю, чтобы они были просто предѣлами логики, потому что я пытался установить, что мы непосредственно экспериментирuemъ надъ тѣмъ и другимъ. Но совершенно вѣрно (и опытъ доказываетъ намъ это каждый моментъ), что два эти члена не такъ радикально различаются между собой, чтобы между ними не могло происходить соединенія. Если духъ можетъ проникать въ матерію, то это именно потому, что онъ способенъ приближаться къ ней путемъ постепеннаго пониженія и прокрадываться въ нее, ей подражая.

Леруа. Г-нъ Бергсонъ отвѣтилъ уже на то, что я хотѣлъ у него спросить. Поэтому я останавлиюсь только на одномъ пунктѣ, относительно котораго я не буду формулировать возраженій, но попрошу только одного слова объясненія. Г-нъ Бергсонъ говорилъ о „значеніи жизни“; онъ говорилъ объ изслѣдованіяхъ, въ собственномъ смыслѣ метафизическихъ, какъ объ изслѣдованіяхъ, „переходящихъ за предѣлы жизни“; сейчасъ онъ говорилъ, что незачѣмъ искать, который изъ двухъ членовъ, жизнь или мысль, долженъ быть подчиненъ другому. Значитъ ли поэтому понять мысль Бергсона, если подразумѣвать подъ ж и з н ь ю жизнь

\*

повседневную, жизнь практическую, жизнь тѣлесную? Если да, то остается еще изслѣдовать жизнь внутреннюю, жизнь духовную. Метафизика не должна быть независимой отъ жизни, выходящей за предѣлы жизни, ибо ее можно опредѣлить какъ проникновеніе жизни въ знаніе. Въ первой фазѣ метафизики, дѣйствительно стараются освободиться отъ ограниченій, которыя приносятъ жизни практика обыденной жизни, и въ этомъ есть нѣчто аналогичное *via purgativa* мистиковъ. Но за этой первой фазой слѣдуетъ вторая: за *via purgativa* существуетъ *via illuminativa*; методъ, о которомъ говоритъ г-нъ Бергсонъ, будетъ, такимъ образомъ, только подготовкой. Если понимать слово жизнь въ значеніи глубокой духовной жизни, то мысль можетъ и должна переживаться; переживать мысль значитъ искать между всѣми сформировавшимися идеями тѣ, которыя можно полностью примѣнять на практикѣ, и въ которыя можно вѣрить, не имѣя ограниченія ни въ моментахъ, ни въ обстоятельствахъ.

Бергсонъ. Я долженъ былъ, дѣйствительно опредѣлить яснѣе, въ какомъ смыслѣ я беру слово „жизнь“ во всей этой дискусіи. Дѣло идетъ о жизни психологической. Я сейчасъ объяснилъ, какъ мысль направляется во-внѣ, въ дѣйствіе; я сказалъ также, какъ мысль, такимъ образомъ, себя ограничиваетъ и всего чаще падаетъ въ безсознательное. Эта жизнь является поэтому только ограниченіемъ жизни болѣе широкой и высшей, т.-е. жизни самой мысли. Предлагаемый мною методъ для метафизики и для теоріи познанія основанъ цѣлкомъ на этомъ констатированіи ограниченія духовной жизни жизнью органической. Изучая эмпирически исполнѣ специальный родъ ограниченія, которое приносятъ жизнь тѣла жизни духа, мы и сможемъ опредѣлить, въ какомъ именно направленіи намъ надлежитъ дѣлать усиліе, чтобы овладѣть самими собою. Въ этомъ смыслѣ метафизическая истина, если хотите, трансцендентна относительно жизни органической и имманентна относительно жизни духовной. Но безъ потрясенія переходить отъ одной жизни къ другой.

Я сказалъ сейчасъ, что мы имѣемъ притяжаніе продолжать работу картезианцевъ, но считаясь съ большей

сложностью теперешней науки. Я прибавлю теперь, что этотъ методъ претендуетъ на то, чтобы избѣжать возраженій, формулированныхъ Кантомъ противъ метафизики вообще, и что главной его задачей является устраненіе противоположенія, установленнаго Кантомъ между метафизикой и наукой, считаясь съ совершенно новыми условіями, въ которыхъ наука работаетъ. Если читать внимательно „Критику чистаго разума“, то можно замѣтить, что предметомъ критики Канта былъ не разумъ вообще, но разумъ, приспособленный къ привычкамъ и требованіямъ картезіанскаго механизма или ньютоновской физики. Если существуетъ единая наука о природѣ (и Кантъ повидимому въ этомъ не сомнѣвался), если всѣ явленія и всѣ предметы расположены въ одномъ и томъ-же планѣ, давая единый непрерывный опытъ, цѣликомъ имѣющій мѣсто на поверхности (таковою несомнѣнно и является гипотеза „Критики чистаго разума“), тогда, значить, существуетъ въ мірѣ только одинъ родъ причинности, всякая причинность въ явленіи предполагается строго опредѣленною, и свободу приходится искать внѣ опыта. Но если существуетъ не одна наука, но науки о природѣ, не одинъ научный детерминизмъ, но научные детерминизмы, не обладающіе равной точностью, тогда нужно признать различные планы опыта; опытъ не является только на поверхности, но простирается также и въ глубину; словомъ, путемъ нечувствительныхъ переходовъ, безъ рѣзкаго потрясенія, не покидая почву фактовъ, можно перейти отъ физической необходимости къ нравственной свободѣ. Реальности „метафизическаго“ порядка, какъ свобода, не будутъ уже выходить за предѣлы міра „явленій“. Онѣ будутъ внутри жизни явленій, хотя и ограничены этой жизнью. Вотъ почему я говорилъ, что наше познаніе ограничено, но не относительно. Будучи относительнымъ, оно было бы цѣликомъ поражено метафизическимъ безсиліемъ, оно оставляло-бы насъ внѣ „вещи въ себѣ“, т.-е. внѣ реальности. Какъ ограниченное, оно, напротивъ, поддерживаетъ насъ въ реальномъ, хотя естественнымъ путемъ оно показываетъ намъ только часть реальнаго. Намъ уже надлежитъ сдѣлать усиліе, чтобы его дополнить.

Вы говорили о мистикахъ. Если понимать подъ мисти-

цизмомъ (какъ это почти всегда теперь дѣлають) реакцію противъ положительной науки, то доктрина, защищаемая мною, съ одного конца до другого является протестомъ противъ мистицизма, ибо она ставитъ своей задачей возстановить мостъ (сломанный со времени Канта) между метафизикой и наукой. Это расхожденіе между наукой и метафизикой является великимъ зломъ, отъ котораго страдаетъ наша философія. Мы любимъ говорить, что вина тутъ на сторонѣ ученыхъ. Спросимъ также себя, нѣтъ-ли чего-нибудь, въ чемъ можно бы было упрекнуть и насъ? Спросимъ себя, не является-ли наша метафизика несогласуемой съ наукой просто потому, что она запаздываетъ по сравненію съ наукой, что она оказывается метафизикой науки окоченѣлой съ чисто математическими рамками,—словомъ, науки, процвѣтавшей отъ Декарта до Канта, тогда какъ наука XIX вѣка, повидимому, стремится къ болѣе гибкимъ формамъ и не всегда беретъ за образецъ математику.

Если-же подъ мистицизмомъ понимать извѣстный призывъ къ внутренней и глубокой жизни, то вся философія будетъ мистической.

Леруа. Я совершенно согласенъ съ вами относительно смысла слова мистицизмъ и смысла слова жизнь. Вы говорите, что вся философія мистична. По праву, конечно; фактически-же — нѣтъ; и каждой философіи, полагающей въ основу внутреннюю жизнь, противопоставляется другая. Я возвращаюсь къ тому-же вопросу: мысль, какъ противоположность практической и повседневной жизни, не является чѣмъ-то чисто интеллектуальнымъ. Когда интеллектуальная мысль подчиняется мысли переживаемой, тогда я употребляю терминъ мистицизмъ.

Бергсонъ. Это тоже интеллектуализмъ, по моему мнѣнію. Но вы совершенно правы, различая между мыслью, черпающей изъ ея глубокихъ источниковъ, и мыслью, развернутой на поверхности, готовой заоченѣть въ формулахъ. Автоматизмъ насъ подстерегаетъ. Это справедливо относительно жизни интеллектуальной, равно какъ жизни физической и моральной.

Леруа. Тогда мысль смѣшивается съ общей дѣятельностью духа.

Бергсонъ. Вы правы. и слово интеллектуализмъ можетъ дѣйствительно ввести въ заблужденіе. Скажемъ, если вы хотите, что существуетъ два рода интеллектуализма: интеллектуализмъ истинный, который переживаетъ свои идеи, и ложный, который подвижныя идеи превращаетъ въ неподвижныя, затвердѣвшія понятія, чтобы пользоваться ими, какъ жетонами. Изъ этихъ двухъ интеллектуализмовъ второй всегда былъ врагомъ перваго, какъ буква является врагомъ духа.

Веберъ. Я желалъ-бы попросить опредѣленія психофизическаго параллелизма: я предполагаю рядъ состояній сознанія—А, А', А'' и т. д. и соотвѣтствующія состоянія мозга или тѣла: В, В', В'' и т. д.; возникаетъ два вопроса: 1) если состоянія А, А', А'' и т. д. различаются между собою, то будетъ-ли параллелизмъ, если и В, В', В'' и т. д. также различны; 2) когда одно изъ состояній, напр. А', стремится къ А'', то будетъ параллелизмъ, если В' стремится къ В.''—Отрицаніе параллелизма будетъ-ли отрицательнымъ отвѣтомъ на оба эти вопросы?

Бергсонъ. На оба. Гипотеза параллелизма—гипотеза не научная, но метафизическая, восходящая къ Лейбницу и Спинозѣ. Обиходный смыслъ вѣрить въ соотвѣтствіе, т. е. въ извѣстное отношеніе между мозгомъ и мыслью, но не въ строгій параллелизмъ. Въ этомъ смыслѣ описаніе *probandi* скорѣе лежитъ на партизанахъ этого параллелизма.

Веберъ. Я спрашиваю себя, не придерживается-ли большинство научныхъ умовъ этой идеи параллелизма?

Бергсонъ. По моему это просто переводъ на языкъ, присущій одной изъ частныхъ наукъ, физиологіи, того универсальнаго механизма, въ который вѣрили продолжатели Декарта.

Веберъ. Въ такомъ случаѣ я обращаюсь къ термину: опредѣленное мозговое состояніе. Значить-ли это *sui generis*?

Бергсонъ. Вполнѣ. Вы можете сказать данное.

Веберъ. Можно было-бы опредѣлить параллелизмъ, сказавши, что каждой новой мысли соотвѣтствуетъ новое состояніе тѣла; такое опредѣленіе не предполагало-бы воз-

можного повторенія того-же самаго состоянія тѣла, равно какъ и той-же мысли.

Бергсонъ. Если мы возьмемъ данное мозговое состояніе, то я думаю, что къ нему могутъ привиться нѣсколько психологическихъ состояній.

Веберъ. Не приходится-ли всегда упрекать несовершенство нашихъ средствъ физическаго контроля? Мы опредѣляемъ психическія состоянія нашимъ сознаніемъ, но физическое состояніе не заключаетъ-ли неистощимой безконечности, какой нѣтъ въ психическомъ состояніи?

Бергсонъ. Я всегда возвращаюсь къ той идеѣ, что положеніе параллелизма есть чисто метафизическая гипотеза на которой, по всей справедливости, лежитъ *onus probandi* и которая будетъ отвергнута *ipso facto*, по крайней мѣрѣ, временно, если будетъ показано, что всѣ извѣстные факты подсказываютъ другую гипотезу.

Бело. Я могу выставить противъ г-на Бергсона въ пользу параллелизма его собственную аргументацію. Онъ очень вѣрно показалъ намъ, что во всѣхъ не-математическихъ наукахъ было трудно получить абсолютную достовѣрность, но что наука вполнѣ довольствовалась растущей вѣроятностью, методомъ приближенности. Я соглашаюсь съ нимъ въ этомъ очень охотно.

Но тогда я отвѣчу ему, въ свою очередь, что онъ не долженъ упрекать положеніе параллелизма за то, что оно не можетъ быть сейчасъ доказано въ малѣйшихъ деталяхъ явленій. Оно будетъ въ правѣ начать съ того, чтобы разсматривать вещи въ ихъ совокупности и постепенно подвигать свои заключенія до гипотезы полного соответствія между физическимъ и моральнымъ, если повсюду, гдѣ ему удастся дѣлать свои изслѣдованія, соответствіе будетъ являться, какъ бросающійся въ глаза фактъ, а несоответствіе какъ все болѣе и болѣе рѣдкое исключеніе. А это повидимому какъ-разъ и происходитъ. Никогда великія философскія идеи не появляются *ex abrupto*, никогда онѣ не выковываются сразу. То, что называютъ „спинозистскій предразсудокъ“, ничуть не является искусственнымъ изобрѣтеніемъ и созданіемъ *ex nihilo* философскаго размышленія. Это естественное завершеніе и точная форма

идеи, очень древней и родившейся такъ сказать, самопроизвольно изъ разсмотрѣнія выѣшнихъ явленій въ самой грубой формѣ. Почти съ самаго начала какъ родилось размышленіе, и даже въ обиходномъ смыслѣ, самые обыденные факты внушали убѣжденіе, что мысль всегда имѣла тѣлесный субстратъ, какъ они подсказывали обратное убѣжденіе, что органической жизни соответствуетъ сознание. Эта идея въ такой общей формѣ опредѣляется точнѣе по мѣрѣ того, какъ развивается знакомство съ мозгомъ, какъ съ органомъ сознательной жизни. Въ ряду животныхъ мы видимъ, что развитіе мозга соответствуетъ въ общихъ чертахъ развитію умственныхъ отправлениямъ, мы видимъ, что наиболѣе замѣтныя поврежденія мозга сопровождаются очевидными психическими заболѣваніями; мы видимъ, что возбужденіе мозговой дѣятельности или ея упадокъ соответствуютъ психическому возбужденію или упадку. Не ясно-ли, что въ заключеніе этихъ обыденныхъ опытовъ, постоянно подтверждаемыхъ болѣе точными психологическими наблюденіями, гипотеза параллелизма предстанетъ не какъ взглядъ *a priori* какого-нибудь одного систематическаго ума, но какъ выводъ многихъ умовъ, выводъ самый естественный и болѣе другихъ способный координировать факты. Параллелизмъ остается гипотезой, я охотно съ этимъ соглашаюсь, но этого достаточно при настоящемъ состояніи нашихъ знаній, и не для чистыхъ метафизиковъ, но въ глазахъ самихъ многочисленныхъ фізіологовъ и психологовъ гипотеза эта является какъ болѣе всего сообразующаяся съ фактами въ ихъ совокупности, болѣе всѣхъ доступная пониманію, сообразно съ нашимъ опытомъ въ его цѣломъ, гипотеза самая экономическая, съ наибольшимъ приближеніемъ.— Можно-ли спрашивать большаго во имя самого метода приближенія, который защищался? Немного гипотезъ въ наукѣ могутъ вызвать въ свою пользу болѣе внушительную совокупность „сходящихся линій фактовъ“, — совокупность линій яркихъ фактовъ, лучше сходящихся; нѣкоторые изъ этихъ фактовъ столь привычны и столь огромны, что, быть можетъ, это и есть причина того, что въ научной дискуссіи съ ними не считаются. Напротивъ въ деталяхъ мельчайшихъ явленій, — явленій труднѣе всего поддающихся наблюденію и

толкованію,—эту гипотезу трудно установить. Туда-то, и, быть можетъ, только туда, отправляются ея противники за своими доказательствами. При такихъ условіяхъ, мнѣ кажется, что до новаго порядка, тяжесть аргументаціи падаетъ на противниковъ параллелизма.

Бергсонъ. Я думаю, что если г-нъ Бело захочетъ обратиться къ исторіи вопроса, то онъ признаетъ, что идея соотвѣтствія между моральнымъ и физическимъ дѣйствительно идетъ въ глубокую древность, но не идея параллелизма. Кто возражаетъ противъ того, что существуетъ соотвѣтствіе, т.-е., въ сущности, отношеніе между мозгомъ и мыслью? Что касается меня, то посвятилъ-ли бы я нѣсколько лѣтъ на то, чтобы разспросить факты о природѣ этого отношенія, если-бы я сомнѣвался въ его существованіи хотя одно мгновеніе? Но одно дѣло считать, что существуетъ отношеніе, и другое—утверждать, что отношеніе это является отношеніемъ строгаго параллелизма, или другими словами, что признанный толкователь могъ-бы читать въ молекулярныхъ и другихъ движеніяхъ мозговой субстанціи, все, что происходитъ внутри мысли. Я вполне убѣжденъ, что мы никогда не думаемъ безъ извѣстнаго субстрата мозговой дѣятельности; но я считаю, что эта мозговая дѣятельность можетъ быть тождественна для совершенно различныхъ мыслей (хотя—повторяю—не для какихъ-бы то ни было): всѣ эти мысли имѣютъ нѣчто общее, одну и ту-же „двигательную схему“. Отношеніе, такимъ образомъ, будетъ изъ тѣхъ, которыя не могутъ быть опредѣлены *a priori*; оно требуетъ продолжительнаго труда изысканія, который я попробовалъ сдѣлать или, по крайней мѣрѣ, начать. Я прошу, чтобы его продолжали. Но пока не совершили этого труда (и нельзя его пробовать иначе, какъ только на фактахъ все болѣе и болѣе утонченныхъ, сжимая проблему отношенія въ границахъ все болѣе узкихъ), нужно держаться того, что вытекаетъ изъ этихъ болѣе грубыхъ фактовъ, которымъ г-нъ Бело оказываетъ предпочтеніе, и нужно утверждать въ неопредѣленныхъ выраженіяхъ, что существуетъ отношеніе, что существуетъ соотвѣтствіе. Это и дѣлаетъ предусмотрительная наука. Что если наука (или, вѣрнѣе, ученый) выражается такъ, какъ

будто-бы существовалъ параллелизмъ, то это потому, что въ анатомическихъ и фізіологическихъ изслѣдованіяхъ полезно дѣйствовать такъ, какъ будто-бы они должны давать максимумъ результата: въ гипотезѣ-же параллелизма они имѣли-бы результаты наиболѣе блестящіе. Но въ такомъ случаѣ эта гипотеза параллелизма является только возбудителемъ къ изысканію и методологическимъ правиломъ,—правиломъ къ тому-же временнымъ, которое ученые должны будутъ сохранить, пока философы не дадутъ себѣ труда опредѣлить болѣе тонко отношеніе духа къ тѣлу. Ибо это опредѣленіе зависитъ отъ философіи, а не отъ науки. И я повторяю, что гипотеза строгаго параллелизма, какъ выражающая реальность, является гипотезой философской, начинающейся съ того дня, съ котораго повѣрили въ универсальный механизмъ. Это гипотеза спинозистскаго и лейбниціанскаго происхожденія.

Брунсвигъ высказывается о своевременности обсуждения теоріи привычки въ одномъ изъ засѣданій будущаго года.

Кутюра заявляетъ, что онъ разомъ и обманулся въ своихъ ожиданіяхъ, слушая объясненія г-на Бергсона, и нашелъ въ нихъ себѣ поддержку. Онъ думалъ сначала, что дѣло шло объ опытѣ или о рядѣ опытовъ, которые могли-бы разрѣшить вопросъ метафизики; и это напомнило ему извѣстную „спиритуалистическую“ школу, которая также надѣется основать позитивную метафизiku опытнымъ путемъ (вертящіеся столы, фотографіи спектровъ и т. д.). Онъ признаетъ, что это нето. Г-нъ Бергсонъ предлагаетъ не экспериментальный методъ, но „операционное руководство“; это просто толкованіе фактовъ, какъ цѣлаго, словомъ,—теорія. Но почему онъ хочетъ придать этой теоріи научный характеръ? Развѣ онъ позабылъ, что одинъ изъ его учениковъ на послѣднемъ засѣданіи общества, отказалъ въ какой-бы то ни было объективной цѣнности научнымъ теоріямъ и даже научнымъ законамъ и фактамъ? Но если я считаю эту теорію ложной относительно физическихъ фактовъ, я смотрю на нее, напротивъ, какъ на истинную по отношенію къ фактамъ психологическимъ. Въ психологіи, дѣйствительно, можно сказать, что наблюденіе создаетъ факты: не дос-

таточно-ли пожелать констатировать психологическій фактъ, только подумать о немъ, чтобы имѣть его на самомъ дѣлѣ? Какъ замѣтилъ г-нъ Бело, волшебникъ слова въ совершенствѣ выражающій невыразимое, можетъ внушить намъ неизвѣстныя намъ состоянія сознанія и заставить насъ видѣть буквально все, что онъ хочетъ. Но факты психологическіе—не научные факты, такъ какъ помимо того, кто ихъ испытываетъ, они никѣмъ не могутъ быть констатированы и контролированы; можно констатировать только факты фізіологическіе, изъ которыхъ заключаютъ къ психологическимъ фактамъ только путемъ болѣе или менѣе законныхъ выводовъ, всегда содержащихъ долю теоріи и толкованія. Что-же касается психо-фізическаго параллелизма, то я считаю, какъ и г-нъ Бергсонъ, что это теорія метафизическая, и что опытъ не можетъ ее ни провѣрить, ни опровергнуть; но то-же самое относится и къ теоріи не-параллелизма. Это нисколько не противорѣчитъ тому, что г-нъ Бело сказалъ объ эмпирическихъ доказательствахъ параллелизма; ибо параллелизмъ становится метафизической теоріей только при обобщеніи и при возведеніи въ абсолютное отношеній, приблизительно улавливаемыхъ повседневнымъ опытомъ. Въ сущности, метафизика г-на Бергсона является, какъ и всѣ другія, толкованіемъ фактовъ опыта; но она не болѣе другой можетъ имѣть притязаніе на научный и позитивный характеръ; и я не вижу, что можетъ она выиграть отъ этого.

Бергсонъ. Прежде всего я немного удивленъ, услышавши, что не существуетъ данныхъ психологическихъ фактовъ, и что психологъ создаетъ за-ново тѣ факты, которые онъ изучаетъ. Это значить зайти слишкомъ далеко и осудить цѣликомъ науку, которая въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ столь блестяще себя показала. Конечно, я самъ говорилъ о подвижности и текучести глубокихъ психологическихъ состояній, объ испытываемой нами трудности, когда мы раздѣляемъ ихъ одни отъ другихъ и опредѣляемъ съ точностью ихъ контуры. Но нужно-ли напоминать, что при изученіи психо-фізическаго отношенія я занимаюсь не этими глубокими психологическими состояніями? Я сейчасъ объяснялъ, что мнѣ удалось сконцентрировать все усиліе моего

изысканія на „воспоминаніи звука словъ“ и на явленіяхъ чувственной афазіи. Кто будетъ утверждать, что такіе факты какимъ-нибудь способомъ создаются или измѣняются психологомъ, который ихъ изучаетъ?

Мнѣ напоминаютъ, что одинъ философъ въ продолженіи всего нашего послѣдняго засѣданія оспаривалъ существованіе фактовъ, объективно выдѣленныхъ въ природѣ вообще. Быть-можетъ, я не пойду такъ далеко по этому пути, какъ г-нъ Леруа. Но все-же я готовъ согласиться съ нимъ, что, по крайней мѣрѣ, въ неорганическомъ мірѣ и повсюду, гдѣ математика кладетъ свой отпечатокъ на факты, наши законы по стольку-же опредѣляютъ факты, по скольку факты опредѣляютъ наши законы. Существуетъ взаимодѣйствіе между закономъ и фактомъ: законъ вліяетъ на фактъ, и фактъ вліяетъ на законъ. Тѣла падали до Галилея, и это-то и подало Галилею мысль искать законъ паденія тѣлъ. Но именно законъ паденія тѣлъ позволилъ окончательно изолировать явленіе паденія тѣлъ и даже, вообще, опредѣлить „физическій фактъ“ и возвести его въ независимую сущность. Въ этомъ смыслѣ, физическій фактъ является въ значительной части нашимъ твореніемъ. Но по мѣрѣ того, какъ мы поднимаемся отъ неорганическаго къ организованному, передъ нами являются факты, болѣе объективные,—факты, являющіеся таковыми какъ-бы по требованію самой природы. Живое существо есть почти что замкнутый кругъ, и замкнутый самой природой. Физиологическая функція есть относительно замкнутое цѣлое. Упражненіе этой функціи, въ свою очередь, является фактомъ вполне опредѣленнымъ, вопреки его сложности, или, скорѣе, по причинѣ самой этой сложности, въ которой обнаруживается столько единства. И когда мы доходимъ, наконецъ, до элементарнаго психологическаго факта, соприкасающагося съ фактомъ мозговымъ, это оказывается чѣмъ-то опредѣленнымъ, изолированнымъ, вполне различающимся въ сознаніи.

Наконецъ, мнѣ указываютъ на то, что я говорилъ объ „опытѣ“, а даю теорію. Всякое общее утвержденіе, какъ-бы близко ни было оно къ отдѣльнымъ фактамъ, по необходимости есть теорія. Но здѣсь также слѣдуетъ сдѣлать различія. Множественныя и вполне готовыя доктрины, которыя мы

желали-бы растворить въ единой и развивающейся философіи, чаще всего исходятъ изъ двухъ-трехъ очень крупныхъ фактовъ, изъ которыхъ тотчасъ-же извлекается общее понятіе, которое эти доктрины и рассматриваютъ уже диалектически. Отсюда являются слишкомъ окончательныя концепціи, каждая изъ которыхъ можетъ служить этикеткой для какой-нибудь школы. Мы ищемъ, напротивъ, понятій, которыя постоянно формируются по фактамъ, понятій текучихъ, какъ сама реальность. Если хотите, это теорія, но она будетъ, по крайней мѣрѣ, насыщена опытомъ.

Кутюра. Меня удивляетъ, что г-нъ Бергсонъ рассматриваетъ фізіологическій фактъ, какъ лучше отграниченный, чѣмъ фактъ физическій: что можетъ быть лучше определено, чѣмъ затменіе, и, напротивъ, болѣе сложно и смутно, чѣмъ фактъ фізіологическій, включающій въ себя часто весь организмъ?

Бергсонъ. Гарантію въ дѣйствительной обособленности фактъ находить не въ простотѣ. Эта простота—во многихъ, по крайней мѣрѣ, случаяхъ—можетъ быть, напротивъ признакомъ того, что фактъ былъ искусственно выдѣленъ и построенъ нами, тогда какъ неопредѣленная сложность, какъ сложность факта фізіологическаго, если всѣ элементы его явно соподчинены одни другимъ, выказываетъ объективное единство и обладаетъ дѣйствительной обособленностью. Что-же касается вашего затменія, — это фактъ, но фактъ отчасти искусственный; ибо, само по себѣ, это специальное положеніе земли и луны по отношенію къ солнцу не болѣе интересно, чѣмъ какое-бы то ни было другое положеніе. И, по правдѣ говоря, объективной реальностью здѣсь скорѣе являются движенія земли и луны на ихъ орбитахъ.

Кутюра. Затменіе и, еще лучше, прохожденіе Венеры передъ солнцемъ, есть фактъ интересный и поучительный именно потому, что онъ очень точенъ; онъ позволяетъ констатировать почти мгновенное выравниваніе въ одну линію.

Бергсонъ. Интересный для астронома. Астрономъ подбираетъ это положеніе свѣтила на непрерывной кривой, которую свѣтило описываетъ. Циркуляція-же крови есть нѣчто независимое съ большей объективностью.

Кутюра. Фізіологическіе факты не болѣе объективны,

чѣмъ факты физическіе, и если ученый является творцомъ послѣднихъ, то нужно будетъ сказать, что до XVII-го вѣка кровь нашихъ предковъ не циркулировала.

Бергсонъ. Я только сказалъ, что циркуляція сама по себѣ выдѣляется въ природѣ, затмѣніе-же—нѣтъ.

Кутюра. Если факты раздѣляются въ зависимости отъ практическаго интереса, который они для насъ имѣютъ, то почему такой „интересный“ физиологическій фактъ, какъ циркуляція крови, не былъ извѣстенъ въ древности? Въ этомъ объективное и историческое доказательство того, что физиологическіе факты въ дѣйствительности менѣе просты и менѣе отграничены, чѣмъ факты физическіе и астрономическіе.

Бергсонъ. Они менѣе просты,—это очевидно; они могутъ быть болѣе трудными для изученія: это не мѣшаетъ имъ существовать болѣе объективно въ качествѣ изолированныхъ или различающихся фактовъ. Именно потому, что они менѣе искусственны, что они не въ такой мѣрѣ являются нашими твореніями, намъ и трудно ихъ анализировать.

---

# С М Ъ Х Ъ.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

### **О комическомъ вообще.—Комическое формъ и комическое движеній.—Заразительная сила смѣха.**

Что означаетъ смѣхъ? Въ чемъ сущность смѣшного? Что можно найти общаго между гримасой клоуна, игрой словъ, водевилльнымъ *qui pro quo*, сценой остроумной комедіи? Какая дистилляція даетъ намъ ту, всегда одинаковую, эссенцію, отъ которой столько разнообразныхъ предметовъ заимствуютъ одни свой рѣзкій запахъ, другіе свое нѣжное благоуханіе? Величайшіе мыслители, начиная съ Аристотеля, принимались за эту маленькую задачку, а она все не даетъ собой овладѣть, скользить въ рукахъ, вырывается и снова встаетъ, какъ дерзкій вызовъ, бросаемый философской мысли.

Приступая, въ свою очередь, къ этой задачѣ, мы видимъ свое оправданіе въ томъ, что мы не ставимъ себѣ цѣлью замыкать работу фантазіи въ области комическаго въ какое-нибудь опредѣленіе. Мы видимъ въ ней прежде всего нѣчто живое и будемъ обращаться съ ней, какъ-бы легковѣсна она ни была, съ уваженіемъ, съ которымъ должно относиться къ жизни. Мы ограничимся только наблюденіемъ надъ ея ростомъ и расцвѣтомъ. Отъ формы къ формѣ, нечувствительными переходами, она пройдетъ на нашихъ глазахъ черезъ цѣлый рядъ своеобразнѣйшихъ превращеній. Мы не будемъ пренебрегать ничѣмъ изъ того, что увидимъ. Къ тому-же, это постоянное соприкосновеніе съ ней, быть-можетъ, дастъ намъ нѣчто болѣе гибкое, чѣмъ теоретическое опредѣленіе, а именно—практическое интимное знакомство, которое получается въ результатъ продолжитель-

наго товарищескаго общенія. Можетъ-быть, мы найдемъ также, что приобрѣли, не желая этого, полезное знакомство. Возможно-ли, чтобы комическая фантазія, разсудительная, по своему, даже въ своихъ крайностяхъ, послѣдовательная въ своемъ безразсудствѣ, мечтательная, правда, по вызывающая въ грезахъ призраки, тотчасъ-же пріемлемые и понимаемые всѣмъ обществомъ,—не дала намъ какихъ-нибудь свѣдѣній о приемахъ работы человѣческаго воображенія и особенно—воображенія общественнаго, коллективнаго, народнаго? Порожденная самой жизнью, будучи сродни искусству, она, конечно, можетъ сказать свое слово объ искусствѣ и о жизни.

Мы выскажемъ сначала три замѣчанія, которыя считаемъ основными. Они относятся въ сущности не столько къ комическому, сколько къ тому, гдѣ его слѣдуетъ искать.

## I.

Вотъ первый пунктъ, на который я считаю нужнымъ обратить вниманіе. Не существуетъ комическаго внѣ собственно человѣческаго. Пейзажъ можетъ быть красивымъ, привлекательнымъ, величественнымъ, неинтереснымъ или безобразнымъ; но онъ никогда не будетъ смѣшнымъ. Если мы смѣемся надъ животнымъ, то это значитъ, что мы уловили у него свойственную человѣку позу, или человѣческое выраженіе. Если мы смѣемся надъ шляпой, то нашъ смѣхъ вызываетъ не кусокъ фетра или соломы, а форма, которую ему придали люди,—человѣческій капризъ, который въ ней воплотился. Я спрашиваю себя, какъ такой важный въ своей простотѣ фактъ не привлекъ къ себѣ большаго вниманія мыслителей? Нѣкоторые изъ нихъ опредѣляли человѣка, какъ „животное, умѣющее смѣяться“. Они могли бы также опредѣлить его, какъ животное, способное вызывать смѣхъ; потому что, если какое-нибудь животное или какой-нибудь неодушевленный предметъ вызываютъ нашъ смѣхъ, то это происходитъ всегда только благодаря ихъ сходству съ человѣкомъ, благодаря печати, которую человекъ на нихъ накладываетъ, или благодаря тому назначенію, которое даетъ имъ человекъ.

Я хотѣлъ-бы указать, далѣе, какъ на признакъ, не менѣе достойный вниманія, на нечувствительность, сопровождающую обыкновенно смѣхъ. Повидимому, смѣшное можетъ всколыхнуть только очень спокойную, совершенно гладкую поверхность души. Равнодушіе—его естественная среда. У смѣха нѣтъ болѣе сильнаго врага, чѣмъ волненіе. Я не хочу этимъ сказать, что мы не могли-бы смѣяться надъ лицомъ, которое внушаетъ намъ жалость, на примѣръ, или даже расположеніе; но тогда надо на нѣсколько мгновений забыть о расположеніи, заставить замолчать жалость. Въ обществѣ людей, живущихъ только умомъ, вѣроятно не плакали-бы, но, пожалуй, все-таки смѣялись-бы; тогда какъ души, неизмѣнно чувствительныя, настроенныя въ унисонъ съ жизнью, въ которыхъ всякое событіе находитъ отзвукъ, никогда не узнаютъ и не поймутъ смѣха. Попробуйте на минуту заинтересоваться всѣмъ тѣмъ, что говорится и всѣмъ тѣмъ, что дѣлается, дѣйствуйте, въ своемъ воображеніи, съ тѣми, которые дѣйствуютъ, чувствуйте съ тѣми, которые чувствуютъ, дайте, наконецъ, вашей симпатіи проявиться во всей ея полнотѣ: какъ по мановенію волшебнаго жезла, всѣ предметы даже самыя незначительныя, станутъ значительнѣе, и всѣ вещи приобрѣтутъ серьезный отгѣнокъ. Затѣмъ отойдите въ сторону, посмотрите на жизнь какъ равнодушный зритель: много драмъ превратится въ комедію. Достаточно заткнуть уши, чтобы не слышать музыки въ залѣ, гдѣ танцуютъ и танцующіе тотчасъ-же покажутся намъ смѣшными. Сколько человѣческихъ дѣйствій выдержало-бы подобнаго рода испытаніе? И не превратились-ли бы многія изъ нихъ сразу изъ серьезныхъ въ смѣшныя, если-бы мы отдѣлили ихъ отъ той музыки чувствъ, которая служить для нихъ аккомпаниментомъ? Словомъ, смѣшное требуетъ, такимъ образомъ, для полноты своего дѣйствія какъ-бы кратковременной анестезіи сердца. Оно обращается къ чистому разуму.

Но разумъ, къ которому оно обращается, долженъ непремѣнно находиться въ общеніи съ разумомъ другихъ людей. Таково третье обстоятельство, на которое я хотѣлъ обратить вниманіе. Смѣшное не можетъ нравиться тому, кто чувствуетъ себя одинокимъ. Смѣхъ словно нуждается въ откликѣ. Вслушайтесь въ него: это не есть звукъ отчетли-

вый, ясный, законченный; это — нѣчто, стремящееся продолжиться, распространяясь все дальше и дальше; нѣчто, начинающееся взрывомъ и переходящее въ раскатъ, подобно грому въ горахъ. Однако, это отраженіе не должно повторяться до безконечности. Оно можетъ происходить внутри круга какой угодно величины; кругъ этотъ, тѣмъ не менѣе, остается замкнутымъ. Нашъ смѣхъ—это всегда смѣхъ той или иной группы. Вамъ, можетъ-быть, случалось, сидя въ вагонѣ или за табльдотомъ, слышать, какъ путешественники рассказываютъ другъ другу исторіи, повидимому, смѣшныя, потому-что они смѣются отъ всей души. Вы смѣялись-бы такъ-же, какъ и они, если-бы принадлежали къ ихъ компаніи. Но не принадлежа къ ней, вы не имѣли никакого желанія смѣяться. Одинъ человѣкъ, котораго спросили, почему онъ не плакалъ, слушая проповѣдь; на которой всѣ проливали слезы, отвѣтилъ: „Я не этого прихода“. Взглядъ этого человѣка на слезы еще болѣе примѣнимъ къ смѣху. Какъ-бы ни былъ смѣхъ искрененъ, онъ всегда скрываетъ заднюю мысль о соглашеніи, я скажу даже — почти о заговорѣ съ другими смѣющимися лицами, дѣйствительными или воображаемыми. Сколько разъ указывалось на то, что смѣхъ среди зрителей въ театрѣ раздается тѣмъ громче, чѣмъ залъ полнѣе. Сколько разъ наблюдалось, съ другой стороны, что многіе комическіе эффекты совершенно непереводимы съ одного языка на другой, потому-что они связаны тѣсно съ нравами и понятіями даннаго общества. И именно вслѣдствіе непониманія важности этого двойного факта многіе видѣли въ смѣшномъ простую забаву человѣческаго ума, и въ самомъ смѣхѣ — явленіе непонятное, стоящее особнякомъ, ничѣмъ не связанное съ человѣческой дѣятельностью вообще. Отсюда—тѣ опредѣленія, въ которыхъ смѣшное превращается въ какое-то отвлеченное отношеніе, подмѣчаемое умомъ между понятіями, въ „умственный контрастъ“, въ „ощущаемую нелѣпость“ и т. п.; эти опредѣленія, если-бы даже они и подходили дѣйствительно для всѣхъ формъ смѣшного, ни въ коемъ случаѣ не могли-бы, однако, объяснить, почему смѣшное заставляетъ насъ смѣяться. Почему, дѣйствительно, это особое логическое отношеніе, лишь только оно нами подмѣчено, заставляетъ

растягиваться, сокращаться, дрожать наши мышцы, тогда какъ всѣ другія оставляютъ наше тѣло совершенно спокойнымъ? Но не съ этой стороны мы подойдемъ къ задачѣ.

Чтобы понять смѣхъ, его необходимо перенести въ его естественную среду, каковой является общество, въ особенности-же необходимо установить полезную функцію смѣха, каковая является функціей общественной. Такова будетъ—скажемъ это сейчасъ-же—руководящая идея всѣхъ нашихъ изслѣдованій. Смѣхъ долженъ отвѣчать извѣстнымъ требованіямъ общежитія. Смѣхъ долженъ имѣть общественное значеніе.

Отмѣтимъ теперь ту точку, въ которой сходятся наши три предварительныя замѣчанія. Смѣшное возникаетъ, по-видимому, тогда, когда люди, соединенные въ группу, направляютъ все свое вниманіе на одного изъ своей среды, заглушая въ себѣ чувствительность и давая волю только своему разуму. Каковъ-же тотъ особый пунктъ, на который должно направиться ихъ вниманіе? Какое примѣненіе найдетъ здѣсь умъ? Отвѣтить на эти вопросы—значитъ ближе подойти къ нашей задачѣ. Но необходимо предварительно дать нѣсколько примѣровъ.

## II.

Человѣкъ, бѣгушій по улицѣ, спотыкается и падаетъ: прохожіе смѣются. Надъ нимъ, мнѣ думается, не смѣялись-бы, если-бы можно было предположить, что ему вдругъ пришла фантазія сѣсть на землю. Смѣются надъ тѣмъ, что онъ сѣлъ нечаянно. Слѣдовательно, не внезапная перемѣна его положенія вызываетъ смѣхъ, а то, что есть въ этой перемѣнѣ произвольнаго, т. е. неловкость. Лежалъ, можетъ быть, на дорогѣ камень; надо было приостановиться или обойти препятствіе. Но благодаря недостатку гибкости, благодаря разсѣянности или неповоротливости, благодаря косности или приобрѣтенной скорости, мышцы продолжали совершать то-же движеніе, когда обстоятельства требовали чего-то другого. Вотъ почему человѣкъ упалъ и вотъ надъ чѣмъ смѣются прохожіе.

Или вотъ человѣкъ, занимающійся своими повседнев-

ными дѣлами съ математической правильностью. Но вотъ какой-то злой шутникъ перепортилъ окружающіе его предметы. Онъ погружаетъ перо въ чернильницу и вытаскиваетъ оттуда грязь, думаетъ, что садится на крѣпкій стулъ и растягивается на полу,—словомъ, или все у него выходитъ наоборотъ, или онъ дѣйствуетъ въ пустую,—и все это благодаря инерціи. Привычка приучила къ извѣстному движению. Слѣдовало-бы задержать это движеніе или направить его иначе. Но ничуть не бывало—движеніе машинально продолжается по прямой линіи. Жертва шутки въ рабочемъ кабинетѣ оказывается въ положеніи, сходномъ съ положеніемъ человѣка, который бѣжалъ и упалъ. Причина комизма здѣсь та-же самая. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ смѣшной является косность машины тамъ, гдѣ хотѣлось-бы видѣть подвижность, вниманіе, живую гибкость человѣка. Между этими двумя случаями только та разница, что первый произошелъ самъ по себѣ, второй-же созданъ искусственно. Прохожій, въ первомъ случаѣ, только наблюдалъ, шутникъ, во второмъ случаѣ, продѣлываетъ эксперименты.

Такъ или иначе, эффектъ въ обоихъ случаяхъ создается внѣшнимъ обстоятельствомъ. Смѣшное, такимъ образомъ, случайно: оно остается, такъ сказать, на поверхности человѣческой личности. Какимъ образомъ проникаетъ оно внутрь? Для этого необходимо, чтобы механическая косность не нуждалась для своего проявленія въ препятствіи, поставленномъ передъ ней обстоятельствами или человѣческой хитростью. Необходимо, чтобы она вполне естественнымъ образомъ находила въ своей собственной сущности безпрестанно возобновляющіеся поводы проявлять себя внѣшнимъ образомъ. Представимъ себѣ человѣка, который думаетъ всегда о томъ, что онъ уже сдѣлалъ, и никогда о томъ, что онъ дѣлаетъ,—человѣка, напоминающаго мелодію, отстающую отъ аккомпанимента. Представимъ себѣ человѣка, умъ и чувства котораго отъ рожденія лишены гибкости, благодаря чему онъ продолжаетъ видѣть то, чего уже нѣтъ, слышать то, что уже не звучитъ, говорить то, что уже неумѣстно,—словомъ, примѣняться къ положенію, уже не существующему и воображаемому, когда надо было-

бы примѣняться къ наличной дѣйствительности. Смѣшное будетъ тогда въ самой личности: она сама доставитъ для этого все необходимое—содержаніе и форму, причину и поводъ. Удивительно-ли, что типъ разсѣяннаго (какъ-разъ таковъ только-что описанный нами человѣкъ) всегда вдохновлялъ художниковъ-юмористовъ? Когда Ла-Брюеръ набрелъ на этотъ типъ, онъ понялъ, разобравшись въ немъ, что нашелъ рецептъ для массового производства забавныхъ эффектовъ. Онъ этимъ злоупотреблялъ. Онъ даетъ длиннѣйшее и подробнѣйшее описаніе Меналка, повторяясь, оставаясь на мелочахъ, вдаваясь въ совершенно излишнія объясненія. Легкость сюжета притягивала его. Можетъ быть разсѣянность, не есть самый источникъ смѣшного, но это, несомнѣнно, потокъ фактовъ и идей, вытекающій непосредственно изъ этого источника. Это—одно изъ обширныхъ, естественныхъ руслъ смѣха.

Но эффектъ разсѣянности можетъ, въ свою очередь, усиливаться. Существуетъ общій законъ, первое примѣненіе котораго мы только что нашли и который можно формулировать такъ: когда извѣстный комическій эффектъ происходитъ отъ извѣстной причины, то эффектъ кажется намъ тѣмъ болѣе смѣшнымъ, чѣмъ естественнѣе кажется намъ причина. Мы смѣемся уже надъ разсѣянностью, какъ надъ простымъ фактомъ. Еще болѣе смѣшной будетъ для насъ разсѣянность тогда, когда она возникаетъ и усиливается на нашихъ глазахъ, когда ея происхожденіе намъ извѣстно и мы можемъ прослѣдить весь ходъ ея развитія. Возьмемъ примѣръ; предположимъ, что кто-нибудь сдѣлалъ своимъ обычнымъ чтеніемъ любовные или рыцарскіе романы. Увлеченный, зачарованный любимыми героями, онъ мало по малу сосредоточиваетъ на нихъ свои помыслы, свою волю. Онъ бродитъ среди насъ; словно лунатикъ. Все, что онъ ни дѣлаетъ, онъ дѣлаетъ разсѣяннo. Но всѣ эти проявленія его разсѣянности связаны съ извѣстной намъ и вполне определенной причиной. Это уже не просто моменты отсутствія; здѣсь разсѣянность объясняется присутствіемъ данной личности въ очень определенной, хотя и воображаемой средѣ. Несомнѣнно, паденіе есть всегда паденіе; но одно дѣло—упасть въ колодезь, потому-что смот-

ришь куда-нибудь въ сторону, другое—свалиться туда, потому-что заглядѣлся на звѣзды. И именно звѣзду созерцаль: Донъ-Кихоть. Какъ глубоко комизмъ романической мечтательности и погони за химерой! Между тѣмъ, если взять разсѣянность, какъ связующее звено, то можно видѣть, что очень глубокий комизмъ связанъ съ комизмомъ самымъ поверхностнымъ. Да, эти увлеченные химерами люди, экзальтированные, безумные и такъ странно-разсудительные, вызываютъ нашъ смѣхъ, затрагивая въ насъ тѣ-же самыя струны, приводя въ движеніе тотъ-же внутренній механизмъ, что и жертва шутки въ рабочемъ кабинетѣ, и прохожій, поскользнувшійся на улицѣ. Это—тѣ-же падающіе прохожіе, тѣ-же наивныя жертвы обмана, преслѣдующіе свой идеалъ и спотыкающіеся о дѣйствительность, чистые сердцемъ мечтатели, которымъ коварная жизнь разставляетъ ловушки. Но это прежде всего—очень разсѣянные люди, болѣе замѣтные потому, что ихъ разсѣянность—систематическая, вращающаяся постоянно вокругъ извѣстной идеи, потому-что ихъ злоключенія тоже связаны между собою,—связаны той неумолимой логикой, посредствомъ которой жизнь обуздываетъ мечтательность,—и потому, что они вызываютъ вокругъ себя, благодаря способности эффектовъ соединяться между собою, безконечно-возрастающій смѣхъ.

Сдѣлаемъ теперь еще шагъ впередъ. Не то-же ли самое, что для ума навязчивая мысль, для характера—нѣкоторые пороки? Есть-ли порокъ природный дурной складъ характера или изуродованная воля, онъ почти всегда влечетъ за собою искривленіе души. Существуютъ, безъ сомнѣнія, пороки, въ которые душа внѣдряется со всей своей оплодотворяющей мощью, оживляетъ ихъ и увлекаетъ въ круговоротъ видоизмѣненій. Это—пороки трагическіе. Но порокъ, дѣлающій насъ смѣшными, это тотъ, который приходитъ къ намъ, наоборотъ, извнѣ, какъ совершенно готовая рамка, въ которую мы и помѣщаемся. Онъ навязываетъ намъ свою коsnость, вмѣсто того чтобы воспринять нашу гибкость. Мы не усложняемъ его; напротивъ, онъ упрощаетъ насъ. Въ этомъ, мнѣ кажется, заключается,—какъ я постараюсь доказать въ послѣдней части этого этюда,—сущность разницы между комедіей и драмой. Драма,—даже тогда, когда она изобра-

жаешь страсти или пороки общезвѣстные, такъ глубоко воплощаетъ ихъ въ человѣческой личности, что ихъ названія забываются, ихъ основныя характерныя черты стираются, и мы думаемъ уже вовсе не о нихъ, а о воспринявшей ихъ личности. Вотъ почему названіемъ драмы можетъ быть почти исключительно имя собственное. Напротивъ, много комедій имѣютъ названіемъ имя нарицательное: Скупой, Игрокъ и т. п. Если-бы я предложилъ вамъ представить себѣ пьесу, которую можно было-бы назвать напримѣръ „Ревнивецъ“, то вамъ пришелъ-бы на умъ Станарелль или Жоржъ Дандень, но не Отелло; Ревнивецъ можетъ быть только названіемъ комедіи. Дѣло здѣсь въ томъ, что какъ-бы ни былъ тѣсно соединенъ смѣшной порокъ съ человѣческой личностью, онъ тѣмъ не менѣе сохраняетъ свое независимое и несложное существованіе; онъ остается дѣйствующимъ лицомъ главнымъ, невидимымъ и постоянно присутствующимъ, къ которому привѣшены на сценѣ дѣйствующія лица изъ плоти и крови. Порой, забавляясь, онъ увлекаетъ ихъ за собою своей тяжестью, заставляя катиться вмѣстѣ съ собою по наклонной плоскости. Но чаще всего онъ обращается съ ними, какъ съ неодушевленными предметами и играетъ ими какъ маріонетками. Присмотритесь поближе и вы увидите, что искусство поэта юмориста заключается въ томъ, чтобы настолько близко познакомить насъ съ этимъ порокомъ, настолько ввести насъ—зрителей—въ самую его сущность, чтобы и мы въ концѣ концовъ получили отъ него нѣкоторыя нити маріонетокъ, которыми онъ играетъ. Тогда мы, въ свою очередь, начинаемъ играть ими; этимъ отчасти и объясняется наше удовольствіе. Слѣдовательно и здѣсь нашъ смѣхъ вызванъ чѣмъ-то автоматическимъ. И это, повторяю, автоматизмъ, очень близкій къ простой разсѣянности. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно замѣтить, что комическій персонажъ обыкновенно смѣшонъ ровно настолько, насколько онъ не сознаетъ себя таковымъ. Комическое безсознательно. Комическій персонажъ словно пользуется наоборотъ волшебнымъ кольцомъ Gygès'a: становясь невидимымъ самому себѣ, онъ остается видимымъ другимъ.

Дѣйствующее лицо трагедіи ни въ чемъ не измѣнитъ

своего поведенія, узнавъ, какъ мы о немъ думаемъ; оно можетъ вести себя по прежнему, даже вполне сознавая, что оно представляетъ собою, даже ясно понимая, что внушаетъ намъ отвращеніе. Человѣкъ-же обладающій смѣшнымъ недостаткомъ, почувствовавъ себя смѣшнымъ, тотчасъ-же старается измѣниться, по крайней мѣрѣ по внѣшности. Если-бы Гарпагонъ видѣлъ, какъ мы смѣемся надъ его скупостью, онъ,—не скажу, чтобы исправился,—но сталъ-бы меньше выказывать её передъ нами или дѣлалъ-бы это иначе. Замѣтимъ при этомъ, что смѣхъ главнымъ образомъ именно такъ бичуетъ нравы. Онъ тотчасъ-же заставляетъ насъ казаться тѣмъ, чѣмъ мы должны были-бы быть, чѣмъ мы дѣйствительно станемъ когда-нибудь.

Приостановимъ пока нашъ анализъ. Переходя отъ падающаго прохожаго къ довѣрчивому простаку, котораго подводятъ, отъ мистификаціи къ разсѣянности, отъ разсѣянности къ экзальтаціи ко всевозможнымъ извращеніямъ воли и характера, мы прослѣдили, какъ все глубже и глубже виѣдряется комическое въ человѣческую личность, не переставая однако въ самыхъ утонченныхъ своихъ проявленіяхъ напоминать намъ то, что мы подмѣчали въ его самыхъ грубыхъ формахъ,—автоматизмъ и косность. Мы можемъ теперь составить себѣ первое,—правда, пока еще довольно отдаленное, смутное и неопредѣленное,—понятіе о смѣшной сторонѣ человѣческой природы и объ обычной роли смѣха.

Жизнь и общество требуютъ отъ насъ неустаннаго напряженнаго вниманія, позволяющаго вникать въ каждое данное положеніе, а также извѣстной гибкости тѣла и духа, которая позволяла-бы намъ приспособляться къ этому положенію. Напряженность и эластичность—вотъ двѣ взаимно дополняющія другъ друга силы, которыя жизнь приводитъ въ дѣйствіе. Если ихъ лишено тѣло, это приводитъ ко всякаго рода несчастнымъ случаямъ, уродствамъ, болѣзнямъ. Если ихъ лишены умъ, это приводитъ ко всѣмъ степенямъ психическаго убожества, ко всевозможнымъ формамъ помѣшательства. Если, наконецъ, то-же происходитъ съ характеромъ, то получается глубокая неприспособленность къ общественной жизни,

источникъ нищеты, иногда преступленій. Разъ устранены эти недостатки, имѣющіе такое важное значеніе въ нашемъ существованіи (а они имѣютъ тенденцію исчезать сами собою подъ вліяніемъ того, что называется борьбой за существованіе), личность можетъ жить и жить общей жизнью съ другими. Но общество требуетъ еще и другого. Для него недостаточно жить; оно хочетъ жить хорошо. Опасность для него заключается теперь въ томъ, что каждый изъ насъ, отдавъ свое вниманіе самой сущности жизни, можетъ удовольствоваться этимъ и во всемъ остальномъ слѣдовать автоматизму приобрѣтенныхъ привычекъ. Обществу угрожаетъ также то, что составляющіе его члены, вмѣсто того, чтобы стремиться ко все болѣе и болѣе совершенному равновѣсію между отдѣльными волями, которыя должны все тѣснѣе и тѣснѣе спланиваться между собою, удовольствуются соблюденіемъ только основныхъ условій этого равновѣсія; ему недостаточно разъ навсегда установленнаго согласія между его членами, оно требуетъ постоянныхъ успій ко взаимному приспособленію. Малѣйшая косность характера, ума и даже тѣла должна, слѣдовательно, вызывать неодобреніе общества, какъ вѣрный показатель дѣятельности замирающей, а также дѣятельности стремящейся обособиться, отдалиться отъ общаго центра, къ которому общество тяготеетъ, однимъ словомъ,—какъ показатель эксцентричности. Тѣмъ не менѣе общество не можетъ пустить здѣсь въ ходъ матеріальное принужденіе, потому-что оно не задѣто матеріально. Оно стоитъ передъ чѣмъ-то его безпокоящимъ, но это что-то—лишь симптомъ, едва-ли даже угроза, самое большее—только жестъ. Слѣдовательно и отвѣтитъ на это оно сможетъ простымъ жестомъ. Смѣхъ долженъ быть чѣмъ-то въ этомъ родѣ—видомъ общественнаго жеста. Боязнью, которую онъ порождаетъ, онъ подавляетъ эксцентричность, возбуждаетъ и принуждаетъ къ взаимодѣйствію извѣстные виды дѣятельности второстепеннаго порядка, рискующіе обособиться и заглухнуть, сообщаетъ, однимъ словомъ, гибкость всему тому, что можетъ остаться отъ механической косности на поверхности соціальнаго тѣла. Смѣхъ не относится, слѣдовательно, къ области чистой эстетики, потому-что онъ преслѣдуетъ (без-

сознательно и во многих частных случаях нарушая требованія морали) полезную цѣль общаго совершенствованія. Въ немъ есть однако и нѣчто отъ эстетики, потому-что смѣшное возникаетъ какъ-разъ въ тотъ моментъ, когда общество и личность, освободившись отъ заботъ о самосохраненіи, начинаютъ относиться къ самимъ себѣ, какъ къ произведеніямъ искусства. Однимъ словомъ, если включить въ особый кругъ тѣ дѣйствія и наклонности, которыя вносятъ замѣшательство въ личную или общественную жизнь и карой за которыя являются ихъ-же собственные естественныя послѣдствія, то внѣ этой сферы волненій и борьбы, въ нейтральномъ поясѣ, гдѣ человѣкъ для человѣка служить просто зрѣлищемъ, остается извѣстная косность тѣла, ума и характера, которую общество то-же хотѣло-бы уничтожить, чтобы получить отъ своихъ членовъ возможно большую гибкость и возможно болѣе высокую степень общественности. Эта косность и есть смѣшное, и смѣхъ—кара за нее.

Остережемся, однако, принять эту формулу для опредѣленія смѣшного. Она подходитъ только для случаевъ простѣйшихъ, теоретическихъ, вполне законченныхъ, въ которыхъ смѣшное свободно отъ всякой примѣси. Мы не даемъ ее въ качествѣ объясненія. Мы возьмемъ ее, если хотите, какъ лейтмотивъ, который послужить аккомпаниментомъ для всѣхъ нашихъ объясненій. Ее нужно будетъ всегда имѣть въ виду, но не слишкомъ сосредоточивая на ней вниманіе: приблизительно такъ хорошій фехтовальщикъ долженъ помнить объ отдѣльныхъ приѣмахъ фехтованія и вмѣстѣ съ тѣмъ непрерывно наступать. Мы постараемся теперь установить непрерывную связь между формами смѣшного, держась за нить, идущую отъ поясничанья клоуна до самой утонченной игры въ комедіи, слѣдуя за этой нитью во всѣхъ ея, часто неожиданныхъ, изворотахъ, изрѣдка останавливаясь, чтобы оглядѣться вокругъ, восходя, если это вообще возможно, къ той точкѣ, въ которой эта нить привѣшена и съ которой намъ можетъ-быть откроется, — такъ-какъ смѣшное есть нѣчто, колеблющееся между жизнью и искусствомъ, — соотношеніе между искусствомъ и жизнью.

### III.

Начнемъ съ самаго простаго. Что такое смѣшная фizioномія? Откуда берется смѣшное выраженіе лица? И что отличаетъ въ этомъ случаѣ смѣшное отъ безобразнаго? Такимъ образомъ поставленный вопросъ не могъ быть рѣшенъ иначе, какъ произвольно. Какъ ни кажется онъ простъ, онъ все-таки слишкомъ сложенъ, чтобы прямо къ нему подойти. Пришлось-бы сначала опредѣлить что такое безобразіе, потомъ выяснитъ, въ какомъ смыслѣ смѣшное усиливаетъ безобразіе: но сдѣлать анализъ безобразія не легче, чѣмъ сдѣлать анализъ красоты. И мы воспользуемся однимъ искусственнымъ приемомъ, который часто намъ будетъ полезенъ и впредь. Мы расширимъ такъ сказать, задачу, увеличивъ слѣдствіе настолько, чтобы причина стала видимой. Усилимъ безобразіе, доведемъ его до степени уродства и посмотримъ, какъ можно перейти отъ уродливаго къ смѣшному.

Есть уродства, какъ извѣстно, имѣющія печальное преимущество предъ другими уродствами: они вызываютъ у нѣкоторыхъ лицъ смѣхъ. Такъ напримѣръ, смѣются надъ горбатыми. Я не буду останавливаться на излишнихъ здѣсь подробностяхъ. Я попрошу только читателя припомнить различныя уродства, затѣмъ раздѣлить ихъ на двѣ группы: на такія, которыя природа приблизила къ смѣшному, и такія, которыя совершенно далеки отъ него. Я думаю, что онъ безъ труда выведетъ слѣдующій законъ: смѣшнымъ можетъ быть всякое уродство, которое можетъ представить правильно-сложенный человѣкъ.

Не значить-ли это, въ такомъ случаѣ, что горбатый производитъ впечатлѣніе человѣка, который дурно держитъ себя? Его спина могла почему-нибудь принять неправильное положеніе. Вслѣдствіе неподатливости тѣла, вслѣдствіе косности онъ упорно держится усвоенной имъ привычки. Постарайтесь только смотрѣть на него. Не думайте, а главное, не разсуждайте. Забудьте все, что вы знаете; постарайтесь прійти къ самому безхитроственному, непосредственному, первоначальному впечатлѣнію. И вы увидите именно этотъ образъ. Передъ вами будетъ человѣкъ,

который вздумалъ застыть въ извѣстной позѣ и, если можно такъ выразиться, заставилъ свое тѣло сдѣлать извѣстную гримасу.

Вернемся теперь къ тому пункту, который мы хотѣли освѣтить. Ослабляя смѣшное уродство, мы должны получить комическое безобразіе. Слѣдовательно, выраженіе лица будетъ смѣшнымъ въ томъ случаѣ, если мы въ обычно-подвижной фізіономіи увидимъ нѣчто натянутое, неподвижное, такъ сказать, застывшее,—увидимъ застывшую судорогу, неподвижную гримасу. Намъ скажутъ, можетъ быть, что всякое обычное выраженіе лица, даже пріятное и красивое, также производитъ на насъ впечатлѣніе чего-то раз навсегда сложившагося. Но здѣсь есть важное различіе. Когда мы говоримъ о сильно-выраженной красотѣ или даже сильно выраженномъ безобразіи, когда мы говоримъ, что лицо имѣетъ выраженіе, то мы имѣемъ въ виду выраженіе, быть можетъ, и устойчивое, но для котораго мы предвидимъ возможность измѣненія. При всемъ своемъ постоянствѣ оно сохраняетъ какую-то неопредѣленность, въ которой смутно сказываются всевозможные оттѣнки душевнаго состоянія, выражаемаго имъ: такъ иногда въ туманное весеннее утро чувствуется близость жаркаго дня. Но комическое выраженіе лица это есть выраженіе, не общающееся намъ ничего, кромѣ того, что оно даетъ. Это—только гримаса, застывшая гримаса. Какъ будто-бы вся душевная жизнь человѣка выкристаллизовалась въ какую-то систему. Вотъ почему лицо бываетъ тѣмъ комичнѣе, тѣмъ сильнѣе вызываетъ оно въ насъ представленіе, о какомъ-нибудь несложномъ, чисто механическомъ дѣйствіи, поглотившемъ навсегда данную личность. Есть лица, которыя кажутся постоянно плачущими, другія—смѣющимися или свистящими, третьи—дующими въ какую-то воображаемую трубу. Это—самыя смѣшныя лица. Здѣсь снова подтверждается тотъ законъ, что комизмъ тѣмъ сильнѣе, тѣмъ естественнѣе объясняется вызывающая его причина. Автоматизмъ, косность, какая-нибудь неизмѣнно присущая, искажающая лицо черта—вотъ то, что дѣлаетъ фізіономію смѣшной. Но этотъ эффектъ еще больше усиливается, когда мы можемъ связать эти характерныя черты съ какой-нибудь глубокой при-

чиной съ самой основой разсѣянности, когда душа какъ-бы отдается чарамъ, гипнозу матеріальности какого-нибудь очень простаго акта.

Теперь становится понятенъ комизмъ каррикатуры. Какъ-бы ни были правильны черты лица, какъ-бы ни казались гармоничны его линіи и гибки движенія, никогда соотвѣтствіе между ними не бываетъ совершеннымъ. Всегда можно подмѣтить въ нихъ намекъ на какую-нибудь уродливую черту, эскизъ намѣчающейся гримасы, словомъ, — какую-нибудь свойственную данному лицу неправильность, въ которой сказывается его природная склонность. Искусство каррикатуриста состоитъ въ томъ, чтобы схватить это, иногда неуловимое, движеніе, и, значительно усиливъ, сдѣлать его видимымъ для всѣхъ. Онъ заставляетъ свои модели гримасничать такъ, какъ онѣ гримасничали-бы сами, если-бы доводили свою гримасу до конца. Подъ внѣшней гармоніей формъ онъ угадываетъ глубоко скрытое возмущеніе матеріи. Онъ воспроизводитъ несоразмѣрности и неправильности, которыя должны существовать въ природѣ, въ видѣ зачатковъ, но не смогли полностью развиться, будучи побѣждены силами высшаго порядка. Его искусство, въ которомъ есть нѣчто дьявольское, ставитъ на ноги демона, побѣжденного ангеломъ. Безспорно, это искусство преувеличиваетъ; тѣмъ не менѣе, его опредѣляютъ невѣрно, когда ему приписываютъ преувеличеніе, какъ цѣль, потому что есть каррикатуры болѣе похожія, чѣмъ портреты, каррикатуры, въ которыхъ преувеличеніе почти не чувствуется; и наоборотъ, можно утрировать до послѣдней крайности и не получить настоящей каррикатуры. Для того, чтобы преувеличеніе было комично, оно не должно быть цѣлью, а лишь простымъ средствомъ, которымъ рисующій пользуется, чтобы показать намъ видимую ему намѣчающуюся гримасу. Важна только эта гримаса, только она представляетъ интересъ. И вотъ почему ее ищутъ даже въ неспособныхъ къ движенію элементахъ фізіономіи, въ изгибѣ носа, въ формѣ уха. Дѣло въ томъ, что форма для насъ всегда — набросокъ движенія. Каррикатуристъ, который измѣняетъ размѣры носа, но сохраняетъ его общую форму, удлиняетъ его напримѣръ въ томъ-же направленіи, въ ко-

торомъ уже удлинила его природа, поистинѣ заставляетъ этотъ носъ гримасничать: съ этого момента намъ будетъ казаться, что оригиналъ тоже стремится удлиниться и сдѣлать гримасу. Въ этомъ смыслѣ можно было-бы сказать, что природа сама бываетъ иногда искуснымъ каррикатуристомъ. Такъ и кажется иногда, что движеніемъ, которымъ она прорѣзала этотъ ротъ, обострила этотъ подбородокъ, раздула щеку, она успѣла довести до конца извѣстную гримасу, обманувъ бдительность умѣряющей болѣе разумной силы. Надъ такимъ лицомъ мы смѣемся, оно является, такъ сказать, своей собственной каррикатурой.

Коротко говоря, какова-бы ни была доктрина, которой придерживается нашъ умъ, наше воображеніе имѣетъ свою вполне опредѣленную философію; въ каждой формѣ чело-вѣческаго тѣла оно видитъ усиліе души, обрабатывающей матерію,—души безконечно гибкой, вѣчно подвижной, свободной отъ дѣйствія закона тяжести, потому-что не земля ее притягиваетъ. Нѣкоторую долю своей окрыленной легкости эта душа сообщаетъ тѣлу, которое она животворитъ; духовное начало, проникающее такимъ образомъ въ матерію, есть то, что называютъ граціей. Но матерія упорно противится этому. Она тянетъ въ свою сторону, она хотѣла-бы совратить на путь инертности, принизить до автоматизма всегда бодрствующую дѣйственность этого высшего начала. Она хотѣла-бы закрѣпить разумно-разнообразныя движенія тѣла въ бессмысленно усвоенныя привычки, отлить въ застывшія гримасы живую игру фizioноміи,—словомъ, придать всему тѣлу такое положеніе, чтобы человекъ казался всецѣло захваченнымъ и поглощеннымъ матеріальностью какого-нибудь чисто-механическаго движенія, вмѣсто того, чтобы непрерывно обновляться отъ соприкосновенія съ живымъ духомъ. Тамъ, гдѣ матерія успѣваетъ такимъ образомъ придать тяжеловѣсность душевной жизни въ ея внѣшнихъ проявленіяхъ, задержать ея движеніе, нарушить, однимъ словомъ, ея грацію, она достигаетъ того, что тѣло производитъ впечатлѣніе комическаго. И если-бы мы хотѣли опредѣлить сейчасъ комическое, сопоставляя его съ его противоположностью, то его слѣдовало-бы (противопоставить въ еще большей степени граціи, чѣмъ красотѣ). Оно—скорѣе косность, чѣмъ безобразіе.

IV.

Перейдемъ отъ комизма формъ къ комическому въ жестахъ и движеніяхъ. Прежде всего я формулирую законъ, управляющій, какъ мнѣ думается, всѣми явленіями этого рода. Онъ впрочемъ легко выводится изъ вышеназложенныхъ соображеній.

Позы, жесты и движенія человѣческаго тѣла смѣшны постольку, поскольку это тѣло, вызываетъ въ насъ представленіе о простой машинѣ.

Я не буду подробно прослѣживать случаи непосредственнаго примѣненія этого закона. Они безчисленны. Чтобы непосредственно провѣрить его, намъ достаточно было-бы ближе изучить творчество живописцевъ-юмористовъ, оставляя при этомъ въ сторонѣ все то, что касается карриатуры, которой мы дали объясненіе особо, а также и ту долю комическаго, которая присуща не самому рисунку. Потому что здѣсь не слѣдуетъ ошибаться: комическое въ рисункѣ есть нѣчто случайное, заимствованное, относящееся цѣликомъ къ литературѣ. Я хочу этимъ сказать, что живописецъ можетъ быть въ то-же время сатириккомъ, даже водевиллстомъ, и нашъ смѣхъ вызывается тогда не столько самимъ рисункомъ, сколько той сатирой или той сценой, которую онъ представляетъ. Но если сосредоточить свое вниманіе на рисункѣ съ твердымъ намѣреніемъ думать только о немъ, то мы найдемъ, какъ мнѣ кажется, что рисунокъ всегда комиченъ постольку, поскольку онъ ясно и не утрируя выявляетъ намъ въ человѣкѣ автомата. Необходимо, чтобы данное впечатлѣніе было отчетливо, чтобы мы видѣли ясно, какъ черезъ (в) стекло, внутри данной личности разборный механизмъ. Но необходимо также, чтобы это впечатлѣніе не было рѣзкимъ, и чтобы изображаемая личность, при всей механической косности своихъ членовъ, давала намъ въ цѣломъ представленіе о живомъ существѣ, Комическій эффектъ будетъ тѣмъ разительнѣе, искусство живописца тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ тѣснѣе заключены одинъ образъ въ другой—образъ машины въ образъ человѣка. И оригинальность каждаго живописца-юмориста можно было-бы опре-

дѣлать своеобразнымъ характеромъ жизни, которую онъ вкладываетъ въ автомата. Но оставимъ въ сторонѣ непосредственныя примѣненія этого принципа и остановимся подробнѣе лишь на болѣе отдаленныхъ выводахъ. Призракъ механизма, дѣйствующаго внутри человѣческой личности, проглядываетъ чрезъ безчисленное множество забавныхъ эффектовъ, но это чаще всего лишь мимолетное видѣніе, которое тотчасъ-же затеривается въ вызываемомъ имъ смѣхѣ. Чтобы запечатлѣть его, необходимо нѣкоторое усиленіе мысли и анализа.

Вотъ, напримѣръ, у оратора жестъ соперничаетъ со словомъ. Завидуя слову, жестъ все время гонится за мыслью и требуетъ также и себѣ роли истолкователя. Пусть такъ, но онъ долженъ тогда постоянно слѣдовать за мыслью, за всѣми ея эволюціями. Мысль—это нѣчто непрерывно растущее: отъ начала рѣчи и до конца ея она пускаетъ почки, цвѣтетъ, зрѣетъ. Она никогда не останавливается, никогда не повторяется. Она должна непрерывно измѣняться, потому-что перестать измѣняться значитъ перестать жить. Пусть-же и жестъ живетъ подобно ей! Пусть-же и онъ подчинится основному закону жизни, состоящему въ томъ, чтобы никогда не повторяться. Но вотъ мнѣ кажется, что одно и то-же движеніе руки или головы періодически повторяется. Если я это замѣтилъ, если этого достаточно, чтобы отвлечь мое вниманіе, если я жду его въ опредѣленномъ мѣстѣ и оно происходитъ въ тотъ моментъ, когда я его жду,—я невольно разсмѣюсь. Почему? Да потому-что тогда передо мной будетъ механизмъ, дѣйствующій автоматически. Это уже не жизнь, это автоматизмъ, внѣдрившійся въ жизнь и подражающій ей. И это—комично.

Вотъ почему жесты, надъ которыми мы и не думали смѣяться, становятся смѣшными, когда какое-нибудь другое лицо перенимаетъ ихъ. Этому простому факту давали очень сложныя объясненія. Не трудно замѣтить, что наше душевное состояніе ежеминутно измѣняется и что если-бы наши жесты вполнѣ соответствовали нашимъ внутреннимъ переживаніямъ, если бы они жили такъ-же, какъ живемъ мы, они никогда не повторялись бы и имъ не было-бы страшно никакое подражаніе. Мы только тогда начинаемъ

становиться предметомъ подражанія, когда перестаемъ быть самими собою. Я хочу этимъ сказать, что наши жесты поддаются подражанію постольку, поскольку имъ присуще механическое однообразіе, поскольку они, слѣдовательно, чужды нашей живой индивидуальности. Подражать какому-нибудь лицу значить выявлять ту долю автоматизма, которой оно позволило проникнуть въ свою личность. Это значитъ, тѣмъ самымъ, сдѣлать это лицо смѣшнымъ, и не удивительно, что подражаніе вызываетъ смѣхъ.

Но если подражаніе жестамъ смѣшно само по себѣ, то оно становится еще смѣшнѣе, когда старается, не измѣняя ихъ совершенно, сдѣлать ихъ похожими на какую-нибудь механическую операцію, на примѣръ на пилку дровъ, битье по наковальнѣ, или на неустанное дерганье за шнурокъ воображаемаго звонка. Это не значитъ, что обыденность составляетъ сущность комизма (хотя она и входитъ въ его составъ). Это значитъ скорѣе, что взятый нами жестъ кажется намъ въ еще большей степени машинальнымъ, когда его можно связать съ какой-нибудь простой операціей, какъ если-бы онъ былъ механиченъ по самому своему назначенію. Внушать представленіе о механическомъ—таковъ долженъ быть одинъ изъ излюбленныхъ приемовъ пародіи. Я дѣлаю этотъ выводъ à priori, но я думаю, что клоуны давно уже пришли къ нему чутьемъ.

Такимъ же образомъ, мнѣ кажется, можетъ быть рѣшена маленькая загадка, предложенная Паскалемъ въ одномъ мѣстѣ его „Мыслей“: два похожихъ другъ на друга лица, изъ которыхъ каждое въ отдѣльности не вызываетъ смѣха, кажутся, благодаря своему сходству смѣшными, находясь рядомъ. Можно было-бы точно такъ-же сказать: „жесты оратора, изъ которыхъ ни одинъ, самъ по себѣ не смѣшитъ, возбуждаютъ смѣхъ, повторяясь“. Дѣло въ томъ, что подлинно живая жизнь не должна-бы никогда повторяться. Тамъ, гдѣ имѣется повтореніе, полное подобіе, мы всегда подозрѣваемъ, что позади живого дѣйствуетъ что-то механическое. Проанализируйте впечатлѣніе, которое производятъ на васъ два слишкомъ похожихъ другъ на друга лица: вы увидите, что они вызываютъ въ васъ мысли о двухъ экземплярахъ, полученныхъ съ помощью одной и

той-же формы, или о двухъ оттискахъ одного и того-же штемпеля, о двухъ снимкахъ съ одного и того-же клише,— словомъ, о фабричномъ производствѣ. Это отклоненіе жизни въ сторону механическаго и есть въ данномъ случаѣ истинная причина смѣха.

И смѣхъ будетъ еще сильнѣе, если передъ нами предстанутъ на сценѣ не два только персонажа, какъ въ примѣрѣ Паскаля, а нѣсколько, много, какъ можно больше сходныхъ между собою лицъ, которыя будутъ входить, выходить, танцовать, принимать одновременно одиѣ и тѣ-же позы, дѣлать одни и тѣ-же жесты. Въ этомъ случаѣ мы ясно себѣ представляемъ маіонетокъ. Намъ кажется, что невидимыя нити связываютъ руки съ руками, ноги съ ногами, каждый мускулъ одной фізіономіи съ соотвѣтствующимъ мускуломъ другой: строгая согласованность ведетъ къ тому, что формы сами на нашихъ глазахъ превращаются изъ мягкихъ въ твердыя, все затвердѣваетъ въ автоматичности. Въ этомъ, мнѣ кажется, и заключается вся хитрость этого нѣсколько грубаго развлеченія. Я не знаю читали-ли его исполнители Паскаля, но они несомнѣнно доводятъ до конца мысль, на которую наводитъ это мѣсто у Паскаля. И если причина смѣха есть несомнѣнно появленіе механическаго эффекта во второмъ случаѣ, то и въ первомъ случаѣ должна была быть та-же причина, но тоньше дѣйствующая.

Идя дальше этимъ путемъ, мы начинаемъ смутно предвидѣть все болѣе и болѣе отдаленныя, а также все болѣе и болѣе важныя послѣдствія изложеннаго нами закона. Мы предчувствуемъ появленіе еще болѣе миолетныхъ призраковъ механическихъ явленій, порождаемыхъ сложными дѣйствіями человѣка, а не простыми жестами. Мы предполагаемъ, что обычные приемы комедіи,—периодическія повторенія какого-нибудь слова или какой-нибудь сцены, перепутываніе ролей, развитіе въ геометрической прогрессіи всевозможныхъ *qui pro quo* и еще многіе другіе приемы,—черпаютъ силу комизма изъ того-же источника, что искусство водевилиста быть можетъ въ томъ и состоитъ, чтобы представить намъ чисто-механическое сцѣпленіе происшествій изъ человѣческой жизни, сохраняя за

этими происшествіями внѣшній видъ правдоподобія, т.-е. видимую гибкость жизни. Но не будемъ предвосхищать результатовъ, къ которымъ постепенно приведетъ насъ нашъ анализъ.

## V.

Прежде чѣмъ идти дальше, приостановимся на минуту и оглянемся кругомъ. Мы давали понять въ самомъ началѣ этой работы, что было-бы химерично пытаться вывести всѣ комическіе эффе́кты изъ одной простой формулы. Формула, правда, въ извѣстномъ смыслѣ существуетъ; но она не развертывается съ должной правильностью. Я хочу сказать, что дедукція должна время отъ времени останавливаться на нѣкоторыхъ преобладающихъ эффе́ктахъ и что каждый изъ этихъ эффе́ктовъ является моделью, около которой располагаются по кругу другіе, схожіе съ нимъ эффе́кты. Эти послѣдніе не могутъ быть выведены изъ формулы, но они комичны благодаря своему родству съ тѣми, которые могутъ быть выведены изъ нея. Обращаюсь вновь къ Паскалю; я охотно представилъ-бы здѣсь ходъ мысли въ видѣ той кривой, которую этотъ геометръ изслѣдовалъ подъ названіемъ циклоиды, кривой, описываемой точкой окружности колеса, когда тѣлѣга движется впередъ по прямой линіи: эта точка вращается вмѣстѣ съ колесомъ и въ то-же время движется впередъ вмѣстѣ съ тѣлѣгой. Или можно еще представить себѣ безконечную аллею,—въ родѣ аллей въ лѣсу Фонтенебло, съ перекрестками и крестами, разставленными на ней черезъ извѣстные промежутки: на каждомъ перекресткѣ приходится обойти кругомъ крестъ, ознакомиться съ открывающимися дорогами и потомъ продолжать свой путь.

Мы находимся на одномъ изъ такихъ перекрестковъ. Живое, покрытое накладнымъ слоемъ механическаго, вотъ одинъ изъ крестовъ, около котораго слѣдуетъ остановиться,—то центральное представленіе о смѣшномъ, отъ котораго воображеніе лучеобразно распространяется по расходящимся направленіямъ. Каковы-же эти направленія? Какъ мнѣ кажется, я различаю три главныхъ

направленія. Мы изслѣдуемъ ихъ одно за другимъ, а затѣмъ вернемся на нашъ прямой путь.

I. Прежде всего, образъ механическаго и живого, плотно вставленныхъ одно въ другое, заставляетъ насъ уклониться въ сторону болѣе неопредѣленнаго образа какой-нибудь косности, облекающей подвижность жизни, неловко пытающейся воспроизводить всѣ ея очертанія и подражать ея гибкости. Понятно, напримѣръ, почему платье такъ легко можетъ стать смѣшнымъ. Можно, въ сущности, сказать, что всякая мода той или иной стороны своей смѣшна. Только, когда мы имѣемъ дѣло съ модой современной, то благодаря нашей привычкѣ къ ней, платье словно сливается въ одно цѣлое съ тѣми, кто его носитъ. Воображеніе наше не отдѣляетъ его отъ нихъ. Намъ не приходитъ тогда мысль противопоставлять инертную оболочку живой гибкости облекаемаго ею предмета. Комическое остается здѣсь въ скрытомъ состояніи. Въ лучшемъ случаѣ ему удастся проглянуть наружу, тамъ, гдѣ естественное несоотвѣтствіе между облекающимъ и облекаемымъ такъ глубоко, что даже ихъ вѣковая близость не смогла придать прочности ихъ союзу. Примѣромъ можетъ служить наша шляпа. Но представьте себѣ чудака, одѣвающегося теперь по старинной модѣ; его костюмъ привлечетъ тогда къ себѣ наше вниманіе, мы его совершенно отдѣлимъ отъ самой личности, мы скажемъ, что человѣкъ этотъ рядится (какъ будто всякая одежда не есть переряживание), и смѣшная сторона моды выступаетъ тогда на свѣтъ.

Мы начинаемъ здѣсь предвидѣть нѣкоторыя значительныя затрудненія въ мелочахъ, выдвигаемыя проблемой комическаго. Одна изъ причинъ, которыя должны были породить множество ошибочныхъ или недостаточно-обоснованныхъ теорій смѣха, заключается въ томъ, что множество вещей комичны въ теоріи, не будучи смѣшны въ дѣйствительности, потому-что непрерывность употребленія усыпила въ нихъ способность вызывать смѣхъ. Необходимъ рѣзкій разрывъ непрерывности, разрывъ съ модой, чтобы это свойство ихъ вновь обрѣло силу. Тогда будетъ казаться, что этотъ разрывъ непрерывности порождаетъ комизмъ, тогда какъ онъ только раскрываетъ намъ этотъ послѣдній. Смѣхъ бу-

дуть объяснять неожиданностью или контрастом и т. п.,—объясненія, такъ-же хорошо примѣнимыя ко многимъ случаямъ, когда мы не чувствуемъ никакого желанія смѣяться. Истина далеко не такъ проста.

Но вотъ мы пришли къ понятію о переживаніи. Оно пользуется общепризнанной, какъ мы уже указали, способностью возбуждать смѣхъ. Не бесполезно будетъ разсмотрѣть, какъ она пользуется ею.

Почему мы смѣемся надъ шевелюрой, которая превратилась изъ темной въ свѣтлую? Въ чемъ комизмъ краснаго носа? Почему смѣются надъ негромъ? Вопросъ, повидимому, трудный, потому-что такіе психологи, какъ Гекеръ, Крепелинъ, Липпсъ брались за него и давали различные отвѣты. Между тѣмъ не былъ-ли онъ однажды рѣшенъ на улицѣ простымъ извозчикомъ, который назвалъ сѣдока-негра, сидѣвшаго въ его каретѣ,—„немытымъ“. Немытый! Черное лицо представляется нашему воображенію, какъ лицо, запачканное чернилами или сажей. Слѣдовательно, и красный носъ можетъ быть только носомъ, покрытымъ слоемъ румянъ. Такимъ образомъ, ряженіе передало часть своей способности возбуждать смѣхъ такимъ явленіямъ, въ которыхъ никакого переряживанья нѣтъ, но гдѣ оно могло бы быть. Какъ мы указывали выше, обычный костюмъ есть, несомнѣнно, нѣчто отдѣльное отъ человѣка; но намъ онъ кажется слитымъ воедино съ этимъ послѣднимъ, потому-что мы привыкли видѣть его на немъ. Въ послѣднемъ случаѣ, черная или красная окраска присуща самой кожѣ; намъ-же она кажется наложенной искусственно, потому-что она насъ поражаетъ своей необычностью.

Отсюда, правда, вытекаетъ новый рядъ затрудненій для теоріи смѣшного. Положеніе, гласящее: „моя обычная одежда составляетъ часть моего тѣла“, есть бессмыслица для нашего разума; тѣмъ не менѣе воображенію нашему оно представляется правильнымъ. „Красный носъ—это крашенный носъ“, „негръ—это переряженный бѣлый“—это тоже нелѣпости для разсуждающаго разсудка,—но не подлежащая сомнѣнію правда для воображенія. Существуетъ, слѣдовательно, логика воображенія, которая отлична отъ логики разума, иногда даже противорѣчитъ ей, но съ которой фи-

лософія, тѣмъ не менѣе, должна считаться не только при изученіи комическаго, но и во всѣхъ своихъ изслѣдованіяхъ того-же порядка. Это нѣчто вродѣ логики сновидѣнія, но такого сновидѣнія, которое не принадлежитъ цѣлкомъ къ области прихотливой индивидуальной фантазіи, а снится всему обществу. Чтобы ее возстановить, необходимо усиліе совершенно особаго рода,—необходимо приподнять виѣшнюю корку прочныхъ сужденій и крѣпко установившихся понятій, чтобы увидѣть въ глубинѣ своего „я“ непрерывно-текущую, подобную подземному водному потоку, смѣну тѣсно проникающихъ другъ друга образовъ. Это взаимное проникновеніе образовъ не есть дѣло случая. Оно подчиняется законамъ, или, вѣрнѣе, привычкамъ, которыя относятся къ воображенію такъ-же, какъ логика—къ мышленію.

Прослѣдимъ-же эту логику воображенія въ частномъ случаѣ, занимающемъ насъ теперь. Переряженный человѣкъ смѣшонъ. Расширяя это понятіе, мы скажемъ: всякое переряживаніе смѣшно, не только переряживаніе отдѣльнаго человѣка, но также и общества и даже природы.

Начнемъ съ природы. Мы смѣемся надъ собакой, острой на половину, надъ цвѣтникомъ, состоящимъ изъ искусственно окрашенныхъ цвѣтовъ, надъ лѣсомъ, деревья котораго обвѣшаны избирательными афишами и т. п. Помните причину этого смѣха. Вы найдете ее въ томъ, что все это вызываетъ представленіе о какомъ-то маскарадѣ. Но здѣсь смѣшное очень ослаблено. Оно слишкомъ отдалено отъ своего источника. Желаете вы его увидѣть? Тогда надо добратъся до самаго источника, приблизить производный образъ,—образъ маскарадный,—къ образу первоначальному, каковымъ, какъ мы уже говорили, служитъ образъ механической поддѣлки жизни. Механически поддѣланная природа,—вотъ чисто-комическій мотивъ, и фантазія можетъ варьировать его съ увѣренностью вызвать громкій смѣхъ. Припомните смѣшное мѣсто изъ „Тартарена на Альпахъ“, гдѣ Бомпаръ увѣряетъ Тартарена, (а отчасти, слѣдовательно и читателя), что Швейцарія устроена искусственно, съ помощью машинъ, на подобіе кулисъ въ театрѣ, что ее эксплуатируетъ особая компанія, которая содержитъ

каскады, ледники и поддѣльные трещины. Тотъ-же мотивъ встрѣчаемъ мы въ Novel Notes англійскаго юмориста Джерома К. Джерома,—взять только другой тонъ. Старая лѣди, не желающая, чтобы ея добрыя дѣла причиняли ей слишкомъ много хлопотъ, поселила по близости отъ своего жилища специально сфабрикованныхъ для нея атенстовъ, предназначенныхъ для обращенія ею въ истинную вѣру, людей, нарочно превращенныхъ въ пьяницъ только для того, чтобы она могла лѣчить ихъ отъ этого порока и т. п. Иногда въ какой-нибудь смѣшной фразѣ этотъ мотивъ слышится, какъ отдаленный отзвукъ, смѣшиваясь съ наивностью, искренней или дѣланной, служащей ему аккомпаниментомъ. Таковы, напримѣръ, слова одной дамы, которую астрономъ Кассини пригласилъ прійти посмотрѣть на лунное затменіе; она пришла слишкомъ поздно: „Господинъ Кассини будетъ такъ любезенъ начать для меня сначала“, сказала она. Или восклицаніе одного изъ персонажей Гондине, пріѣхавшаго въ городъ и узнавшаго, что въ окрестностяхъ существуетъ потухшій вулканъ: „У нихъ былъ вулканъ и они дали ему потухнуть!“

Перейдемъ къ обществу. Живя въ обществѣ, живя его жизнью, мы не можемъ не смотрѣть на него, какъ на живое существо. Поэтому смѣшнымъ будетъ всякій образъ, который внушитъ намъ представленіе объ обществѣ, какъ о переряженномъ, какъ объ общественномъ маскарадѣ, такъ сказать. Это представленіе возникаетъ у насъ какъ только на поверхности живого общества мы замѣчаемъ признаки инерціи, признаки чего-то дѣланнаго, сфабрикованнаго механическимъ способомъ. Это—та-же инерція, препирающаяся съ внутренней гибкостью жизни. Обрядовая сторона общественной жизни должна всегда заключать въ себѣ козмизмъ въ скрытомъ состояніи, который ждетъ только случая, чтобы вырваться на свѣтъ. Можно сказать, что церемоніи для общественнаго тѣла—то-же, что платье—для тѣла индивидуальнаго. Онѣ обязаны своей значительностью тому, что по привычкѣ отождествляются нами съ тѣмъ важнымъ явленіемъ, съ которымъ онѣ связаны; онѣ теряютъ эту значительность, какъ только наше воображеніе отдѣляетъ ихъ отъ него. Такимъ образомъ, чтобы какая-нибудь цере-

монія едѣлалась комичной, достаточно, чтобы наше вниманіе сосредоточилось именно на ея церемоніальности, чтобы мы отвлеклись отъ ея сущности, говоря философскимъ языкомъ, и думали только о ея формѣ. Я не стану на этомъ останавливаться. Каждый знаетъ, какъ любятъ юмористы изощрять свое остроуміе надъ общественными актами съ установленными формами, начиная съ простого распредѣленія наградъ и кончая судебнымъ засѣданіемъ. Существуетъ столько формъ и формулъ, сколько готовыхъ рамокъ для проявленія смѣшного.

И здѣсь комизмъ усиливается, если приблизить его къ его источнику. Отъ представленія о переряженіи, какъ отъ производнаго, слѣдуетъ обратиться къ первоначальному представленію, т.е. къ представленію о чемъ-то механическомъ, наложенномъ на живое. Уже однѣ строго-размѣренныя формы всякаго церемоніала внушаютъ намъ представленіе этого рода. Едва только мы отвлечемся отъ высокой цѣли даннаго торжества или данной церемоніи, какъ всѣ участники начинаютъ производить на насъ впечатлѣніе движущихся маріонетокъ. Ихъ движенія сообразованы съ неподвижной формулой. Это и есть автоматизмъ. Но примѣромъ законченнаго автоматизма можетъ служить автоматизмъ чиновника, дѣйствующаго на подобіе простой машины, или какой-нибудь административный регламентъ, примѣняемый съ неумолимостью рока и считающійся закономъ природы. Я совершенно случайно натолкнулся въ одной газетѣ на примѣръ комизма этого рода. Лѣтъ десять тому назадъ въ окрестностяхъ Діеппа потерпѣлъ крушеніе одинъ большой пакетботъ. Нѣсколько пассажировъ спаслось съ большимъ трудомъ въ лодкѣ. Таможенные чиновники, отважно пришедшіе имъ на помощь, начали съ того, что спросили ихъ, „имѣютъ-ли они что-нибудь предъявить“. Нѣчто подобное, хотя и въ менѣе грубой формѣ, я нахожу въ слѣдующей фразѣ одного депутата, интерpellировавшаго министра на другой день послѣ громкаго преступленія, совершеннаго въ желѣзнодорожномъ поѣздѣ: „Убийца, покончивъ съ своей жертвой, долженъ былъ соскочить съ поѣзда на боковой путь вопреки желѣзнодорожному регламенту“.

Внѣдреніе механическаго въ природу, автоматическая

регламентация общественной жизни—вотъ два типа забавныхъ эффектовъ, къ которымъ мы приходимъ. Намъ остается, въ заключеніе, соединить ихъ вмѣстѣ и посмотрѣть, что изъ этого выйдетъ.

Слѣдствіемъ ихъ комбинаціи будетъ, очевидно, представленіе о человѣческой регламентации, поставленной на мѣсто самихъ законовъ природы. Вспомните отвѣтъ Сганарелля Жеронту на замѣчаніе послѣдняго, что сердце находится съ лѣвой стороны, а печень—съ правой: „Да, когда-то это было такъ, но мы измѣнили все это и мы лѣчимъ теперь совсѣмъ по новому способу“. Вспомните также консилиумъ двухъ врачей г. де-Пурсоньяка: „Ваше разсужденіе столь учено и столь прекрасно, что невозможно, чтобы больной не оказался ипохондрическимъ меланхоликомъ; если-бы онъ имъ не былъ, то онъ долженъ былъ-бы стать таковымъ,—такъ прекрасно то, что вы говорили и такъ справедливы ваши разсужденія“. Мы могли-бы привести много такихъ примѣровъ; намъ достаточно было-бы для этого вспомнить одного за другимъ всѣхъ мольеровскихъ врачей. Но какъ-ни далеко, повидимому, заходить здѣсь фантазія юмориста, дѣйствительность старается превзойти ее. Одинъ современный философъ, завзятый спорщикъ, которому указывали на то, что его безукоризненно построенныя разсужденія противорѣчатъ опыту, закончилъ споръ словами: „опытъ не правъ“. Дѣло въ томъ, что идея административной регламентации жизни распространена шире, чѣмъ принято думать; по своему она естественна, хотя мы дошли до нея искусственнымъ путемъ обобщенія. Можно сказать, что она даетъ намъ самую квинтъ-эссенцію педантизма, который есть ни что иное, какъ искусство, претендующее исправлять природу.

Резюмируемъ все сказанное: мы имѣемъ здѣсь дѣло съ однимъ и тѣмъ-же эффектомъ, который все болѣе утончается, переходя отъ идеи искусственной механизации человѣческаго тѣла, если такъ можно выразиться, къ идеѣ той или иной подмѣны естественнаго искусственнымъ. Логика, все менѣе и менѣе строгая, все болѣе и болѣе уподобляющаяся логикѣ сновидѣній, переноситъ то-же самое соотношеніе въ сферы все болѣе высокія, въ области по-

нѣтъ все болѣе и болѣе отвлеченныхъ,—административная регламентація становится въ концѣ концовъ въ тоже отношеніе къ принципамъ, и примѣръ, моральному закону, въ какихъ готовое платье находится къ живому тѣлу. Мы прошли до конца одинъ изъ трехъ путей, по которымъ намъ слѣдовало идти. Пойдемъ по второму и посмотримъ, куда мы придемъ.

II.—Механическое, наложенное на живое,—такова и теперь наша исходная точка. Что является здѣсь причиной смѣшного? То что живое тѣло превращается въ косную машину. Мы полагаемъ, что живое тѣло должно быть воплощеніемъ совершенной гибкости, неустанной дѣятельности вѣчно бодрствующаго начала. Но эта подвижность принадлежитъ въ дѣйствительности скорѣе душѣ, чѣмъ тѣлу. Она-то и есть пламя жизни, зажженное въ насъ высшимъ началомъ и видимое сквозь тѣло, какъ черезъ нѣчто прозрачное. Когда мы видимъ въ живомъ тѣлѣ только грацію и гибкость, мы забываемъ о томъ, что есть въ немъ вѣсого, обладающаго сопротивляемостью, однимъ словомъ, матеріальнаго; мы отвлекаемся отъ его матеріальности и имѣемъ въ виду только его жизненность, ту жизненность, которую наше воображеніе приписываетъ самому принципу умственной и моральной жизни. Но предположимъ, что наше вниманіе обращается на матеріальность тѣла. Предположимъ, что тѣло, вмѣсто того чтобы проникнуться подвижностью одухотворяющаго его начала, оказывается только тяжелой и стѣснительной оболочкой, досаднымъ балластомъ, притягивающимъ къ землѣ душу, нетерпѣливо рвущуюся вверхъ. Тогда тѣло станетъ для души тѣмъ, чѣмъ платье, какъ мы видѣли выше, является для тѣла,—пнертной матеріей, налегающей на живую энергію. И впечатлѣніе смѣшного получится у насъ тотчасъ-же, какъ только мы ясно это почувствуемъ. Особенно сильно будетъ это впечатлѣніе, когда мы увидимъ, какъ тѣлесныя потребности дразнятъ душу,—увидимъ съ одной стороны нравственную личность, со всей одухотворенной подвижностью ея энергіи, а съ другой—тупо-однообразное въ своихъ проявленіяхъ тѣло, постоянно все задерживающее своимъ упрямствомъ машины. Чѣмъ эти требованія тѣла будутъ мелоч-

нѣе, чѣмъ однообразнѣе они будутъ повторяться, тѣмъ ярче будетъ эффектъ. Но это — лишь вопросъ степени, общій же законъ этихъ явленій могъ бы быть формулированъ слѣдующимъ образомъ: Комично каждое, привлекающее наше вниманіе, проявленіе физической стороны личности, когда дѣло идетъ о ея моральной сторонѣ.

Почему мы смѣемся надъ ораторомъ, который чихаетъ въ самый патетическій моментъ своей рѣчи? Почему комична фраза изъ надгробной рѣчи, приводимая нѣмецкимъ философомъ: „Il était vertueux et tout rond“ <sup>1)</sup>? Потому-что въ обоихъ случаяхъ наше вниманіе внезапно отвлекается отъ души къ тѣлу. Въ повседневной жизни сколько угодно такихъ примѣровъ. Но кто не желаетъ трудиться искать ихъ, тотъ можетъ открыть наудачу любой томъ сочиненій Лабинша. Онъ почти навѣрное натолкнется на какой-нибудь эффектъ подобнаго рода. Вотъ ораторъ, прекраснѣйшая рѣчь котораго вдругъ прерывается дергающей зубной болью; вотъ человѣкъ, который каждый разъ какъ начинаетъ говорить, обязательно прерываетъ свою рѣчь жалобой то на слишкомъ узкіе ботинки, то на слишкомъ тѣсный поясъ и т. п. Человѣкъ, котораго стѣсняетъ его тѣло, — вотъ образъ внушаемый намъ всѣми этими примѣрами. Если чрезмѣрная полнота смѣшна, то потому, безъ сомнѣнія, что она вызываетъ образъ того-же рода. И я думаю, что по той-же причинѣ бываетъ иногда смѣшна застѣнчивость. Застѣнчивый человѣкъ производитъ иногда впечатлѣніе человѣка, котораго очень стѣсняетъ его собственное тѣло: онъ словно ищетъ мѣсто, гдѣ-бы помѣстить его.

Поэтому-то поэту-трагику приходится тщательно избѣгать всего, что можетъ привлечь наше вниманіе къ матеріальной сторонѣ его героевъ. Какъ только тѣло начинаетъ предъявлять свои права, слѣдуетъ опасаться, что въ трагедію просочится комизмъ. Поэтому герои трагедіи не пьютъ, не ѣдятъ, не грѣются. Насколько возможно, они даже не

---

<sup>1)</sup> Эта фраза можетъ быть понята двояко: „Онъ былъ добродѣтеленъ и прямодушенъ“ и „онъ былъ добродѣтеленъ и очень толстъ“. Прим. переводчика.

сдаются. Състь, произнося тираду, значить вспомнить о своемъ тѣлѣ. Наполеонъ, который былъ знаткомъ человѣческой души, замѣтилъ, что достаточно състь, чтобы перейти отъ трагедіи къ комедіи. Вотъ что онъ говоритъ объ этомъ въ Неизданномъ Дневникѣ барона Гурго (рѣчь идетъ о свиданіи съ прусской королевой послѣ Іены): „Она приняла меня и обратилась ко мнѣ въ трагическомъ тонѣ, какъ Химена: „Государь! Справедливость! Справедливость! Магдебургъ!“ И продолжала въ томъ-же тонѣ, который меня очень стѣснялъ. Наконецъ, чтобы успокоить ее, я попросилъ ее състь. Ничѣмъ скорѣе нельзя прервать трагическую сцену, потому-что достаточно състь, какъ она превращается въ комедію“.

Расширимъ теперь это представление—тѣло, берущее перевѣсъ надъ душой. Мы получимъ нѣчто еще болѣе общее: форму, стремящуюся господствовать надъ содержаніемъ, букву, спорящую съ духомъ. Не это-ли представление внушается комедіей, осмѣивающей какую-нибудь профессію? Въ уста адвоката, судьи, врача вкладываются слова о томъ, что здоровье и правосудіе—только мелочи, а главное—чтобы были враги, адвокаты, судьи и чтобы внѣшнія формы профессіи соблюдались строжайшимъ образомъ. Средство, такимъ образомъ, замѣняетъ цѣль, форма—сущность, и выходитъ, что не профессія создана для публики, а публика для профессіи. Постоянная забота о формѣ, чисто машинальное примѣненіе правилъ создаютъ здѣсь родъ профессиональнаго автоматизма, похожаго на автоматизмъ, который навязываютъ духу привычки тѣла, и такого-же смѣшного. Примѣрами этого рода богаты комедіи. Не входя въ подробный разборъ всевозможныхъ варіацій на эту тему, приведемъ двѣ или три выдержки, въ которыхъ самая тема формулирована во всей своей простотѣ: „Мы должны только лѣзть по правиламъ“ говоритъ Діаффарусъ въ Мнимомъ Больномъ, а Батсъ, въ пьесѣ Любовь - Цѣлительница утверждаетъ: „Лучше умереть по правиламъ, чѣмъ выздороветь противъ правилъ“. „Надо всегда соблюдать формальности, что-бы ни случилось“, говоритъ въ той-же комедіи Дефонандресъ. А его собратъ Томесъ, объясняетъ, почему это такъ нужно: „Умерь

человѣкъ, такъ и умеръ, не велика важность! А пренебреженіе формальностью—это страшный вредъ всему врачебному сословію“. Не менѣе характерны слова Бридуазона, хотя они заключаютъ въ себѣ нѣсколько иную мысль: „Фо-о-рма, видите-ли, фо-о-рма! Иной смѣется надъ судьей въ короткомъ платьѣ и дрожитъ при одномъ видѣ прокурора въ тогѣ. Фо-о-рма, фо-о-рма“.

Но здѣсь мы имѣемъ первое примѣненіе закона, который, надѣюсь, будетъ все болѣе выясняться по мѣрѣ того, какъ мы будемъ подвигаться впередъ въ нашемъ изслѣдованіи. Когда музыкантъ беретъ на инструментъ какую-нибудь ноту, другія ноты возникаютъ сами собой, менѣе звучныя, чѣмъ первая, связанныя съ ней извѣстными определенными отношеніями, и эти ноты сообщаютъ первой, присоединяясь къ ней, ея тѣмбръ. Это то, что въ физикѣ называется гармоническими тонами основного звука. Я думаю, что юмористическая фантазія, вплоть до самыхъ причудливыхъ своихъ вымысловъ, подчиняется подобнаго-же рода закону. Вдумайтесь, напримѣръ, въ комическую ноту—форма, стремящаяся господствовать надъ содержаніемъ. Если нашъ анализъ вѣренъ, то гармоническимъ тономъ по отношенію къ ней будетъ: тѣло, спорящее съ духомъ, тѣло, берущее верхъ надъ духомъ. Разъ поэтъ-юмористъ взялъ первую ноту, онъ инстинктивно и невольно присоединитъ къ ней вторую. Иными словами, смѣшное профессиональное онъ удвоитъ еще смѣшнымъ физическимъ.

Когда судья Бридуазонъ начинаетъ на сценѣ заикаться, то—не правда-ли?—своимъ заиканіемъ онъ уже подготавливаетъ насъ къ пониманію той умственной косности, зрѣлище которой онъ намъ дастъ. Какое тайное родство можетъ, дѣйствительно, связывать этотъ физическій недостатокъ съ духовной узостью? Не знаю, но чувствуется, что это отношеніе существуетъ, хотя его и нельзя выразить словами. Можетъ-быть нужно было, чтобы этотъ машинный судья явился намъ въ то-же время и говорящей машиной. Какъ-бы то ни было, никакой другой гармоническій тонъ не могъ-бы лучше дополнить основной звукъ.

Когда Мольеръ выводитъ въ Любви-Цѣлитель-

ницѣ двухъ смѣшныхъ врачей—Батса и Макротона, онъ заставляетъ одного изъ нихъ говорить очень медленно, какъ-бы скандируя каждый слогъ, тогда какъ другой говорить очень быстро и невнятно. Тотъ-же контрастъ—между двумя адвокатами въ пьесѣ Господинъ де-Пурсоньякъ. Физическая странность, назначеніе которой — дополнять смѣшное - профессиональное, заложена почти всегда въ ритмѣ рѣчи. И гдѣ авторъ не указалъ подобнаго рода недостатка, тамъ актеръ обыкновенно инстинктивно старается придумать его.

Существуетъ, слѣдовательно, подлинное, легко постигаемое родство между этими двумя, сближаемыми нами представленіями: духомъ застывающимъ въ тѣхъ или иныхъ формахъ, и тѣломъ, утрачивающимъ гибкость благодаря извѣстнымъ недостаткамъ. Отвлекается-ли наше вниманіе отъ сущности къ формѣ или отъ моральной стороны личности къ физической, въ обоихъ случаяхъ наше воображеніе получаетъ одно и то-же впечатлѣніе: въ обоихъ случаяхъ родъ комизма одинъ и тотъ-же. Здѣсь мы также старались точно слѣдовать естественному направленію нашего воображенія. Это направленіе, какъ вы помните, было направленіемъ второго пути изъ трехъ, открывшихся передъ нами по различнымъ сторонамъ нашего центрального представленія. Передъ нами открытъ еще третій и послѣдній путь. Теперь мы вступаемъ на него.

III.—Возвращаемся-же въ послѣдній разъ къ нашему центральному представленію: къ механическому, наложенному на живое. Живое существо, о которомъ здѣсь преимущественно шла рѣчь, это человѣческое существо, личность. Механическое-же приспособленіе, напротивъ, вещь. Нашъ смѣхъ возбуждало мгновенное преображеніе личности въ вещь, если угодно взглянуть на это подъ такимъ угломъ зрѣнія. Перейдемъ теперь отъ точнаго понятія механизма къ неопредѣленному понятію вещи вообще. Мы получимъ новый рядъ смѣшныхъ образовъ, обращающихся вслѣдствіе, такъ сказать, затушовки контуровъ первыхъ представленій; и они приведутъ насъ къ новому закону: мы смѣемся всякій разъ, когда личность производитъ на насъ впечатлѣніе вещи.

Мы смѣемся надъ Санчо-Пансо, когда его бросаютъ на одѣяло и подкидываютъ въ воздухѣ, какъ простой мячъ. Мы смѣемся надъ барономъ Мюнхгаузеномъ, когда онъ превращается въ пушечное ядро и летитъ въ пространство. Но нѣкоторые упражненія цирковыхъ клоуновъ позволяютъ намъ, пожалуй, еще точнѣе провѣрить этотъ законъ. Для этого надо отвлечься отъ шутокъ, которыми клоунъ разукрашиваетъ самое существенное въ своей игрѣ, обратить вниманіе на это существенное, т.-е. на позы, прыжки и различныя движенія, которыя составляютъ собственно „клоунское“ въ искусствѣ клоуна. Только дважды пришлось мнѣ наблюдать этотъ комическій жанръ въ чистомъ видѣ и въ обоихъ случаяхъ я получилъ одно и то-же впечатлѣніе. Вѣ первый разъ клоуны ходили взадъ и впередъ, толкали другъ дружку, падали, отскакивали другъ отъ друга, ритмически-равномѣрно ускоряя свои движенія, съ явнымъ намѣреніемъ достигъ *crescendo*. И постепенно вниманіе публики все болѣе и болѣе направлялось на отскакиваніе. Мало по малу забывалось, что это люди изъ плоти и крови. Казалось, что это падающіе и сталкивающіеся между собою туки. Обманъ зрѣнія все усиливался. Формы, казалось, округлялись, тѣла катались, какъ-бы превращаясь въ шары. Наконецъ, появилось то, къ чему вела—несомнѣнно безсознательно—вся эта сцена: резиновые шары, перебрасываемые во всѣхъ направленіяхъ одинъ навстрѣчу другому.—Вторая сцена, еще болѣе грубая, была не менѣе поучительна. Вышли два человѣка съ огромными, совершенно лысыми головами. Они были вооружены здоровыми палками и каждый, поочередно, билъ своей палкой по головѣ другого. И здѣсь соблюдалась постепенность. Послѣ cadaго удара тѣла, казалось, становились тяжелѣе, утрачивали подвижность, словно все больше и больше отвердѣвали. Отвѣтный ударъ съ каждымъ разомъ все болѣе запаздывалъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ становился все тяжелѣе и звучнѣе. Черепа страшно гудѣли въ притихшей залѣ. Наконецъ, уже совершенно негнушіяся и медлительныя, прямыя, какъ колъ, тѣла склонились одно къ другому, палки въ послѣдній разъ съ трескомъ ударили по головамъ, какъ огромные молоты по дубовымъ бревнамъ, и все повалилось на полъ. Въ эту

минуту съ полной ясностью обрисовалось то представление, которое артисты постепенно вколачивали въ воображеніе зрителей: „мы сейчас обратимся, мы уже обратились въ массивные деревянные манекены“.

Неразвитые умы могутъ смутнымъ инстинктомъ постигнуть здѣсь нѣкоторые тончайшіе выводы психологін. Извѣстно, что простымъ внушеніемъ можно вызвать у за-гипнотизированнаго человѣка зрительныя галлюцинаціи. Ему говорить, что у него на рукѣ сидитъ птица, и онъ видитъ птицу, видитъ, какъ она улетаеть. Но далеко не всегда внушенію слѣдуютъ съ такой покорностью. Часто бываетъ, что гипнотизеру удается внѣдрить его лишь незамѣтно, постепенно. Онъ начинаетъ въ такомъ случаѣ, съ предметовъ, дѣйствительно видимыхъ гипнотизируемымъ и стараемся дѣлать воспріятіе этихъ предметовъ все болѣе и болѣе смутнымъ: потомъ, шагъ за шагомъ, онъ вызываетъ изъ тумана точныя очертанія предмета, галлюцинаціи котораго онъ хочетъ вызвать. Нѣкоторые люди часто видятъ въ полѣ своего зрѣнія, передъ тѣмъ какъ заснуть, безформенныя, колышущіяся, окрашенныя въ разныя цвѣта массы, незамѣтно постепенно отвердѣвающія и принимающія формы опредѣленныхъ предметовъ. Постепенный переходъ отъ неяснаго къ отчетливому—наилучшій способъ внушенія. Я думаю, что именно онъ лежитъ въ основѣ многочисленныхъ способовъ внушенія комическаго свойства, особенно-же внушенія грубо-комическаго, когда кажется, что человѣкъ превращается въ вещь. Но существуютъ другіе, болѣе тонкіе приемы,—у поэтовъ, напримѣръ, — которые употребляются, быть можетъ безсознательно, для той-же цѣли. Посредствомъ извѣстныхъ сочетаній ритма, риемы, созвучій, можно убавлять наше воображеніе, укачавъ его однообразіемъ, и подготовить его такимъ образомъ къ покорному воспріятію внушаемаго образа. Прочтите нижеслѣдующіе стихи Реньяра и замѣтите, какъ въ вашемъ воображеніи пронесется образъ куклы:

... Plus, il doit à maints particuliers  
La somme de dix mil une livre une obole,  
Pour l'avoir sans relâche un an sur sa parole  
Habillé, voituré, chauffé, chaussé, ganté,

Alimenté, rasé, désalteré, porté.

(Больше того, онъ долженъ многимъ частнымъ лицамъ сумму въ десять тысячъ одинъ фунтъ и одинъ оболь за то, что они безъ перерыва цѣлый годъ, по его слову, одѣвали его, катали въ каретахъ, грѣли, обували, снабжали перчатками, кормили, брили, поили, носили).

Не видите-ли вы нѣчто въ томъ-же родѣ въ слѣдующемъ куплетѣ Фигаро (хотя здѣсь, пожалуй, внушается скорѣе образъ животного, чѣмъ вещи): „Что это за человекъ?—Это красивый, толстый, маленькій, моложавый старичокъ, сѣдоватый, хитрый, бритый, пресыщенный, который вѣчно подстерегаетъ, разнюхиваетъ и рычитъ и скулилъ въ одно и то-же время.

Между тѣмъ очень грубыми сценами и этими очень тонкими приемами внушенія размѣщается безчисленное множество забавныхъ эффе́ктовъ,—всѣ тѣ, которые получаются, когда говорятъ о людяхъ совершенно такъ-же, какъ говорить о вещахъ. Возьму одинъ или два примѣра изъ пьесъ Лабиша, въ которыхъ ихъ очень много. Г. Перришонъ, передъ тѣмъ какъ сѣсть въ вагонъ, хочетъ увѣриться, не забылъ-ли онъ что-нибудь изъ вещей: „четыре, пять, шесть,—считаетъ онъ,—моя жена—семь, дочь—восемь, я—девять“. Въ другой пьесѣ отецъ восхваляетъ ученость своей дочери въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Она вамъ, не запнувшись, перечислитъ всѣхъ королей Франціи, которые имѣли мѣсто“. Это которые имѣли мѣсто, хотя и не превращаетъ вполне королей въ простыя вещи, но уподобляетъ ихъ безличнымъ событіямъ.

Замѣтимъ по поводу послѣдняго примѣра: нѣтъ необходимости идти до конца въ отождествленіи личности съ вещью, чтобы получилось комическое впечатлѣніе. Достаточно только вступить на этотъ путь, показать, что сравниваешь личность съ должностью, которую она занимаетъ. Я ограничусь однимъ примѣромъ—фразой деревенскаго мэра въ одномъ изъ романовъ Абу: „Г-нъ Префектъ, который всегда былъ съ нами неизмѣнно благосклоненъ, хотя его и мѣняли нѣсколько разъ съ 1847 г.“.

Всѣ приведенныя нами фразы построены по одному и тому-же образцу. Теперь, когда мы знаемъ формулу, мы

могли-бы составить безчисленное множество ихъ. Но искусство рассказчика и водевилиста не сводится къ простому составленію фразъ. Трудность заключается въ томъ, чтобы вложить въ эти фразы силу внушенія, т. - е. сдѣлать ихъ пріемлемыми для насъ. Воспринимаемъ-же мы ихъ только потому, что онѣ кажутся намъ вытекающими изъ извѣстнаго душевнаго состоянія или изъ извѣстныхъ обстоятельствъ. Такъ, мы знаемъ, что г. Перришонъ очень взволнованъ, отправляясь въ свое первое путешествіе. Выраженіе „имѣли мѣсто“ одно изъ тѣхъ, которыя должны были часто повторяться, когда дочь зубрила уроки въ присутствіи своего отца; оно наводитъ нашу мысль именно на зубрежку. И наконецъ, преклоненіе предъ административной машиной можетъ дойти, вообще говоря, до того, чтобы заставить насъ повѣрить, что въ префектѣ ничто не измѣняется, когда онъ мѣняетъ имя, и что должность отправляется независимо отъ должностнаго лица.

Мы далеко ушли отъ первоначальной причины смѣха. Та или иная форма комическаго, непонятная сама по себѣ, становится понятной только по сходству ея съ другой формой, которая тоже заставляетъ насъ смѣяться только въ силу своего родства съ третьей и такъ далѣе; этотъ рядъ можетъ быть очень длиненъ; такимъ образомъ, какъ бы ни былъ ясенъ и глубокъ нашъ психологическій анализъ, мы неизбѣжно впадаемъ въ путаницу, если не будемъ держаться нити, по которой комическое впечатлѣніе переходитъ отъ одного конца ряда къ другому. Откуда это непрерывное движеніе впередъ? Каково то давленіе, та странная движущая сила, которая заставляетъ комическое скользить такимъ образомъ отъ одного образа къ другому, все больше отдаляясь отъ исходной точки, пока оно не раздробится и не затеряется въ безконечно отдаленныхъ подобіяхъ. И какова та сила, которая раздѣляетъ и подраздѣляетъ вѣтви дерева на мелкія вѣтки, корень его—на корешки? Непреоборимый законъ заставляетъ всякую живую энергію, какъ-бы коротко ни было отведенное ей время, захватить возможно большее пространство. Комическая-же фантазія есть тоже живая энергія—своеобразное растеніе, мощно разросшееся на каменистыхъ мѣстахъ соціальной почвы въ ожи-

даніи того момента, когда культура позволить ему соперничать съ самыми утонченными произведеніями искусства. Правда, въ тѣхъ примѣрахъ комическаго, которые прошли передъ нашими глазами, мы еще далеки отъ великаго искусства. Но въ слѣдующей главѣ мы подойдемъ къ нему ближе, хотя и не вступимъ еще въ его область. Ниже искусства стоитъ искусственность. Мы вступаемъ теперь въ эту область искусственности, занимающей промежуточное положеніе между природой и искусствомъ. Мы будемъ говорить о водевиллистахъ и объ остроумныхъ людяхъ.

---

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

### Комическое положеніе и комическія рѣчи.

Мы разсмотрѣли, какъ проявляется комическое въ формахъ, позахъ, въ движеніяхъ вообще. Мы должны теперь изслѣдовать комическое въ дѣйствіяхъ и положеніяхъ. Конечно, этотъ родъ комическаго довольно часто встрѣчается въ повседневной жизни. Но не здѣсь, пожалуй, оно лучше всего поддается анализу. Если справедливо, что театръ представляетъ жизнь въ увеличенномъ и упрощенномъ видѣ, то комедія сможетъ дать намъ, въ этомъ частномъ пунктѣ, больше поучительнаго матеріала, чѣмъ дѣйствительность. Быть можетъ слѣдуетъ даже провести упрощеніе еще дальше, вернуться къ самымъ раннимъ нашимъ воспоминаніямъ, поискать въ играхъ, которыми забавляются дѣти, первый набросокъ комбинацій, вызывающихъ смѣхъ у человѣка взрослого. Слишкомъ часто мы говоримъ о нашихъ чувствахъ удовольствія и страданія такъ, какъ если-бы они рождались въ насъ уже совершенно готовыми, какъ если-бы каждое изъ нихъ не имѣло своей исторіи. Слишкомъ часто, мы не сознаемъ, сколько еще, такъ сказать, ребяческаго въ нашихъ радостныхъ переживаніяхъ. Сколько удовольствій взрослого человѣка, если взглянуть въ нихъ поближе, окажется только воспоминаніемъ объ удовольствіяхъ былыхъ! Что осталось-бы отъ многихъ нашихъ переживаній, если-бы мы свели ихъ къ тому, что есть въ нихъ непо-

средственно чувствуемаго, и отбросили отъ нихъ то, что является просто воспоминаніемъ? Кто знаетъ даже, не станемъ-ли мы, начиная съ извѣстнаго возраста, непроницаемыми для свѣжей, новой радости, и могутъ-ли быть самыя пріятныя удовольствія взрослого человѣка чѣмъ-нибудь другимъ, какъ ни оживающими чувствами дѣтства—благоуханнымъ вѣяніемъ, которое рѣже и рѣже посылаетъ намъ все болѣе и болѣе удаляющееся отъ насъ прошлое. Каковъ-бы ни былъ отвѣтъ на этотъ очень общій вопросъ, одно несомнѣнно: не можетъ быть порвана непрерывность связи между удовольствіемъ, доставляемымъ ребенку играми, и удовольствіемъ такого-же характера взрослого человѣка. Комедія и есть игра,—игра, воспроизводящая жизнь. И если куклы и пясуны, которыми играютъ дѣти, приводятся въ движеніе посредствомъ веревочекъ, то не окажутся-ли такими-же веревочками, только утонченными продолжительнымъ употребленіемъ, тѣ нити, которыми связаны различныя положенія въ комедіи. Итакъ, начнемъ съ игръ ребенка. Прослѣдимъ тотъ медленный процессъ, въ ходѣ котораго его пясуны растутъ, оживаютъ и приходятъ, наконецъ, къ тому неопредѣленному состоянію, когда, не переставая быть пясунами, они становятся, тѣмъ не менѣе, людьми. Мы получимъ такимъ образомъ дѣйствующихъ лицъ комедіи. И мы сможемъ провѣрить на нихъ законъ, который можно было предугадать на основаніи всего нашего предыдущаго анализа,—законъ, которымъ мы опредѣлимъ положенія, обычныя въ водевиляхъ: Будетъ комическимъ всякій распорядокъ дѣйствій и событій, который даетъ намъ внѣдренныя другъ въ друга иллюзію жизни и ясное впечатлѣніе механическаго распорядка.

1. Чортикъ на пружинѣ. — Всѣ мы нѣкогда забавлялись чортикомъ, выскакивающимъ изъ коробки. Придавишь его, онъ вскакиваетъ. Нажмешь на него сильнѣе, онъ привскочетъ выше. Придавишь его крышкой, онъ иной разъ подброситъ ее вверхъ. Не знаю, очень-ли стара эта игрушка; но родъ забавы, которая заключается въ ней, существуетъ, несомнѣнно, съ незапамятныхъ временъ. Это—столкновеніе двухъ видовъ упорства, изъ которыхъ одинъ,

чисто механический въ концѣ концовъ все-таки уступаетъ другому, который забавляется этимъ. Кошка, играющая мышью, забавляется такъ - же, когда, давая мышѣ отбѣжать,—какъ если-бы она была на пружинѣ,—ударомъ лапы останавливаетъ ее.

Перейдемъ теперь къ театру. Мы должны начать съ Гиньоля <sup>1)</sup>. Какъ только комиссаръ осмѣливается высунуть носъ на сцену, онъ получаетъ тотчасъ - же, какъ и предполагается, ударъ палкой, который валить его съ ногъ. Онъ вскакиваетъ,—второй ударъ опять сшибаетъ его съ ногъ. Новая попытка—новое возмездіе. Сообразно ритму пружины, которая то сжимается, то разжимается, комиссаръ валится и снова встаетъ, тогда какъ смѣхъ зрителей все усиливается.

Вообразимъ себѣ теперь пружину моральнаго характера,—идею, которая проявляетъ себя, которую подавляютъ и которая снова проявляется; потокъ словъ, который прорывается, который останавливаютъ и который снова рвется впередъ. Здѣсь мы снова представляемъ себѣ силу, упрямо сопротивляющуюся и другую, упорно съ ней борющуюся. Но этотъ образъ теряетъ здѣсь свою матеріальность. Это уже не кукольный театръ, это комедія въ подлинномъ смыслѣ слова.

И дѣйствительно, множество комическихъ сценъ сводится къ этому простому типу. Такъ въ сценѣ между Сганарелемъ и Панкрасомъ, въ комедіи Вынужденный бракъ, весь комизмъ заключается въ столкновеніи между намѣреніемъ Сганареля заставить философа выслушать его, и упрямствомъ философа, настоящей говорильной машины, дѣйствующей автоматически. По мѣрѣ того какъ дѣйствіе развивается, все яснѣе обрисовывается образъ чертика на пружинѣ и въ концѣ концовъ дѣйствующія лица начинаютъ продѣлывать то-же самое, что онъ: Сганарель выталкиваетъ Панкраса за кулисы, Панкрасъ снова возвращается на сцену, чтобы продолжать свою болтовню. И когда Сганарелю удастся втолкнуть Панкраса въ домъ (я чуть было не сказалъ въ коробочку) и запереть его тамъ, голова Пан-

<sup>1)</sup> Кукольный театръ.—Прим. переводчика.

краса вдругъ появляется въ окнѣ, которое раскрывается, словно крышка коробочки.

Ту-же игру мы видимъ въ Мнимомъ больномъ. Оскорбленная медицина устами Пюргона изливаетъ на Аргана угрозы всѣми болѣзнями. И каждый разъ, когда Арганъ поднимается съ кресла какъ-бы для того, чтобы заткнуть ротъ Пюргону, послѣдній на мгновеніе исчезаетъ, какъ если-бы его кто-нибудь выталкивалъ за кулисы, потомъ, словно движимый пружиной, снова появляется на сценѣ съ новыми проклятьями. Одно и то-же, непрерывно повторяемое восклицаніе: „Господинъ Пюргонъ!“ подчеркиваетъ всѣ характерные моменты этой сценки.

Присмотримся поближе къ этому образу пружины, которая сжимается, разжимается и снова сжимается. Выдѣлимъ изъ него его сущность. Мы получимъ одинъ изъ обычныхъ пріемовъ классической комедіи—повтореніе.

Въ чемъ, собственно, комизмъ повторенія одного и того-же слова на сценѣ? Тщетно стали-бы мы искать среди теорій комическаго удовлетворительнаго отвѣта на этотъ простой вопросъ. И вопросъ остается дѣйствительно неразрѣшимымъ, пока мы ищемъ объясненія какой-нибудь смѣшной черты въ самой этой чертѣ, взятой отдѣльно отъ того, что она намъ внушаетъ. Ни въ чемъ такъ ярко не проявляется неудовлетворительность обычнаго способа объясненія. Дѣло въ томъ, что за исключеніемъ нѣкоторыхъ совершенно специальныхъ случаевъ, на которыхъ мы остановимся впослѣдствіи, простое повтореніе одного и того-же слова никогда не бываетъ само по себѣ смѣшнымъ. Оно вызываетъ нашъ смѣхъ только потому, что символизируетъ извѣстную, совершенно особенную игру элементовъ моральнаго свойства, которая, въ свою очередь, символизируетъ игру вполне вещественную. Это та-же игра кошки съ мышью, та-же игра ребенка, вталкивающего чортика въ коробку; но здѣсь она утончена, одухотворена, перенесена въ область чувствъ и идей. Формулируемъ законъ, который, по нашему мнѣнію, опредѣляетъ главнѣйшіе комическіе эффекты повторенія словъ на сценѣ: въ комическомъ повтореніи словъ имѣются обыкновенно два элемента—подавляемое чувство, которое, подобно

пружинѣ, стремится проявиться, и мысль, которая забавляется тѣмъ, что подавляетъ это чувство.

Когда Дорина рассказываетъ Оргону о болѣзни его жены, а послѣдній безпрестанно перебиваетъ ее, справляясь о здоровьѣ Тартюфа, то его безпрестанно повторяющійся вопросъ: „А Тартюфъ?“ производитъ на насъ совершенно ясное впечатлѣніе выпрямляющейся пружины. Дорина же забавляется тѣмъ, что снова сжимаетъ эту пружину, возобновляя каждый разъ свой рассказъ о болѣзни Эльмиры. И когда Скапенъ объявляетъ старику Жеронту, что его сынъ взять въ плѣнъ на пресловутую галеру, что его надо немедленно выкупить, онъ играетъ со скупостью Жеронта совершенно такъ-же, какъ Дорина съ слѣпымъ упорствомъ Оргона. Скупость, едва подавленная, тотчасъ-же снова проявляется автоматически и именно этотъ-то автоматизмъ хотѣлъ подчеркнуть Мольеръ машинальнымъ повтореніемъ фразы, выражающей сожалѣніе о деньгахъ, которыя придется отдавать: „Но за какимъ чортомъ пошелъ онъ на эту галеру?“ То-же мы видимъ въ сценѣ, когда Валеръ доказываетъ Гарпагону, что онъ не долженъ отдавать свою дочь замужъ за челоуѣка, котораго она не любитъ. „Безъ приданнаго!“ Безпрестанно прерываетъ его скупецъ Гарпагонъ. И за этимъ, автоматически повторяющимся словомъ, намъ чудится цѣлый механизмъ повтореній, заводимый навязчивой идеей.

Правда, иногда бываетъ труднѣе подмѣтить этотъ механизмъ. И мы подходимъ здѣсь къ новому затрудненію въ теоріи комическаго. Бываютъ случаи, когда весь интересъ сцены сосредоточивается на одномъ только дѣйствующемъ лицѣ, которое раздваивается, при чемъ собесѣдникъ его играетъ роль такъ сказать простой призмы, при помощи которой и происходитъ это раздвоеніе. Мы рискуемъ тогда попасть впросакъ, если секретъ получающагося эффекта будемъ искать въ томъ, что мы видимъ и слышимъ, во внѣшней сценѣ, происходящей между дѣйствующими лицами, а не въ той чисто внутренней комедіи, которая только преломляется въ этой сценѣ. Напримѣръ, когда Оронтъ спрашиваетъ Альцеста, находятъ-ли онъ его стихи

плохими, а Альцестъ упрямо твердить: „Я этого не говорю!“—повтореніе здѣсь комично, а между тѣмъ ясно, что Оронтъ не ведетъ здѣсь съ Альцестомъ той игры, о которой мы говорили выше. Но надо быть здѣсь осторожнымъ. Въ Альцестѣ, въ дѣйствительности, два человѣка—съ одной стороны „мизантропъ“, который поклялся говорить отнынѣ людямъ въ глаза всю правду, съ другой-же стороны—джентльменъ, который не можетъ сразу отбросить извѣстныя формы вѣжливости, или даже можетъ быть просто хорошій человѣкъ, который въ рѣшительный моментъ, когда надо-бы перейти отъ теоріи къ дѣйствию, не рѣшается задѣть самолюбіе, причинить непріятность. Сцена происходитъ здѣсь въ сущности не между Альцестомъ и Оронтомъ, а между Альцестомъ и Альцестомъ же. [Одинъ изъ этихъ Альцестовъ хотѣлъ-бы высказаться съ полной откровенностью, а другой затыкаетъ ему ротъ какъ разъ въ тотъ моментъ, когда онъ хочетъ сказать все. Каждое изъ этихъ: „Я этого не говорю!“ есть постепенно возрастающее усиліе не дать проявиться чему-то, что рвется наружу. Тонъ этихъ: „Я этого не говорю!“ становится все болѣе возмущеннымъ, Альцестъ все болѣе сердится—не на Оронта, какъ ему кажется, а на самого себя. Пружина такимъ образомъ съ каждымъ разомъ напрягается все сильнѣе и сильнѣе, пока [не выпрямится совершенно. Механизмъ повторенія и здѣсь, слѣдовательно, тотъ-же.

Если человѣкъ рѣшаетъ говорить всегда только то, что думаетъ, хотя-бы для этого пришлось „рѣзко порвать со всѣмъ человѣческимъ родомъ“,—въ этомъ еще нѣтъ ничего собственно комическаго; это черта жизненная и прекрасная. Если человѣкъ, по мягкости характера, или изъ эгоизма, изъ пренебреженія къ людямъ предпочитаетъ говорить имъ то, что имъ льститъ,—это тоже сама жизнь и это не заставитъ насъ смѣяться. Склейте даже этихъ двухъ человѣкъ въ одного, пусть этотъ человѣкъ постоянно колеблется между причиняющей страданія откровенностью и лицемерной вѣжливостью, эта борьба двухъ противоположныхъ средствъ еще не будетъ комична; она будетъ казаться намъ очень серьезной, если эти два чувства успѣваютъ въ силу самой своей противоположности, сложиться

въ нѣчто цѣнное, развиться въ одинаковой степени, объединиться въ смѣшанное душевное состояніе, привести, наконецъ, къ извѣстному *modus vivendi*, дающему намъ подлинное впечатлѣніе самой жизни. Но предположите теперь, что въ живомъ человѣкѣ эти оба чувства косны и упорно борются между собой; пусть человѣкъ этотъ колеблется отъ одного изъ этихъ чувствъ къ другому; пусть это колебаніе станетъ чисто механическимъ, примѣтъ простой несложный, дѣтскій характеръ; вы получите на этотъ разъ образъ, который мы находили во всѣхъ смѣшныхъ вещахъ, — механическое въ живомъ, вы получите комическое.

Мы достаточно подробно разсмотрѣли образъ чортика на пружинѣ, чтобы выяснитъ, какъ фантазія, творящая смѣшное, превращаетъ мало по мало механизмъ вещественный въ механизмъ моральный. Мы разсмотримъ теперь еще одну-другую игру, но ограничимся при этомъ лишь самыми общими замѣчаніями.

II. Картонный плясунъ. — Въ комедіяхъ очень часто встрѣчаются сцены, въ которыхъ то или иное дѣйствующее лицо думаетъ, что говорить и дѣйствуетъ свободно, и оно кажется намъ, поэтому, вполне живымъ существомъ; между тѣмъ, если взглянуть на него съ извѣстной стороны, то оно окажется простой игрушкой въ рукахъ другого лица, которое имъ забавляется. Отъ картоннаго плясуна, котораго дергаетъ за веревочку ребенокъ, до Жеронта и Арганта, которыхъ водить за носъ Скапенъ, переходъ незначителенъ. Послушайте самого Скапена: „Механика слажена“; и еще: „Само небо приводитъ ихъ въ мои сѣти“ и т. д. По природному инстинкту и потому-что каждый, въ воображеніи, по крайней мѣрѣ, предпочитаетъ быть обманываемымъ, чѣмъ обманутымъ, зритель становится на сторону обманщика. Онъ вполне входитъ въ игру и, подобно ребенку, которому его товарищъ одолжилъ свою куклу, самъ уже двигаетъ по сценѣ маріонетку, нити которой онъ забралъ въ руки. Впрочемъ, это послѣднее условіе не обязательно. Мы можемъ также оставаться безучастными къ тому, что происходитъ, лишь-бы только у насъ сохранялось совершенно ясное ощущеніе механичности происходящаго. А это случается всякій разъ, когда дѣйствующее

лицо колеблется между двумя противоположными рѣшеніями, причемъ каждое изъ этихъ рѣшеній поочередно притягиваетъ его къ себѣ: таково положеніе Панурга, когда онъ спрашиваетъ Петра и Павла, слѣдуетъ-ли ему жениться. Замѣтимъ, что въ комедіяхъ авторъ всегда въ такихъ случаяхъ старается олицетворить эти два противоположныя рѣшенія. За отсутствіемъ зрителя, нужны по крайней мѣрѣ актеры, которые держали-бы нити.

Все серьезное въ жизни имѣетъ своимъ источникомъ нашу свободу. Чувства, которымъ мы дали назрѣть въ себѣ, страсти, которыя мы выносили, наши; дѣйствія обдуманныя, подготовленныя, однимъ словомъ, все, что исходить отъ насъ и все, что дѣйствительно наше,—все это даетъ жизни ея характеръ—иногда драматическій, обыкновенно—значительный. Что-же надо, чтобы превратить все это въ комедію? Надо представить себѣ, что видимая свобода прикрываетъ собою веревочки и что мы здѣсь, какъ говорить поэтъ,

...d'humbles marionnetts

Dont le fie est aux mains de la Necessité.

Жалкія маріонетки, нить отъ которыхъ въ рукахъ необходимости).

Нѣтъ, слѣдовательно, такого жизненнаго, серьезнаго, даже драматическаго положенія, которое фантазія не могла бы сдѣлать комическимъ, вызывая передъ нами этотъ простой образъ. Нѣтъ другой игры, которой было бы открыто болѣе широкое поле.

III. Снѣжный комъ.—По мѣрѣ того какъ мы двигаемся впередъ въ изслѣдованіи приемовъ комедіи, намъ становится яснѣе роль, которую играютъ воспоминанія дѣтства. Эти воспоминанія быть можетъ меньше относятся къ той или иной опредѣленной игрѣ, чѣмъ къ примѣняемому въ ней механическому приспособленію. Кромѣ того, одинъ и тотъ-же механизмъ можетъ дѣйствовать въ совершенно различныхъ играхъ, подобно тому какъ одна и та-же оперная арія можетъ повторяться во многихъ музыкальных фантазіяхъ. Что здѣсь важно, что воспринимается умомъ, что переходитъ незамѣтно изъ дѣтскихъ игръ въ игры взрослого человѣка, это — схема комбинаціи или, если

угодно, та отвлеченная формула, частичными примѣненіями которой являются эти игры. Вотъ, напримѣръ, комъ снѣга, который катится и, катясь, все увеличивается. Мы могли-бы также взять оловянныхъ солдатиковъ, разставленныхъ въ рядъ одинъ за другимъ; если толкнуть перваго, онъ падаетъ на втораго, который валитъ третьяго и чѣмъ дальше, тѣмъ положеніе становится все опаснѣе, пока всѣ солдатики не повалятся. Или возьмемъ старательно построенный карточный домикъ: первая тронутая нами карта какъ-бы колеблется упасть; ея потревоженная сосѣдка рѣшается быстрѣе, и разрушительная работа, ускоряясь по мѣрѣ движенія впередъ, съ головокружительной быстротой приводитъ къ окончательной катастрофѣ. Все это совершенно различные примѣры, но всѣ они вызываютъ у насъ, если такъ можно сказать, одинъ и тотъ-же отвлеченный образъ—дѣйствія, которое, распространяясь все дальше и дальше, все болѣе и болѣе усиливается, такъ что причина, ничтожная вначалѣ, съ неизбѣжностью приводитъ къ результатамъ столь-же важнымъ, сколь и неожиданнымъ. Возьмемъ какую-нибудь книжку съ картинками для дѣтей; мы увидимъ, что подобный родъ механизма приводитъ уже къ комической сценѣ. Вотъ напримѣръ (беру наудачу, одну изъ „серій Эпинала“) гостинная, куда стремительно входитъ гость; онъ наталкивается на даму, которая опрокидываетъ свою чашку чая на стараго господина, послѣдній надавливая на оконное стекло, оно падаетъ на улицу, на голову городского, который поднимаетъ на ноги всю полицію и т. д. Тотъ-же родъ механизма мы видимъ часто въ рисункахъ для взрослыхъ.

Въ „исторіяхъ безъ словъ“ художниковъ-юмористовъ очень часто фигурируетъ какой-нибудь перемѣщающійся предметъ и связанныя съ нимъ дѣйствующія лица: отъ одной сцены къ другой перемѣна въ положеніи предмета механически ведетъ ко все болѣе и болѣе важнымъ измѣненіямъ отношеній между дѣйствующими лицами. Перейдемъ теперь къ комедіи. Сколько смѣшныхъ сценъ, сколько даже комедій цѣликомъ сводятся къ этому простому типу! Прочитайте разсказъ Шикано въ Сутягахъ: здѣсь одно судебное дѣло тянется за собой другое, какъ зубчатая ко-

деса, и механизмъ работаетъ все быстрѣе и быстрѣе (Расинъ создаетъ впечатлѣніе возрастающаго ускоренія, употребляя все чаще и чаще судебные термины), пока искъ предъявленный изъ-за какой-то связки сѣна, не лишаетъ истца почти всего его состоянія. Тотъ-же приемъ мы видимъ въ нѣкоторыхъ сценахъ Донъ-Кихота, напри-мѣръ, въ сценѣ въ гостинницѣ, гдѣ совершенно особое сте-ченіе обстоятельствъ приводитъ къ тому, что погонщикъ наноситъ ударъ Санчо, послѣдній наноситъ ударъ Мари-торнѣ, на которую набрасывается хозяинъ гостинницы и т. д. Перейдемъ, наконецъ, къ современному водевилю. Нужно-ли напоминать всѣ тѣ формы, которыя принимаетъ здѣсь эта-же комбинація? Вотъ одна изъ нихъ, которой пользуются довольно часто: какой-нибудь вещественный предметъ (напримѣръ письмо) приобретаетъ капитальное зна-ченіе для нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ и его во что-бы то ни стало надо розыскать. Онъ ускользаетъ изъ рукъ каждый разъ, когда его, казалось, ужъ нашли, катится че-резъ всю пьесу, нагромождая на своемъ пути все болѣе важныя, все болѣе неожиданныя происшествія. Все это по-хоже на дѣтскую игру въ гораздо большей степени, чѣмъ можно думать съ перваго взгляда. Это—все тотъ-же катя-щійся снѣжный комъ.

Основное свойство механической комбинаціи заклю-чается въ томъ, что она обыкновенно обратима, т. е. воз-вращается къ своему исходному пункту. Ребенокъ смѣется, глядя какъ шаръ, пущенный въ кегли, все опрокидываетъ, все разбрасываетъ на своемъ пути; ему становится еще смѣшнѣе, когда шаръ, продѣлавъ всѣ свои обороты, пово-роты, то и дѣло задерживаясь на ходу, возвращается къ своей исходной точкѣ. Другими словами, только-что опи-санный нами механизмъ комиченъ даже тогда, когда онъ дѣйствуетъ прямолинейно; онъ становится еще комичнѣе, когда дѣйствуетъ кругообразно и когда всѣ старанія дѣй-ствующаго лица, въ силу рокового сцѣпленія причинъ и слѣдствій, приводятъ его просто на просто на прежнее мѣ-сто. И не трудно убѣдиться въ томъ, что на этой идеѣ по-строено множество водевилей. Напримѣръ: шляпа изъ итальянской соломы оказывается сѣдленной лошадыю. Въ

Парижъ имѣется только одна подобная шляпа и ее во что-бы то ни стало надо найти. Изъ-за этой шляпы, ускользающей каждый разъ, когда она бываетъ уже почти въ рукахъ, бѣгаетъ по городу главное дѣйствующее лицо, заставляя бѣгать съ собой другихъ лицъ, тѣсно связанныхъ съ нимъ. Такъ магнитъ, благодаря дѣйствию притяженія распространяющемуся все дальше и дальше, притягиваетъ къ себѣ частицы желѣзныхъ опилокъ, цѣпляющіяся одна за другую. И когда, наконецъ, пройдя черезъ цѣлый рядъ приключеній, дѣйствующія лица думаютъ, что стоятъ у цѣли, — оказывается, что желанная шляпа — это та самая, которая была съѣдена. Ту-же одиссею видимъ мы въ другой, не менѣе знаменитой комедіи Лабаша. Начинается съ того что давно знакомые между собой старый холостякъ и старая дѣва заняты своей ежедневной партіей въ карты. Оба они, независимо другъ отъ друга, обратились въ одно и то-же брачное агенство. Преодолевая безчисленные препятствія, попадая изъ одной бѣды въ другую, они бокъ-о-бокъ, не подозрѣвая этого, добиваются на протяженіи всей пьесы желаннаго свиданія и добившись его, сходятся лицомъ къ лицу.

То-же круговое движеніе, то-же возвращеніе къ точкѣ отправленія видимъ мы въ одной изъ недавно появившихся пьесъ. Измученный мужъ думаетъ избавиться отъ жены и тещи посредствомъ развода. Онъ снова женится. И сложная игра перипетій женитьбы и развода приводитъ къ нему его прежнюю жену, но еще въ ухудшенномъ видѣ — въ видѣ новой тещи.

Если принять во вниманіе, насколько сильно распространенъ этотъ родъ комическаго, то станетъ понятно, почему онъ обратилъ на себя вниманіе нѣкоторыхъ философовъ. Сдѣлать длинный путь для того, чтобы совершенно неожиданно возвратиться къ точкѣ отправленія, — это значитъ безрезультатно затратить трудъ. Это могло дать поводъ попытаться опредѣлить комическое именно такимъ образомъ. Такова, повидимому, мысль Спенсера: Смѣхъ есть показатель того, что усиліе привело къ пустому мѣсту. Уже Кантъ говорилъ: „Смѣхъ вызывается ожиданіемъ, которое внезапно разрѣшается ничѣмъ“. Я согласенъ, пожалуй, что

эти объясненія приложимы къ нашимъ послѣднимъ примѣрамъ; но ихъ пришлось-бы принять съ нѣкоторыми ограниченіями, потому-что есть, несомнѣнно, бесполезныя усилія, которыя не вызываютъ смѣха. Но если въ нашихъ послѣднихъ примѣрахъ крупная причина приводитъ къ маленькому слѣдствию, то только что передъ этимъ мы приводили другіе примѣры, совершенно противоположнаго характера, въ которыхъ крупное слѣдствіе вызывается маленькой причиной. Надо признать, что это второе объясненіе было-бы не лучше перваго. Несоразмѣрность между причиной и слѣдствіемъ, въ томъ-ли или иномъ направленіи, никогда не бываетъ непосредственнымъ источникомъ смѣха. Мы смѣемся надъ тѣмъ, что въ извѣстныхъ случаяхъ эта несоразмѣрность можетъ обнаружить, т.-е. надъ особаго рода механизмомъ, который благодаря ей становится видимымъ для насъ позади цѣлаго ряда слѣдствій и причинъ. Забудьте объ этомъ механизмѣ и вы теряете единственную путеводную нить, которая можетъ вести васъ въ лабиринтъ комическаго; правилу-же, которому вы слѣдовали, быть можетъ и приложимому къ нѣсколькимъ искусно подобраннымъ случаямъ, всегда будетъ грозить опасность непріятной встрѣчи съ первымъ попавшимся примѣромъ, который можетъ его уничтожить.

Но почему это механическое приспособленіе вызываетъ нашъ смѣхъ? Если жизнь отдѣльной личности или жизнь группы начинается представляться намъ въ извѣстный моментъ какой-то игрой зубчатыхъ колесъ, пружинъ и веревочекъ, то намъ это кажется, конечно, страннымъ, но откуда проистекаетъ спеціальныи характеръ этой странности? Почему она комична? На этотъ вопросъ, уже встававшій передъ нами въ очень различныхъ формахъ, мы дадимъ все тотъ-же отвѣтъ. Тотъ лишенный гибкости механизмъ, который мы подмѣчаемъ время отъ времени, какъ нѣчто постороннее, въ живой преемственности человѣческихъ поступковъ имѣетъ для насъ совершенно особый интересъ, потому-что въ немъ проявляется какъ-бы разсѣянность жизни. Если-бы событія могли безпрестанно внимательно слѣдить за своимъ собственнымъ ходомъ, то не было-бы ни совпаденій, ни столкновеній, ни движеній по замкнутому

кругу. Все двигалось бы вперед и развивалось бы непрерывно. И если бы все люди были всегда внимательны къ окружающей ихъ жизни, если бы мы постоянно относились критически къ людямъ и къ самимъ себѣ, то никогда не получалось бы впечатлѣнія, что нами движутъ пружины или веревочки. Комическое—это та сторона, которой онъ походить на вещь,—видимые человѣческіе поступки, которые своей совершенно своеобразной косностью походятъ на настоящий механизмъ, на нечто автоматическое, словомъ на движеніе безжизненное. Онъ выражаетъ, слѣдовательно, извѣстное индивидуальное или коллективное несовершенство, требующее немедленнаго исправленія. Смѣхъ есть мѣра исправленія. Смѣхъ—это извѣстный общественный жестъ, которымъ подчеркивается и пресѣкается извѣстная специальная разсѣянность людей и событій.

Но это показываетъ намъ, что надо искать объясненій дальше и выше. Мы до сихъ поръ занимались тѣмъ, что въ забавахъ взрослыхъ отыскивали извѣстныя механическія комбинаціи, которыми забавляются дѣти. Это былъ чисто эмпирическій путь. Наступилъ моментъ попытаться сдѣлать методическіе, законченные выводы, проникнуть къ самому источнику многочисленныхъ и разнообразныхъ приемовъ комическаго театра, раскрыть его неизмѣнный и основной принципъ. Этотъ театръ, говорили мы, сочетаетъ событія, ловко вводя механическое во внѣшнія формы жизни. Опредѣлимъ-же тѣ существенныя характерныя черты, которыми жизнь, наблюдаемая извнѣ, рѣзко отличается отъ простаго механизма. Намъ достаточно будетъ затѣмъ перейти къ характернымъ чертамъ противоположнымъ, чтобы получить отвлеченную формулу, на этотъ разъ общую и полную, всѣхъ существующихъ и возможныхъ приемовъ комическаго театра.

Жизнь представляется намъ какъ извѣстная эволюція во времени и какъ извѣстный комплексъ въ пространствѣ. Разсматриваемая во времени, она есть непрерывный прогрессъ существа, которое непрерывно старѣется: это значить, что она никогда не возвращается назадъ и никогда не повторяется. Взятая въ пространствѣ, она представляется намъ въ видѣ сосуществующихъ элементовъ, связанныхъ

между собою такими тѣсными внутренними узами, созданныхъ въ такой исключительной степени другъ для друга, что ни одинъ изъ нихъ не могъ-бы принадлежать одновременно двумъ различнымъ организмамъ: всякое живое существо есть законченная система явленій, неспособная интерферировать съ другими системами. Безпрерывное измѣненіе внѣшняго вида, неповторяемость явленій, законченная индивидуальность замкнутой въ самой себѣ серіи, — таковы внѣшнія характерныя черты (дѣйствительныя или кажущіяся — все равно), которыя отличаютъ живое отъ просто механическаго. Возьмемъ противоположныя стороны: мы получимъ три приема, которые можно назвать, если угодно, повтореніемъ, инверсіей, интерференціей серій. Можно легко убѣдиться, что это приемы, свойственные водевилю и что другихъ для него быть не можетъ.

Мы найдемъ ихъ прежде всего смѣшанными въ разныхъ дозахъ во всѣхъ сценахъ, которыя мы уже разсмотрѣли, а въ особенности въ дѣтскихъ играхъ, механизмъ которыхъ онѣ воспроизводятъ. Мы не станемъ задерживаться на этомъ анализѣ. Будетъ полезнѣе изслѣдовать эти приемы въ чистомъ видѣ, на новыхъ примѣрахъ. Къ тому же нѣтъ ничего легче этого, потому-что въ чистомъ видѣ они часто встрѣчаются какъ въ классической комедіи, такъ и въ современномъ театрѣ.

I. Повтореніе. — Рѣчь идетъ здѣсь не о томъ, о чемъ мы говорили выше, не о какомъ-нибудь словѣ или фразѣ, которыя повторяетъ дѣйствующее лицо, а о положеніи, т.-е. о комбинаціи обстоятельствъ, которая нѣсколько разъ возобновляется въ одномъ и томъ же видѣ, идя въ разрѣзъ, такимъ образомъ, съ постоянно мѣняющимся теченіемъ жизни. Повседневный опытъ даетъ намъ примѣры этого вида комизма, но лишь въ зачаточномъ видѣ. Такъ, на примѣръ, встрѣчаю я на улицѣ пріятеля, котораго давно не видалъ; въ этомъ нѣтъ ничего комическаго. Но если въ тотъ-же день я его встрѣчаю снова, затѣмъ третій и четвертый разъ, то мы оба разсмѣемся надъ такимъ „совпаденіемъ“. Представьте себѣ теперь рядъ придуманныхъ положеній, дающій вамъ достаточно полную иллюзію жизни, и вообразите среди этого непрерывно движущагося впередъ

ряда одну и ту-же все время повторяющуюся сцену то между одними и тѣми-же дѣйствующими лицами, то между различными: здѣсь будетъ тоже совпаденіе, но еще болѣе необыкновенное. Таковы повторенія, которыя мы видимъ на сценѣ. Они бываютъ тѣмъ комичнѣе, чѣмъ повторяемая сцена запутаннѣе и чѣмъ естественнѣе она проведена,—два положенія, на первый взглядъ другъ друга исключаютъ, примирить которыя должно искусство автора.

Современный водевиль пользуется этимъ приѣмомъ во всѣхъ его формахъ. Одна изъ наиболѣе распространенныхъ формъ состоитъ въ томъ, что какая-нибудь группа дѣйствующихъ лицъ проводится, изъ акта въ актъ, черезъ самыя разнообразныя положенія, при чемъ одинъ и тотъ-же рядъ событій, между которыми существуетъ симметрическое соотвѣтствіе, повторяется при совершенно новыхъ условіяхъ.

✓ Во многихъ пьесахъ Мольера мы видимъ одну и ту-же группировку событій, повторяющуюся отъ начала до конца комедіи. Такъ въ Школѣ Женъ авторъ пользуется извѣстнымъ эффектомъ въ три такта: 1) Горацій рассказываетъ Арнольфу, какъ онъ надумалъ обмануть опекуна Агнесы, каковымъ опекуномъ оказывается самъ Арнольфъ; 2) Арнольфъ думаетъ, что отразилъ ударъ; 3) Агнеса обращаетъ въ пользу Горація хитрость Арнольфа.—Та-же правильная періодичность въ Школѣ Мужей, въ Вертопрахѣ, а особенно въ Жоржѣ Данденѣ, гдѣ мы видимъ тотъ-же эффектъ въ три такта: 1) Жоржъ Данденъ замѣчаетъ, что жена его обманывается; 2) онъ призываетъ на помощь ея родителей; 3) онъ-же, Жоржъ Данденъ, извиняется.

Иногда одна и та-же сцена происходитъ между различными группами дѣйствующихъ лицъ. Тогда нерѣдко первую группу составляютъ господа, а вторую—слуги. Слуги повторяютъ въ другомъ тонѣ, менѣе благородномъ, сцену, уже разыгранную господами. Амфитріонъ, а отчасти и Терзанія Любви, построены по этому плану. Въ небольшой забавной комедіи Бенедикта Капризъ мы видимъ обратный порядокъ: господа воспроизводятъ сцену упрямства, примѣръ котораго дали имъ слуги.

Но каковы-бы ни были дѣйствующія лица, попадающія въ тѣ или инныя одинаковыя положенія, существуетъ, повидимому, глубокое различіе между классической комедіей и современнымъ театромъ. Вводитъ въ событія извѣстный математическій порядокъ, сохраняя за ними виѣшній видъ правдоподобія. т.-е. жизни,—такова обычно цѣль и той и другого. Но употребляемые при этомъ средства различны. Въ водевиляхъ по большей части стараются вліять непосредственно на умъ зрителя. Дѣйствительно, какъ-бы ни было необычайно совпаденіе, оно станетъ пріемлемымъ уже по тому одному, что будетъ принято; мы-же примемъ его, если насъ постепенно готовить къ нему. Такъ дѣйствуютъ часто современные авторы. Напротивъ въ пьесахъ Мольера повторенію придаютъ естественность не отношеніе зрителя, а отношенія между самими дѣйствующими лицами—каждое изъ этихъ дѣйствующихъ лицъ представляетъ собою извѣстную силу, дѣйствующую въ извѣстномъ направленіи и такъ-какъ эти силы, при постоянномъ направленіи, необходимо слагаются между собою одинаковымъ образомъ, одно и то-же положеніе повторяется. Комедія положеній, понимаемая такимъ образомъ, очень близка къ комедіи характеровъ. Она заслуживаетъ названія классической, если справедливо, что классическое искусство это то, которое не ставитъ себѣ цѣлью извлечь изъ слѣдствія больше, чѣмъ оно вложило въ причину.

II. Инверсія. — Второй пріемъ настолько аналогиченъ первому, что мы ограничимся его опредѣленіемъ, не останавливаясь на его примѣненіи. Представьте себѣ нѣсколькихъ лицъ въ извѣстномъ положеніи: вы получите комическую сцену, если сдѣлаете такъ, что данное положеніе превратится въ свою противоположность, а роли перемѣнятся. Въ такомъ родѣ написана двойная сцена спасенія въ Путешествіи г. Перришона. Но даже нѣтъ необходимости, что обѣ симметричныя сцены разыгрывались на нашихъ глазахъ. Намъ могутъ показать только одну изъ нихъ, разъ есть увѣренность, что мы можемъ себѣ представить противоположную ей. Такъ, мы смѣемся надъ подсудимымъ, который читаетъ нравоученіе судѣ, надъ ребенкомъ, который пытается поучать своихъ родителей.

наконецъ, надъ всѣмъ, что находитъ себѣ мѣсто въ рубрикѣ „свѣтъ на изнанку“.

Часто выводится человѣкъ, который разставляетъ кому-нибудь сѣти и самъ-же въ нихъ ловится. Исторія преслѣдователя, ставшаго жертвой своего преслѣдованія, обманутаго обманщика, составляетъ основу многихъ комедій. Мы находимъ ее уже въ старинныхъ фарсахъ. Адвокатъ Пателенъ учитъ кліента, какъ надуть судью: кліентъ пользуется этой-же уловкой, чтобы не заплатить адвокату. Сварливая жена требуетъ, чтобы мужъ испозналъ всю работу на дому, и составляетъ для него подробнѣйшій списокъ обязанностей. Когда она падаетъ въ чанъ, мужъ отказывается вытащить ее оттуда, говоря, что этого нѣтъ въ списокѣ. Новѣйшая литература дала очень много варіацій на тему: обокраденный воръ. Въ ней, въ сущности, всегда дѣйствующія лица обмѣниваются ролями, создавшееся-же положеніе обращается противъ того, кто его создалъ.

Здѣсь можетъ быть провѣренъ законъ, на примѣненіе котораго мы уже указывали не одинъ разъ. Комическая сцена, воспроизводимая часто, переходитъ въ разрядъ „категорій“, становится образцомъ. Она становится забавной сама по себѣ, независимо отъ тѣхъ причинъ, которыя сдѣлали ее смѣшной для насъ. Тогда новыя сцены, которыя сами по себѣ не комичны, смогутъ вызывать нашъ смѣхъ, если онѣ похожи въ какомъ-нибудь отношеніи на эту сцену. Онѣ болѣе или менѣе смутно вызовутъ въ нашемъ воображеніи образъ, который извѣстенъ намъ, какъ смѣшной. Онѣ найдутъ себѣ мѣсто въ томъ разрядѣ, къ которому относится типъ смѣшного, официально признанный. Подобнаго рода—сцена съ „обокраденнымъ воромъ“. Она излучаетъ комизмъ, заключающійся въ ней, на множество другихъ сценъ. Она дѣлаетъ смѣшной всякую неудачу, которая постигаетъ пострадавшаго по его-же собственной винѣ,—какова-бы ни была эта вина, какова-бы ни была бѣда,—даже каждый намекъ на подобную неудачу, каждое слово, напоминающее о ней. Фраза: „Ты этого хотѣлъ, Жоржъ Данденъ“ не была-бы вовсе забавной, если-бы ее не сопровождали отголоски смѣшного.

III. Мы достаточно сказали о повтореніи и объ инвер-

си. Мы переходимъ теперь къ интерференціи серій. Это—комическій эффектъ, вывести формулу котораго очень трудно, вслѣдствіе необыкновеннаго разнообразія формъ, въ которыхъ онъ проявляется на сценѣ. Вотъ, можетъ-быть, какъ слѣдовало-бы его опредѣлить: положеніе комично всегда, когда оно принадлежитъ одновременно къ двумъ серіямъ событій совершенно независимымъ и можетъ быть истолковано сразу въ двухъ совершенно различныхъ смыслахъ. Намъ прежде всего приходитъ мысль о недоразумѣніи о *qui pro quo*. *Qui pro quo* есть, дѣйствительно, положеніе, имѣющее одновременно два различныхъ смысла, одинъ—только возможный, тотъ, который придаютъ ему актеры, другой—дѣйствительный, который придаетъ ему публика. Мы видимъ дѣйствительный смыслъ положенія, потому что намъ заботливо показали его со всѣхъ сторонъ; каждый изъ актеровъ знаетъ лишь одну изъ этихъ сторонъ: отсюда—ошибки, отсюда ихъ невѣрное пониманіе того, что происходитъ вокругъ нихъ и что они сами дѣлаютъ. Мы идемъ отъ этого невѣрнаго пониманія къ пониманію вѣрному, колеблемся между смысломъ возможнымъ и смысломъ дѣйствительнымъ; и это-то колебаніе нашей мысли между двумя противоположными толкованіями прежде всего проявляется въ томъ, что *qui pro quo* насъ забавляетъ. Понятно, что нѣкоторые философы обратили вниманіе именно на это колебаніе, и нѣкоторые изъ нихъ видѣли даже сущность комизма въ столкновеніи или въ сплетеніи двухъ противоположныхъ сужденій. Но ихъ опредѣленіе подходитъ далеко не для всѣхъ случаевъ, и даже тамъ, гдѣ его можно примѣнить, оно опредѣляетъ не основу комического, но лишь одно изъ его болѣе или менѣе отдаленныхъ послѣдствій. Легко понять, дѣйствительно, что *qui pro quo* въ пьесѣ есть лишь частный случай явленія несравненно болѣе общаго—интерференціи независимыхъ рядовъ событій, и что кромѣ того недоразумѣніе смѣшно не само по себѣ, а лишь какъ признакъ интерференціи рядовъ.

Дѣйствительно, во всякомъ *qui pro quo* каждое изъ дѣйствующихъ лицъ включено въ рядъ событій, которыя его касаются, о которыхъ оно имѣетъ точное представленіе

и съ которыми оно сообразуетъ свои слова и свои поступки. Каждый рядъ, затрагивающій каждое дѣйствующее лицо, развивается независимымъ образомъ; но въ извѣстный моментъ они сходятся такимъ образомъ, что поступки и слова, входящія въ составъ одного изъ нихъ, оказываются вполне подходящими и для другого. Отсюда ошибка дѣйствующихъ лицъ, отсюда двусмысленность; но эта двусмысленность сама по себѣ еще не смѣшна; она смѣшна только потому, что обнаруживаетъ совпаденіе двухъ независимыхъ рядовъ. Это доказывается тѣмъ, что авторъ долженъ постоянно стараться обращать наше вниманіе на этотъ двойной фактъ—независимости и совпаденія. И онъ достигаетъ этого обыкновенно тѣмъ, что постоянно притворно грозитъ намъ разъединить двѣ совпавшихъ серіи. Каждую минуту все готово рухнуть, но все снова приходитъ въ порядокъ; и эта-то игра и вызываетъ смѣхъ въ гораздо большей степени, чѣмъ колебанія нашей мысли между двумя противорѣчивыми сужденіями. И она вызываетъ нашъ смѣхъ, потому что обнаруживаетъ интерференцію двухъ независимыхъ рядовъ — этотъ истинный источникъ комическаго эффекта.

Такимъ образомъ, *qui pro quo* можетъ быть только частнымъ случаемъ. Это одно изъ средствъ (быть можетъ одно изъ самыхъ искусныхъ) сдѣлать видимой интерференцію серій; но это не единственное средство. Въмѣсто двухъ современныхъ серій можно было-бы взять съ такимъ-же успѣхомъ одну серію событій давнихъ, другую—современныхъ; если двѣ серіи въ нашемъ воображеніи интерферируютъ, то *qui pro quo* уже не будетъ, а между тѣмъ тотъ-же комическій эффектъ будетъ продолжаться. Возьмите Бонивара и его заключеннаго въ Шильонскомъ замкѣ; пусть это будетъ первый рядъ фактовъ. Представьте себѣ затѣмъ, что Тартарена, путешествующаго по Швейцаріи, задерживаютъ, сажаютъ въ тюрьму: это—второй рядъ, независимый отъ перваго. Представьте себѣ теперь, что Тартарена приковываютъ къ той-же цѣпи, къ которой былъ прикованъ Бониваръ, и что ихъ судьбы на мгновеніе совпадаютъ; вы получите очень забавную сцену, одну изъ самыхъ забавныхъ, какія только создала фантазія Доде. Многія событія героико-

комического жанра могли-бы быть разобраны такимъ образомъ. Перенесеніе стараго въ условія современности всегда смѣшно и имѣетъ своимъ источникомъ ту-же мысль.

Лабишъ пользовался этимъ приѣмомъ въ различныхъ формахъ. Иногда онъ начинаетъ съ того, что устанавливаетъ независимые ряды и забавляется, интерферируя ихъ потомъ; онъ беретъ какую-нибудь обособленную группу, на-примѣръ свадьбу, и неожиданно переноситъ ее въ какую-нибудь совершенно чуждую ей среду, временно войти въ которую позволяютъ ей нѣкоторыя случайныя совпаденія. Иногда у него на протяженіи всей пьесы фигурируетъ одна и та-же система дѣйствующихъ лицъ, но нѣкоторымъ изъ нихъ приходится скрывать что-нибудь, сговариваться между собою, словомъ разыгрывать свою маленькую комедію среди большой, общей: каждую минуту одна изъ этихъ двухъ комедій грозитъ разстроить другую, потомъ все улаживается и совпаденіе двухъ рядовъ восстанавливается. Иногда, наконецъ, онъ вставляетъ рядъ чисто воображаемыхъ событій въ рядъ событій подлинныхъ, на-примѣръ, прошлое, которое нужно скрыть, безпрестанно врывается у него въ настоящее, но каждый разъ удается примирять его съ положеніями, которыя оно должно было, казалось, совершенно разстроить. И всегда мы видимъ два независимыхъ ряда событій и ихъ частичное совпаденіе.

Мы не пойдемъ дальше въ разборъ приѣмовъ водевиля. Будетъ-ли это интерференція рядовъ, инверсія или повтореніе, цѣль, какъ мы видимъ, во всѣхъ этихъ случаяхъ одна и та-же: получить то, что мы назвали механизацией жизни. Берутъ систему дѣйствій и отношеній и повторяютъ ее въ одномъ и томъ-же видѣ, или перевертываютъ ее вверхъ дномъ, или переносятъ ее всю цѣликомъ въ другую систему, съ которой она отчасти совпадаетъ,—продѣлываютъ всевозможныя операціи, сводящіяся къ тому, чтобы уподобить жизнь механизму, повторяющемуся непрерывно одно и то-же, съ обратными движеніями и съ частями, которыя могутъ быть замѣнены другими. Дѣйствительная жизнь есть водевиль въ той мѣрѣ, въ какой она порождаетъ естественно совершенно однородныя дѣйствія и, слѣдовательно, въ той мѣрѣ, въ какой она забывается;

потому-что если-бы она всегда была внимательна, то она представляла-бы собою непрерывность разнообразія, неспособный возвращаться вспять прогрессъ, нераздѣльное единство. Вотъ почему комизмъ событій можно опредѣлить, какъ разсѣянность вещей, точно такъ-же, какъ комическое въ характерѣ отдѣльной личности всегда зависить, — какъ мы уже указывали и какъ въ послѣдствіи докажемъ, — отъ извѣстной разсѣянности, составляющей основную черту данной личности. Но эта разсѣянность событій есть нѣчто случайное. Ея эффекты слабы. И она во всякомъ случаѣ непоправима, такъ что смѣяться надъ ней нѣтъ смысла. Вотъ почему и не могло-бы прійти на умъ усугублять ее, возводить въ систему, создавать для нея особое искусство, если-бы смѣхъ не былъ всегда удовольствіемъ и если-бы люди не схватывали на лету малѣйшій поводъ посмѣяться. Этимъ и объясняется существованіе водевиля, который относится къ дѣйствительной жизни такъ, какъ картонный плясунъ къ двигающемуся человѣку; онъ — очень искусственное преувеличеніе извѣстной природной косности вещей. Нить, связывающая его съ дѣйствительной жизнью, очень хрупка. Это только игра, подчиненная, какъ и всякія другія игры, заранее принятому условію. Комедія характеровъ имѣетъ болѣе глубокіе корни въ жизни. Ею главнымъ образомъ мы займемся въ послѣдней части нашего изслѣдованія. Но мы должны предварительно разсмотрѣть еще одинъ родъ комическаго, который походить во многихъ отношеніяхъ на комическое, присущее водевилю, — а именно комическое, заключающееся въ словахъ.

## II.

Можетъ быть покажется нѣсколько искусственнымъ, если мы выдѣлимъ комическое слово въ особую категорію, потому-что большинство комическихъ эффектовъ, которые мы разсматривали до сихъ поръ, выражалось при посредствѣ рѣчи. Но надо дѣлать различіе между комическимъ, которое рѣчь выражаетъ, и комическимъ, которое рѣчь создаетъ. Первое еще можетъ быть переведено съ одного языка на другой, хотя оно и можетъ потерять большую часть своей

рельефности, переходя въ новую общественную среду, иную по своимъ нравамъ, по своей литературѣ, а, главное, по своимъ идейнымъ ассоціаціямъ. Второй-же видъ комическаго обыкновенно не переводимъ. Тѣмъ, что онъ есть, онъ всецѣло обязанъ строенію фразы или подбору словъ. Онъ не выражаетъ посредствомъ рѣчи извѣстныхъ частныхъ видовъ разсѣянности людей или событій. Онъ подчеркиваетъ разсѣянность самого языка. Комическимъ становится здѣсь самый языкъ.

Правда, фразы составляются не сами собой, и если мы смѣемся надъ ними, то мы смѣемся какъ-бы и надъ ихъ авторомъ. Но это послѣднее условіе не необходимо. Фраза, слово обладаютъ независимо способностью вызывать смѣхъ. Это доказывается тѣмъ, что въ большинствѣ такихъ случаевъ намъ было-бы очень трудно сказать, надъ кѣмъ мы смѣемся, хотя мы иногда и чувствуемъ смутно, что нашъ смѣхъ кѣмъ-то вызванъ.

Этотъ кто-то не всегда, впрочемъ, то лицо, которое говоритъ. Здѣсь необходимо имѣть въ виду важное различіе между остроумнымъ и смѣшнымъ. Я склоняюсь къ тому мнѣнію, что слово бываетъ комично, когда оно вызываетъ смѣхъ надъ сказавшимъ его, и остроумнымъ, когда оно вызываетъ нашъ смѣхъ надъ третьимъ лицомъ или надъ нами самими. Но чаще всего мы не можемъ рѣшить, комично-ли слово или остроумно. Оно просто вызываетъ смѣхъ.

Быть можетъ слѣдовало-бы, прежде чѣмъ идти дальше, опредѣлить точнѣе, какъ надо понимать остроуміе. Остроумное слово всегда вызываетъ у насъ по крайнѣй мѣрѣ улыбку, такъ-что этюдъ о смѣхѣ не былъ-бы полонъ, если-бы мы не выяснили природу остроумія, его сущность. Но я боюсь, какъ-бы эта сущность, подобно нѣкоторымъ легко испаряющимся эссенціямъ, не разсѣялась при свѣтѣ.

Замѣтимъ прежде всего, что слово остроуміе имѣетъ два смысла—одинъ болѣе широкій, другой болѣе узкій. Въ самомъ широкомъ смыслѣ слова, остроуміе есть, какъ мнѣ кажется, извѣстная способность мыслить драматически. Въмѣсто того, чтобы пользоваться своими идеями, какъ безразличными символами, остроумный человекъ ихъ видитъ,

слышать, а главное—заставляет их разговаривать между собою подобно людям. Онъ выводитъ ихъ на сцену, а отчасти и самъ выходитъ на нее. Остроумный народъ всегда непремѣнно любить театръ. Каждый остроумный человекъ—всегда немножко поэтъ, какъ каждый чтець—немножко актеръ.

Я дѣлаю это сближеніе умышленно, потому-что не трудно установить пропорцію между этими четырьмя членами. Чтобы хорошо читать, достаточно владѣть интеллектуальной стороною сценическаго искусства; но чтобы хорошо играть, надо быть артистомъ всей душой, всѣмъ существомъ. Поэтическое творчество тоже требуетъ извѣстнаго самозабвенія, чѣмъ не грѣшитъ обыкновенно остроумный человекъ. Личность послѣдняго всегда проглядываетъ изъ-за его словъ и дѣйствій. Онъ не поглощается ими цѣлкомъ, онъ вкладываетъ въ нихъ только свой умъ.

Слѣдовательно, каждый поэтъ можетъ, если пожелаетъ, выказать себя остроумнымъ человекомъ. Ему не нужно ничего пріобрѣтать для этого, онъ можетъ при этомъ даже кое-что потерять. Ему достаточно дать своимъ мыслямъ разговаривать между собою „такъ, ради удовольствія“. Ему надо для этого только ослабить двойную связь, которая соединяетъ его мысли съ чувствами и его душу съ жизнью. Однимъ словомъ, онъ превратится въ остроумнаго человека, если захочетъ быть поэтомъ не умомъ и сердцемъ, а только умомъ.

Но если остроуміе есть вообще способность смотрѣть на вещи *sub specie theatri*, то естественно, что его особенно должна привлекать одна разновидность драматическаго искусства—комедія. Отсюда происходитъ болѣе узкій смыслъ этого слова,—единственный, впрочемъ, который интересуетъ насъ съ точки зрѣнія теоріи смѣха. Подъ остроуміемъ мы будемъ подразумѣвать извѣстную способность набрасывать мимоходомъ комическія сценки, но набрасывать такъ ловко, легко и быстро, чтобы все уже было кончено, когда мы начнемъ только замѣчать происходящее.

Кто актеры этихъ сценъ? Къ кому обращается остроумный человекъ? Прежде всего, къ своимъ-же собесѣдн-

камъ, когда его слова есть отвѣтъ одному изъ нихъ; часто—къ отсутствующему лицу, предполагая, что отвѣчаетъ на слова, обращенныя къ нему. Еще чаще—ко всѣмъ вообще, иначе говоря къ тѣмъ или инымъ общепринятымъ мнѣніямъ, на которыя онъ нападаетъ, превращая въ парадоксъ какую-нибудь ходячую мысль или пользуясь какимъ-нибудь обычнымъ оборотомъ рѣчи, пародируя какую-нибудь цитату или пословицу. Сравните эти маленькія сценки между собой и вы увидите, что это почти всегда варіаціи на хорошо извѣстную намъ тему, тему объ „обокраденномъ ворѣ“. Берется какая-нибудь метафора, фраза, разсужденіе и обращается противъ того, кто ихъ произноситъ или могъ-бы произнести, такимъ образомъ, чтобы это лицо сказало то, чего оно само не хотѣло сказать и какъ-бы само поймало себя въ словесную западню. Но тема объ „обокраденномъ ворѣ“ не единственно возможная. Мы разсмотрѣли уже много видовъ комическаго; среди нихъ нѣтъ ни одного, который нельзя было-бы отточить въ стрѣлу остроумія.

Итакъ, всякое остроумное слово поддается анализу, для котораго мы можемъ сейчасъ-же дать, такъ сказать, рецептъ. Вотъ онъ. Возьмите это слово, расширьте его сначала до размѣровъ сценки въ лицахъ, опредѣлите затѣмъ ту категорію комическаго, къ которой эта сцена могла-бы принадлежать: вы сведете такимъ образомъ остроумное слово къ его простѣйшимъ элементамъ и получите полное его объясненіе.

Примѣнимъ этотъ методъ къ одному классическому примѣру. „У меня болитъ ваша грудь“, писала г-жа де-Севинье своей больной дочери. Вотъ остроумная фраза. Если наша теорія вѣрна, то намъ достаточно будетъ подчеркнуть эту фразу, усилить ее и расширить ее до размѣровъ комической сцены. И мы имѣемъ подобную сценку въ совершенно готовомъ видѣ въ пьесѣ Любовь Цѣлительница Мольера. Самозванецъ-врачъ Клитандръ, приглашенный лѣчить дочь Сганареля, довольствуется тѣмъ, что щупаетъ пульсъ самого Сганареля, послѣ чего, основываясь на симпатіи, которая должна существовать между отцомъ и дочерью, объявляетъ безъ колебаній: „Ваша дочь дѣйствительно больна“! Вотъ вамъ примѣръ перехода отъ остро-

умнаго къ комическому. Чтобы дополнить нашъ анализъ, намъ достаточно выяснить, чѣмъ, собственно, комична идея—ставить діагнозъ болѣзни ребенка, выслушавъ его отца или мать. Но мы знаемъ, что одна изъ существенныхъ формъ комической фантазіи состоитъ въ томъ, что она представляетъ живого человѣка картоннымъ плясуномъ и что часто, съ цѣлью внушить намъ этотъ образъ, намъ показываютъ двухъ или нѣсколькихъ человѣкъ, разговаривающихъ и поступающихъ такъ, какъ если-бы они были связаны между собою невидимыми нитями. Не эту-ли мысль внушаютъ намъ здѣсь, предлагая матеріализировать, такъ сказать, симпатію, существующую, по нашему мнѣнію, между дочерью и ея отцомъ?

Мы вполне понимаемъ теперь, почему авторы изслѣдованій объ остроуміи ограничивались указаніемъ на необыкновенную сложность понятій, обозначаемыхъ этимъ словомъ, и никогда не могли дать его опредѣленіе. Существуетъ много способовъ быть осторожнымъ—столько-же, сколько способовъ не быть остроумнымъ.

Какъ-же подмѣтить общее между ними, если не начать съ опредѣленія общаго отношенія остроумнаго къ комическому? Но какъ только это отношеніе будетъ установлено, все станетъ ясно. Между комическимъ и остроумнымъ окажется тогда то-же отношеніе, что между законченной сценой и бѣглымъ наброскомъ сцены, еще подлежащей разработкѣ. Сколько формъ можетъ принять комическое, столько-же есть и соответствующихъ разновидностей остроумія. Прежде всего, слѣдовательно, надо опредѣлить комическое во всѣхъ его формахъ и нащупать нить (что уже довольно трудно), ведущую отъ одной формы къ другой. Тѣмъ самымъ будетъ произведенъ и анализъ остроумнаго, которое окажется ничѣмъ инымъ, какъ тѣмъ-же комическимъ, но болѣе легкимъ, какъ испаренія жидкости легче этой послѣдней. Слѣдовать-же обратному методу, искать непосредственно формулу остроумнаго, значитъ идти на вѣрную неудачу. Что сказали-бы о химикѣ, который, имѣя у себя въ лабораторіи сколько угодно всякихъ веществъ, вздумалъ бы изучать только слѣды ихъ въ атмосферѣ?

Но это сравненіе между остроумнымъ и комическимъ указываетъ намъ вмѣстѣ съ тѣмъ путь, которому надо слѣдовать при изученіи комизма словъ. Дѣйствительно, съ одной стороны мы видимъ, что нѣтъ существенной разницы между комическимъ выраженіемъ и остроумнымъ, съ другой-же стороны, остроумное слово, хотя и связанное съ какимъ-нибудь образнымъ выраженіемъ рѣчи, вызываетъ всегда неясный или яркій образъ какой-нибудь комической сцены. Это значитъ, что комическое рѣчи должно точка въ точку соотвѣтствовать комическому дѣйствію и положенію и что оно есть ничто иное, какъ проекція послѣдняго на плоскости словъ, если такъ можно выразиться. Возвратимся-же къ комическому дѣйствію и положенію. Разсмотримъ главные приемы, посредствомъ которыхъ оно получается. Примѣнимъ эти приемы къ подбору словъ и къ построенію фразъ. Мы получимъ такимъ образомъ всѣ возможныя формы комическаго словъ и всѣ разновидности остроумія.

I. Позволить себѣ подъ вліяніемъ косности или инерціи сказать или сдѣлать то, чего не хотѣлъ,—таковъ, какъ мы знаемъ, одинъ изъ важнѣйшихъ источниковъ комизма. Вотъ почему также смѣются надъ косностью, заученностью, однимъ словомъ надъ механичностью въ жестахъ, положеніяхъ и даже въ чертахъ лица. Замѣчается-ли этотъ видъ косности въ языкѣ? Да, безъ сомнѣнія, потому-что существуютъ готовыя формулы и стереотипныя фразы. Человѣкъ, который постоянно говорилъ-бы такимъ языкомъ, былъ-бы непременно смѣшонъ. Но чтобы фраза сама по себѣ, независимо отъ того, кто ее произносить, была комической, недостаточно, чтобы она была стереотипной, надо еще, чтобы по ней мы могли узнать, не колеблясь, что она сказана автоматически. А это возможно только тогда, когда фраза заключаетъ въ себѣ явную нелѣпость, какое-нибудь грубое заблужденіе, особенно-же—противорѣчіе въ словахъ. Отсюда общее правило: всякій разъ, когда въ форму общеупотребительной фразы вкладывается нелѣпая мысль,—получается комическая фраза.

„Ce sabre est le plus beau jour de ma vie“<sup>1)</sup>, говорить

<sup>1)</sup> „Эта сабля—прекраснѣйшій день моей жизни“.

Прюдомъ. Переведите эту фразу на англійскій или нѣмецкій языкъ, она окажется просто нелѣпой, тогда какъ по французски она—комична. Происходитъ это оттого, что выраженіе „прекраснѣйшій день моей жизни“ есть одно изъ стереотипныхъ выраженій, къ которымъ наше ухо привыкло. Чтобы сдѣлать ее комичной, достаточно, слѣдовательно, ясно обнаружить автоматизмъ произносящаго ее лица. Мы достигаемъ этого, вкладывая въ нее нелѣпость. И здѣсь ни въ какомъ случаѣ не есть источникъ комизма. Она есть лишь очень простой и очень дѣйствительный способъ раскрыть намъ этотъ комизмъ.

Мы привели здѣсь только одну фразу Прюдома. Но большинство приписываемыхъ ему фразъ, построено по тому-же образцу. Прюдомъ—это человѣкъ стереотипныхъ фразъ. А такъ-какъ онѣ имѣются во всякомъ языкѣ, то Прюдома можно переложить на другой языкъ, но очень рѣдко можно перевести.

Иногда не сразу можно замѣтить банальность фразы, подъ прикрытіемъ которой проходитъ передъ нами нелѣпость. „Я не люблю работать въ промежуткахъ между часами, назначенными для ѣды“, сказалъ одинъ лѣнтяй. Эта фраза не была-бы смѣшной, если-бы на выручку не являлось правило гигиены: „не слѣдуетъ ѣсть въ промежуткахъ между часами, назначенными для ѣды“.

Иногда получается комизмъ болѣе сложный. Вмѣсто одной банальной фразы бываетъ двѣ или три, вплетенныя одна въ другую. Возьмемъ, на примѣръ, слѣдующую фразу одного изъ персонажей Лабиша: „Только Богъ имѣетъ право убить себѣ подобнаго“. Мнѣ кажется, что здѣсь использованы два общеизвѣстныхъ положенія: „Только Богъ располагаетъ жизнью людей“ и: „преступленіе со стороны человѣка убить себѣ подобнаго“. Но эти два положенія соединены такъ, чтобы обмануть наше слухъ и произвести на насъ впечатлѣніе одной изъ тѣхъ фразъ, которыя повторяются и воспринимаются совершенно машинально. Отсюда—нѣкоторая вялость нашего вниманія, которое внезапно пробуждается нелѣпостью.

Этихъ примѣровъ достаточно, чтобы понять, какимъ образомъ одна изъ наиболѣе важныхъ формъ комическаго

проектируется въ упрощенномъ видѣ на плоскости языка. Перейдемъ теперь къ менѣ общей формѣ.

II. „Мы всегда смѣемся, если наше вниманіе отвлекается въ сторону физическихъ качествъ человѣка, тогда какъ рѣчь идетъ о его моральной сторонѣ“,—таковъ законъ, установленный нами въ первой части нашего изслѣдованія. Примѣнимъ его къ языку. Можно сказать, что большая часть словъ имѣетъ смыслъ физическій или смыслъ моральный, смотря по тому, употребляемъ-ли мы ихъ въ собственномъ или въ переносномъ значеніи. Всякое слово означаетъ прежде всего конкретный предметъ или матеріальное дѣйствіе; но, мало по малу одухотворяясь, смыслъ слова можетъ перейти въ отвлеченное отношеніе или въ чистую идею. И если нашъ законъ сохраняетъ силу и здѣсь, то онъ долженъ быть выраженъ такъ: комическій эффектъ получается всякій разъ, когда мы дѣлаемъ видъ, что понимаемъ выраженіе въ собственномъ смыслѣ, тогда какъ оно употреблено въ переносномъ. Или такъ: какъ только наше вниманіе сосредоточивается на матеріальной сторонѣ метафоры, выраженная въ ней мысль становится комичной.

„Всѣ искусства—братья“; въ этой фразѣ слово „братья“ употреблено метафорически, чтобы подчеркнуть болѣе или менѣ глубокое сходство. И слово это настолько часто употребляется такимъ образомъ, что, слыша его, мы уже не думаемъ о томъ конкретномъ и матеріальномъ отношеніи, которое подразумѣваетъ всякое родство. Мы подумали-бы о немъ, если-бы намъ сказали: „Всѣ искусства—двоюродные братья“, потому-что слово „двоюродный братъ“ рѣже употребляется въ переносномъ смыслѣ; поэтому здѣсь это слово приобрѣло-бы уже легкій комическій оттѣнокъ. Идите дальше, предположите, что ваше вниманіе будетъ рѣзко привлечено матеріальной стороной образа благодаря тому, что будетъ выбрано родственное отношеніе, несовмѣстимое съ родомъ понятій, которыя должны быть соединены этимъ родствомъ: получится непремѣнно комическій эффектъ. Такова извѣстная фраза, кажется тоже Прюдома: „Всѣ искусства—сестры“.

„Il court après l'esprit“ („онъ гонится за остроуміемъ“),— такъ отозвались однажды въ присутствіи Буффле объ одномъ высоко мнившемъ о себѣ господинѣ. Если бы Буффле отвѣтилъ: „Il ne l'attrapera pas“ („онъ его не поймаетъ“),— въ этомъ былъ-бы намекъ на остроуміе; но это былъ-бы только намекъ, потому-что слово „attraper“ (поймать, схватить) употребляется въ переносномъ значеніи почти такъ-же часто, какъ слово „cougir“ (бѣжать), такъ-что оно не могло-бы съ достаточной силой заставить насъ матеріализовать образъ двухъ человѣкъ, бѣгущихъ другъ за другомъ. Желательно вамъ, чтобы отвѣтъ былъ вполне остроумный? Тогда вамъ надо взять изъ словаря спортсмена выраженіе настолько конкретное, настолько живое, чтобы оно сразу заставило васъ почувствовать себя дѣйствительно присутствующимъ на бѣгахъ. Буффле такъ и сдѣлалъ: „держу пари за остроуміе“,—отвѣтилъ онъ.

Мы говорили, что остроуміе часто состоитъ въ томъ, чтобы продолжить мысль собесѣдника до той точки, гдѣ она становится собственной противоположностью, и собесѣдникъ самъ попадаетъ, такъ сказать въ ловушку, поставленную его-же собственными словами. Мы можемъ прибавить теперь, что такой ловушкой почти всегда оказывается метафора или сравненіе, прямой смыслъ которыхъ обращается противъ него-же. Вспомните разговоръ между матерью и сыномъ въ *Faux Bonshommes*: „Другъ мой, игра на Биржѣ—вещь опасная. Сегодня выигралъ, завтра—проигралъ“.—„Ну, что-же, я буду играть только черезъ день“. И въ той-же пьесѣ мы имѣемъ назидательный разговоръ двухъ финансистовъ: „Честно-ли то, что мы дѣлаемъ? Вѣдь въ концѣ концовъ, мы кладемъ въ карманъ деньги этихъ несчастныхъ акціонеровъ“...—„А куда-же намъ по вашему, класть ихъ“?

Такимъ образомъ, комическій эффектъ получится всякій разъ, когда расширяя толкованіе символа или эмблемы въ сторону ихъ вещественнаго содержанія, мы, вмѣстѣ съ тѣмъ стараемся сохранить за такимъ расширеннымъ толкованіемъ значеніе символа или эмблемы. Въ одномъ очень веселомъ водевилѣ выводится чиновникъ изъ Монако, весь мундиръ котораго покрытъ медалями, тогда-какъ ему по-

жалована была только одна награда: „Я поставилъ,—объясняетъ онъ, мою медаль на одинъ изъ номеровъ рулетки и такъ-какъ этотъ номеръ выигралъ, то я получилъ право на тридцать шесть своихъ ставокъ“. Это объясненіе очень похоже на замѣчаніе Жибуайе въ комедіи *Effrontés*. Говорятъ о сорокалѣтней невѣстѣ, подвѣчное платье которой украшаетъ флёръ-д'оранжъ <sup>1)</sup>. „Она имѣетъ право на цѣлый апельсинъ“, замѣчаетъ Жибуайе.

Но мы никогда не кончили-бы, если-бы вздумали перебирать одинъ за другимъ всѣ изложенные нами законы и провѣрять ихъ на томъ, что мы называли плоскостью языка. Мы поступимъ благоразумно, если будемъ придерживаться трехъ общихъ положеній, данныхъ нами въ послѣдней главѣ. Мы показали, что „серіи событій“ могутъ становиться комическими или вслѣдствіи повторенія или вслѣдствіе инверсіи, или, наконецъ, благодаря интерференціи. Мы сейчасъ увидимъ, что такъ обстоитъ дѣло и съ серіями словъ.

Если взять тѣ или инныя серіи событій и повторить ихъ въ иномъ тонѣ или въ иной средѣ, или-же переставить ихъ, сохраняя за ними все-же смыслъ, или-же, смѣшать ихъ такимъ образомъ, чтобы присущія каждому изъ нихъ значенія интерферировали между собою,—это будетъ, говорили-мы, всегда смѣшно, потому-что это значитъ добиться отъ жизни, чтобы она позволила обращаться съ собой, какъ съ чѣмъ-то механическимъ. Но мысль есть также нѣчто живое. И языкъ, который выражаетъ мысль, долженъ-бы быть такимъ-же живымъ, какъ и сама мысль.

Понятно, поэтому, что фраза станетъ смѣшной, если, будучи перевернута, она пріобрѣтетъ новый смыслъ, или если она выражаетъ безразлично двѣ совершенно независимыя системы идей, или, наконецъ, если она выражаетъ какую-нибудь идею въ тонѣ, не соотвѣтствующемъ этой послѣдней. Таковы, дѣйствительно, три основныя закона того, что можно было-бы назвать комическимъ пре-

---

<sup>1)</sup> Флёръ д'оранжъ — цвѣты апельсиноваго дерева.—Прим. переводчика.

образованіемъ предложеній. Мы покажемъ это на нѣсколькихъ примѣрахъ.

Замѣтимъ прежде всего, что эти три закона далеко не одинаково важны съ точки зрѣнія теоріи комическаго. Инверсія—пріемъ наименѣе интересный. Но его, должно быть, легко примѣнять, такъ-какъ я замѣтилъ, что професіональные остряки, услышавъ какую-нибудь фразу, сейчасъ-же пытаются придать ей иной смыслъ, переставляя въ ней для этого слова, ставя, напимѣръ, подлежащее на мѣсто дополненія и дополненіе на мѣсто подлежащаго. Этимъ пріемомъ нерѣдко пользуются для того, чтобы въ болѣе или менѣе шутливой формѣ опровергнуть какую-нибудь мысль. Въ одной изъ комедій Лабипша одно дѣйствующее лицо кричитъ верхнему жильцу, который бросаетъ соръ на его балконъ: „Зачѣмъ вы вытряхиваете свою трубку на мой балконъ“? На это голосъ жильца отвѣчаетъ: „Зачѣмъ вы подставляете свой балконъ подъ мою трубку“? Подобныхъ примѣровъ можно привести сколько угодно, но я не буду на нихъ останавливаться.

Интерференція двухъ системъ идей въ одной и той-же фразѣ служитъ неисчерпаемымъ источникомъ забавныхъ эффектовъ. Есть много способовъ получить подобную интерференцію, т.-е. придать одной и той-же фразѣ два независимыхъ значенія, которыя накладываются одно на другое. Ниже всѣхъ среди нихъ стоитъ каламбуръ. Въ каламбурѣ одна фраза, на первый взглядъ, имѣетъ два независимыхъ значенія; но это только такъ кажется, въ дѣйствительности-же здѣсь имѣются двѣ различныя фразы, составленныя изъ различныхъ словъ, при чемъ обыкновенно стараются показать, что смѣшиваютъ слова, пользуясь тѣмъ, что они одинаково звучатъ. Отъ каламбура можно незамѣтно перейти къ настоящей игрѣ словъ. Здѣсь двѣ системы идей дѣйствительно заключаются въ одной и той-же фразѣ, и мы имѣемъ дѣло съ одними и тѣми-же словами; здѣсь пользуются различными значеніями, которыя можетъ имѣть одно и то-же слово, особенно при переходѣ отъ его прямого смысла къ переносному. Поэтому часто можно найти лишь самую незначительную разницу между игрой словъ, съ одной стороны, и поэтической метафорой или

назидательнымъ сравненіемъ—съ другой. Тогда какъ назидательное сравненіе и яркій поэтический образъ всегда обнаруживаютъ прочную внутреннюю согласованность между языкомъ и приодомъ, а игра словъ скорѣе вызываетъ мысль о нѣкоторой небрежности языка, который словно забылъ на мгновенье о своемъ истинномъ назначеніи и вознамѣрился приспособлять окружающее къ себѣ, вмѣсто того, чтобы самому къ нему приспособляться. Игра словъ всегда выдаетъ минутную разсѣянность языка и именно въ этомъ ея забавность.

Инверсія и интерференція это, въ сущности, — игра остроумія, сводящаяся къ игрѣ словъ. Гораздо глубже комизмъ, создаваемый перемѣщеніемъ. Дѣйствительно, перемѣщеніе, въ разговорномъ языкѣ есть то-же что повтореніе въ комедіи.

Мы указывали уже, что повтореніе—излюбленный приѣмъ классической комедіи. Оно состоитъ въ такомъ расположеніи событій, при которомъ какая-нибудь сцена воспроизводится или тѣми-же лицами въ новыхъ условіяхъ, или новыми лицами въ тѣхъ-же условіяхъ. Такъ напримѣръ, прислуга разыгрываетъ болѣе грубымъ языкомъ сцену, уже сыгранную господами. Возьмите теперь нѣсколько мыслей, выраженныхъ соотвѣтствующимъ имъ стилемъ и находящихся, слѣдовательно, въ своей естественной средѣ. Если вы придумаете способъ перенести ихъ въ иную среду, сохраняя ихъ прежнія взаимныя отношенія, или, другими словами, если вы выразите ихъ совершенно инымъ слогомъ и переложите ихъ на иной тонъ, то получите комедію языка, самъ языкъ будетъ комиченъ. Вовсе нѣтъ надобности при этомъ давать дѣйствительно оба выраженія одной и той-же мысли—выраженіе, полученное при перемѣщеніи, и выраженіе естественное. Мы знаемъ естественное выраженіе, потому-что его намъ подсказываетъ инстинктъ. Слѣдовательно, изобрѣтательность въ комическомъ должна направиться на другое выраженіе и только на него.

Разъ это второе выраженіе намъ дано, мы сами найдемъ первое. Отсюда слѣдующее общее правило: комическій эффектъ получится всякій разъ, когда мы

переложимъ естественное выраженіе какой-нибудь мысли на другой тонъ.

Способы переложенія такъ многочисленны и разнообразны, языкъ такъ богатъ послѣдовательными оттѣнками тоновъ, комическое можетъ пройти черезъ такое множество степеней, начиная съ самаго плоскаго шутовства и кончая самыми высшими формами юмора и ироніи, что мы отказываемся ихъ перечислять. Достаточно будетъ, установивъ правило, дать нѣсколько болѣе важныхъ его примѣненій.

Прежде всего мы различаемъ два крайнихъ тона: торжественный и обыденный. Наиболѣе сильные эффекты получатся при простомъ переложеніи съ одного тона на другой. Отсюда два противоположныхъ направленія комической фантазіи.

Перелагая торжественное на обыденное, мы получаемъ пародію. Пародія, такимъ образомъ опредѣленная, получается и въ тѣхъ случаяхъ, когда обыденными словами выражена одна изъ такихъ мыслей, которыя, хотя-бы въ силу привычки, принято выражать другимъ стилемъ. Примѣромъ можетъ служить слѣдующее описаніе восхода солнца, цитируемое Жаномъ-Полемъ Рихтеромъ. „Небо начало мѣняться изъ чернаго цвѣта въ красный, подобно раку, который варится“. Тотъ-же эффектъ, замѣтимъ, получается тогда, когда о чемъ-нибудь античномъ говорятъ современнымъ слогомъ, потому что классическая древность окружена ореоломъ поэзіи.

Именно комизмъ пародіи, несомнѣнно, подаль мысль нѣкоторымъ философамъ, — въ частности Александру Бэну, — опредѣлить комическое вообще, какъ уничтоженіе. Смѣшное получается въ тѣхъ случаяхъ, „когда предметъ, нѣкогда почитавшійся, изображаютъ намъ, какъ нѣчто незначительное, презрѣнное“. Но если нашъ анализъ правиленъ, то уничтоженіе есть лишь одна изъ формъ переложенія и само переложеніе есть лишь одинъ изъ способовъ вызвать смѣхъ. Но этихъ способовъ имѣется безчисленное множество, и источникъ смѣха надо искать гораздо выше. Впрочемъ, не заходя такъ далеко, можно видѣть, что если переложеніе торжественнаго въ тривіальное, лучшаго въ худшее комично, то переложеніе обратное можетъ оказаться еще болѣе комичнымъ.

Оно встрѣчается такъ-же часто, какъ и первое. И можно, мнѣ кажется, различать двѣ главныя формы его, смотря по тому, относится-ли оно къ величинѣ предметовъ или къ ихъ значенію.

Говорить о мелкихъ вещахъ такъ, какъ если-бы онѣ были большими, вообще говоря, значитъ, преувеличивать. Преувеличеніе всегда будетъ комическимъ, если оно длительно, а особенно, если къ нему прибѣгаютъ систематически; дѣйствительно, въ этомъ случаѣ оно выступаетъ, какъ способъ переложенія на другой тонъ. Оно такъ успѣшно вызываетъ смѣхъ, что нѣкоторые авторы опредѣляли комическое, какъ преувеличеніе, подобно тому, какъ другіе опредѣляли его какъ уничиженіе. Въ дѣйствительности-же преувеличеніе, совершенно такъ-же, какъ и уничиженіе, есть лишь извѣстная форма извѣстнаго вида комическаго. Но это очень яркая форма комическаго. Она породила героико-комическій эпосъ; жанръ этотъ, правда, нѣсколько устарѣлъ, но его слѣды встрѣчаются вездѣ, гдѣ преувеличеніе является обычнымъ. О хвастовствѣ можно сказать, что часто именно его героико-комическая сторона вызываетъ нашъ смѣхъ.

Болѣе искусственнымъ, но и болѣе утонченнымъ является переложеніе низкаго въ высокое, относящееся къ значенію вещей, а не къ ихъ величинѣ. Выразаться прилично о неприличномъ, взять какое-нибудь скабрѣзное положеніе, какое-нибудь грубое занятіе, пошлое поведеніе и описывать ихъ въ выраженіяхъ строгой *respectability*,—это обыкновенно комично. Я умышленно употребляю англійское слово,—самый приѣмъ этотъ—англійскій. Безчисленные примѣры его можно встрѣтить у Диккенса, Тэккерея, вообще въ англійской литературѣ. Замѣтимъ мимоходомъ: сила эффекта не зависитъ здѣсь отъ его продолжительности. Иногда достаточно одного слова, лишь бы это слово раскрывало передъ нами цѣлую систему переложенія, приложенную къ извѣстной средѣ, и обнаруживало безнравственность, организованную, такъ сказать, на началахъ нравственности. Я приведу только замѣчаніе важнаго чиновника одному изъ своихъ подчиненныхъ у Гоголя. „Ты воруетъ слишкомъ много для человѣка твоего чина“.

Резюмируемъ сказанное: существуетъ два крайнихъ предѣла сравненія,—очень большое и очень маленькое, наилучшее и наихудшее,—между которыми возможно перемѣщеніе въ томъ или другомъ направленіи. Суживая постепенно промежутокъ между ними, мы будемъ получать предѣлы, съ контрастомъ все менѣе и менѣе рѣзкимъ и эффекты комическаго переложенія все болѣе и болѣе тонкіе.

Наиболѣе общимъ изъ этихъ противоположеній будетъ, можетъ быть, противоположеніе реальнаго идеальному, того, что есть, тому, что должно-быть. И здѣсь переложеніе можетъ совершаться въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ. Иногда, притворяясь, говорятъ о должномъ, какъ о существующемъ въ дѣйствительности: въ этомъ состоитъ иронія. Иногда, напротивъ, подробно и тщательно описываютъ существующее какъ должное. Это—любимый приемъ юмора. Юморъ, въ такомъ опредѣленіи, противоположенъ ироніи. Оба они—формы сатиры, но иронія—приемъ ораторскій, а юморъ имѣетъ научную видимость. Иронія усиливается по мѣрѣ того, какъ говорящій все болѣе и болѣе воодушевляется идеей блага, которая должна быть; вотъ почему иронія можетъ внутренне воспламеняться до того, что становится своего рода сгущеннымъ краснорѣчіемъ. Юморъ же усиливается, напротивъ, по мѣрѣ того, какъ мы спускаемся все ниже и ниже въ самыя глубины зла существующаго, чтобы съ холоднымъ безстрастіемъ отмѣтить всѣ его особенности. Многіе авторы, между прочимъ, и Жанъ Поль, замѣчаютъ, что юморъ имѣетъ склонность ко всему конкретному,—къ техническимъ подробностямъ, къ точнымъ фактамъ. Если нашъ анализъ правиленъ, то это не случайная черта юмора, а самая его сущность. Юмористъ—это моралистъ въ нарядѣ ученаго, своего ученаго, своего рода анатомъ, разсѣкающій трупъ только для того, чтобы внушить намъ отвращеніе къ нему; и юморъ, въ томъ тѣсномъ смыслѣ, въ какомъ мы беремъ это слово здѣсь, есть перемѣщеніе моральнаго въ научное.

Суживая еще болѣе разстояніе между предѣльными категориями, перемѣщаемыми одна въ другую, мы будемъ получать системы комическаго переложенія все болѣе и болѣе спеціальныя. Такъ нѣкоторыя профессіи имѣютъ свой

особый технический языкъ; сколько получается комическихъ эффектовъ при переложеніи на этотъ профессиональный языкъ понятій изъ повседневной жизни! Равно комично распространеніе дѣлового языка на свѣтскія отношенія, на примѣръ, свѣдующая фраза одного изъ персонажей Лабинша, относящаяся къ полученному имъ пригластительному письму: „Ваше дружеское отъ 3 истекшаго“ и перелагающая такимъ образомъ обычную коммерческую формулу: „Ваше почтенное отъ 3 текущаго“. Этотъ родъ комическаго можетъ, впрочемъ достигъ особенной глубины, когда онъ показываетъ, не только профессиональную привычку, какой-нибудь нравственный порокъ. Вспомните сцены въ *Faux Bonshommes* и въ *Famille Benoston*, въ которыхъ о замужествѣ говорится, какъ о сдѣлкѣ, и вопросы чувства обсуждаются въ выраженіяхъ строго коммерческихъ.

Но мы подходимъ здѣсь къ пункту, въ которомъ особенности языка только передаютъ особенности характера; болѣе подробнымъ образомъ мы займемся имъ въ слѣдующей главѣ. И какъ и слѣдовало ожидать и какъ можно было предвидѣть на основаніи всего предыдущаго, комическое слово близко слѣдуетъ за комическимъ положеніемъ и теряется, вмѣстѣ съ этимъ послѣднимъ видомъ комическаго, въ комическомъ характерѣ. Языкъ даетъ комическіе эффекты только потому, что онъ есть дѣло человѣка и приспособленъ, насколько возможно точно, къ формамъ человѣческаго мышленія. Мы чувствуемъ въ немъ нѣчто, живущее нашей жизнью; и если-бы эта жизнь языка была полна и совершенна, если-бы въ ней не было ничего застывшаго, если-бы, однимъ словомъ, языкъ былъ организмомъ строго единымъ, неспособнымъ раскалываться на независимые организмы, комизмъ былъ-бы чуждъ ему, какъ былъ-бы онъ чуждъ и душѣ, живущей жизнью гармонически слитной, нераздѣльной, подобной спокойной водной поверхности. Но нѣтъ пруда, на поверхности котораго не плавали-бы сухіе листья, нѣтъ такой человѣческой души, на которой не откладывались-бы привычки, дѣлающія ее косной по отношенію къ себѣ самой и тѣмъ самымъ дѣлающія ее косной по отношенію къ другимъ, нѣтъ, наконецъ, языка настолько гибкаго, настолько глубоко живого, на-

столько выдержаннаго въ цѣломъ и въ каждой своей части, способнаго отбросить все шаблонное и противостоять механическимъ операціямъ перестановки, переложенія и т. п., которыя мы вздумали-бы производить надъ нимъ, какъ надъ вещью. Косное, шаблонное, механическое въ ихъ противоположеніи гибкому, вѣчно измѣняющемуся, живому; разсѣянность въ противоположеніи свободной дѣйственности, — вотъ въ общемъ, то, что подчеркиваетъ и стремится исправить смѣхъ. Свѣтомъ этой идеи освѣщался нашъ путь, когда мы только приступили къ нашему анализу комическаго. Она свѣтила намъ на всѣхъ трудныхъ поворотахъ нашего пути. Съ ея-же помощью мы предпримемъ изслѣдованіе болѣе важное и, мы надѣемся, болѣе поучительное. Мы намѣрены перейти теперь къ изученію комическихъ характеровъ, точнѣе — къ опредѣленію существенныхъ условій комедіи характеровъ, но стараясь при этомъ, чтобы это изученіе позволило намъ выяснитъ истинную природу искусства, а также общее отношеніе искусства къ жизни.

---

### ГЛАВА III.

#### **Комическое Характера.**

##### I.

Мы прослѣдимъ комическое по всему его сложному пути, наблюдая, какъ оно просачивается въ формы, позы, жесты, положенія, дѣйствія, слова. Переходя къ анализу комическихъ характеровъ, мы приступаемъ къ самой важной части нашей работы. Она была бы и самой трудной, если бы мы поддались искушенію опредѣлить смѣшное на нѣсколькихъ особенно яркихъ и, слѣдовательно, грубыхъ примѣрахъ; тогда, по мѣрѣ того, какъ мы поднимались-бы къ самымъ высокимъ проявленіямъ комическаго, факты на нашихъ глазахъ проскальзывали-бы сквозь слишкомъ широкія петли опредѣленія, которое не могло-бы ихъ захватить. Но мы слѣдовали въ дѣйствительности обратному методу; мы направляли свѣтъ сверху внизъ. Будучи убѣж-

дены въ томъ, что смѣхъ имѣеть общественный характеръ и общественное значеніе, что комическое выражаетъ прежде всего извѣстную неприспособленность личности къ обществу, что комическое связано съ человѣкомъ и только съ нимъ,—мы прежде всего сосредоточили наше вниманіе на характерѣ. Трудность заключалась скорѣе въ объясненіи того, какимъ образомъ смѣхъ вызывается не только характеромъ, но и чѣмъ-то другимъ, и каковы тѣ неуловимыя просасыванія, соединенія или смѣшенія, посредствомъ которыхъ комическое можетъ проникнуть въ простое движеніе, въ какое-нибудь безличное положеніе, въ отдѣльную фразу. Этимъ мы занимались до сихъ поръ. Мы брали металлъ въ чистомъ видѣ, и всѣ наши усилія направлялись на то, чтобы возстановить руду. Теперь мы будемъ изучать самый металлъ. Это не представить никакихъ затрудненій, потому-что на этотъ разъ мы будемъ имѣть дѣло съ простымъ тѣломъ. Присмотримся къ нему поближе и посмотримъ, какъ оно реагируетъ на все остальное.

Существуютъ, говорили мы, душевныя состоянія, которыя волнуютъ насъ какъ только мы о нихъ узнаемъ, радости и печали, которымъ мы сочувствуемъ, страсти и пороки, которые вызываютъ скорбное недоумѣніе, ужасъ или сожалѣніе въ тѣхъ, кто созерцаетъ ихъ, словомъ, чувства, которыя посредствомъ сочувственныхъ откликовъ переходятъ отъ одной души къ другой. Все это затрагиваетъ самую сущность жизни. Все это—серьезно и иногда даже трагично. Комедія можетъ начаться только тамъ, гдѣ личность другого человѣка перестаетъ насъ трогать. И она зарождается вмѣстѣ съ тѣмъ, что можно назвать косностью по отношенію къ общественной жизни. Человѣкъ комиченъ, когда идетъ автоматически по своему пути, онъ не думаетъ, что можетъ столкнуться съ другими людьми. Тогда является смѣхъ, чтобы избавить его отъ разсѣянности и вывести изъ мечтательности. Если позволительно сравнивать великое съ малымъ, то напомнимъ, что происходитъ при поступленіи въ наши школы. Когда поступающій прошелъ черезъ пытки экзаменовъ, ему надо храбро вынести еще другія; ему ихъ готовятъ его старшіе товарищи, чтобы приспособить его къ новой средѣ, въ которую

онъ вступаетъ, чтобы сдѣлать его, какъ говорится, шелковымъ. Всякое маленькое общество, которое образуется въ нѣдрахъ большого, стремится, направляемое смутными инстинктами, найти способъ исправленія и сглаживанія косяности привычекъ, которыя усвоены въ другой средѣ и должны быть измѣнены. Общество въ собственномъ смыслѣ дѣйствуетъ такимъ-же образомъ. Каждый его членъ долженъ быть внимателенъ къ окружающему, долженъ приспосабливаться къ средѣ, а не замыкаться въ самомъ себѣ, въ своемъ внутреннемъ мірѣ, какъ въ башнѣ изъ слоновой кости. Вотъ почему оно старается, чтобы всегда надъ каждымъ рѣяла если не угроза наказаніемъ, то хотя-бы перспектива униженія, которое, какъ-бы оно ни было незначительно, все-таки пугаетъ. Такова должна быть роль смѣха. Всегда нѣсколько обидный для того, кого онъ преслѣдуетъ, смѣхъ дѣйствительно есть нѣчто въ родѣ мѣры общественной выучки.

Отсюда—двойственный характеръ комическаго. Оно не принадлежитъ цѣликомъ не искусству, ни жизни. Люди и ихъ реальная жизнь никогда не вызвали-бы нашего смѣха, если-бы мы не были способны смотрѣть на нихъ, какъ на представленіе, которое мы видимъ изъ нашей логи; они становятся смѣшными на нашъ взглядъ только потому, что разыгрываютъ передъ нами комедію. Но съ другой стороны даже въ театрѣ удовольствіе, доставляемое намъ смѣхомъ, не есть удовольствіе чистое, т.-е. исключительно эстетическое, вполне безкорыстное. Къ нему всегда примѣшивается нѣкоторая задняя мысль, которая имѣется для насъ у общества, если ея нѣтъ у насъ самихъ. Въ немъ всегда есть скрытое намѣреніе унизить и, тѣмъ самымъ, правда, исправить, по крайней мѣрѣ внѣшне. Вотъ почему комедія ближе къ реальной жизни, чѣмъ драма. Чѣмъ величественнѣе драма, тѣмъ глубже обработка, которой поэтъ долженъ былъ подвергнуть дѣйствительную жизнь, чтобы выдѣлить изъ нея трагическое въ чистомъ видѣ. Комедія, наоборотъ, только въ самыхъ низшихъ своихъ видахъ, въ водевилѣ и въ фарсѣ, рѣзко расходится съ жизнью: чѣмъ выше она поднимается, тѣмъ больше стремится слиться съ нею, и въ дѣйствительной жизни, бываютъ сцены настолько близкія

къ высшимъ видамъ комедіи, что театръ могъ-бы воспользо-  
ваться ими, не измѣняя въ нихъ ни одного слова.

Отсюда слѣдуетъ, что элементы комическаго характера  
будутъ на сценѣ тѣ-же, что и въ жизни. Каковы они? Намъ  
не трудно будетъ выдѣлить ихъ.

Не разъ говорилось, что именно легкіе недостатки  
нашихъ ближнихъ вызываютъ нашъ смѣхъ. Я признаю, что  
въ этомъ мнѣніи есть большая доля правды и тѣмъ не ме-  
нѣе я не могу его признать вполне правильнымъ. Прежде все-  
го, что касается недостатковъ, то довольно трудно провести  
границу между незначительнымъ и крупнымъ; быть можетъ  
не потому недостатокъ незначителенъ, что вызываетъ нашъ  
смѣхъ, а потому-что онъ вызываетъ нашъ смѣхъ, мы его  
находимъ незначительнымъ, ничто не обезоруживаетъ такъ,  
какъ смѣхъ. Но можно пойти дальше, можно сказать, что  
есть недостатки, надъ которыми мы смѣемся, зная, что это  
недостатки крупные: примѣръ - скупость Гарпагона. И нако-  
нецъ надо-же сознаться, — хотя это и не такъ легко, — что  
мы смѣемся не только надъ недостатками своихъ ближ-  
нихъ, но иногда и надъ ихъ достоинствами. Мы смѣемся  
надъ Альцестомъ. Намъ скажутъ, что комична не самая  
честность Альцеста, а та особая форма, которую честность  
принимаетъ у него, ея нѣкоторая странность, портящая ее.  
Согласенъ, но тѣмъ не менѣе, эта странность Альцеста,  
надъ которой мы смѣемся, дѣлаетъ смѣшной его  
честность, и это — главное. Мы можемъ, слѣдовательно,  
сдѣлать тотъ выводъ, что комическое не есть всегда при-  
знакъ недостатка, въ моральномъ смыслѣ этого слова, и  
тотъ, кто видитъ въ комическомъ непременно недостатокъ,  
и недостатокъ мелкій, долженъ точно указать намъ, каковы  
отличительные признаки мелкаго и крупнаго.

Неоспоримо, что комическое лицо можетъ приближи-  
тельно находиться въ согласіи съ строгой моралью. Но  
оно должно упорядочить свои отношенія къ обществу. Аль-  
цестъ — безукоризненно честный человѣкъ. Но онъ не при-  
способленъ къ обществу и потому комиченъ. Гибкій по-  
рокъ труднѣе представить въ смѣшномъ видѣ, чѣмъ непре-  
клонную добродѣтель. Подъ подозрѣніемъ у общества на-  
ходится только косность. Именно косность Альцеста и

вызываетъ нашъ смѣхъ, хотя косность въ данномъ случаѣ—это честность. Кто изолируется, тотъ рискуетъ сдѣлаться смѣшнымъ. Подобное обособленіе и есть главная причина комическаго. Вотъ почему комическое такъ часто оказывается связаннымъ съ нравами, понятіями—скажемъ прямо—съ предрасудками общества.

Тѣмъ не менѣе, надо признать къ чести человѣчества, что идеаль общественный и идеаль моральный существенно между собой не разнятся. Мы можемъ, слѣдовательно, принять, какъ общее правило, что нашъ смѣхъ вызывается недостатками окружающихъ, прибавляя, правда, при этомъ, что недостатки вызываютъ нашъ смѣхъ скорѣе выражающейся въ нихъ необщительностью, чѣмъ своей безнравственностью. Остается только опредѣлить, какіе недостатки могутъ стать комическими и въ какихъ случаяхъ мы считаемъ ихъ слишкомъ серьезными, чтобы смѣяться надъ ними.

Но на этотъ вопросъ мы уже дали въ скрытой формѣ отвѣтъ. Комическое, говорили мы, обращается только къ разуму; смѣхъ не совмѣстимъ съ душевнымъ волненіемъ. Опишите мнѣ какой-нибудь недостатокъ—самый незначительный, какой вамъ будетъ угодно; если вы своимъ рассказомъ о немъ вызовете во мнѣ чувство симпатіи, боязни или состраданія,—конечно, я не могу уже смѣяться надъ нимъ. Выберите, напротивъ, даже глубокій, страшно-отвратительный порокъ: вы сможете его сдѣлать смѣшнымъ, если вамъ предварительно удастся различными соотвѣтственными искусственными приемами достигъ того, чтобы я остался къ нему равнодушенъ. Я не говорю, что порокъ станетъ тогда смѣшнымъ, я говорю, что при этомъ условіи онъ сможетъ стать таковымъ. Онъ не долженъ волновать—вотъ единственное, дѣйствительно необходимое условіе, хотя, конечно, одного его недостаточно.

Но какимъ-же образомъ комическій поэтъ можетъ помѣшать мнѣ волноваться? Вопросъ не изъ легкихъ. Чтобы исполнъ выяснитъ его пришлось-бы углубиться въ нѣсколько иную область, проанализировать то искусственное сочувствіе, которое мы испытываемъ въ театрѣ, опредѣлить, въ какихъ случаяхъ мы соглашаемся, а въ какихъ отказываемся раз-

дѣлать воображаемыя радости и страданія. Существуетъ способъ убаюкивать нашу чувствительность и готовить ее къ внушенію, какъ это дѣлается при гипнозѣ. И есть также способъ охладить нашу симпатію именно въ тотъ моментъ, когда она проявляется,—охладить въ такой степени, что даже серьезное положеніе не будетъ нами принято въ серьезъ. Для этой цѣли особенно дѣйствительны, какъ мнѣ кажется, два приема, обыкновенно примѣняемые болѣе или менѣе сознательно комическими поэтами. Первый состоитъ въ томъ, чтобы о б о с о б и т ь въ душѣ дѣйствующаго лица то чувство, которое въ немъ пробуждаютъ, обратить это чувство, такъ сказать, въ паразитическое состояніе, дать ему самостоятельное существованіе. Обычно сильное чувство подчиняетъ себѣ мало по малу всѣ другія душевныя состоянія и окрашиваетъ ихъ присущимъ ему цвѣтомъ: если насъ дѣлаютъ зрителями этого постепеннаго проникновенія, мы въ концѣ концовъ сами начинаемъ проникаться соотвѣтствующимъ чувствомъ. Прибѣгая къ другому сравненію, можно сказать, что всякое душевное волненіе будетъ драматично, заразительно, если всѣ его гармоническіе тона сопутствуютъ основной нотѣ. Разъ артистъ вибрируетъ всѣмъ своимъ существомъ, публика, въ свою очередь, можетъ начать вибрировать... Напротивъ, въ душевномъ волненіи, которое оставляетъ насъ безразличными, которое можетъ стать комическимъ, есть всегда нѣкоторая косность, мѣшающая ему захватить остальную часть души, въ которой оно происходитъ. Въ извѣстный моментъ эта косность можетъ проявиться въ движеніяхъ, напоминающихъ картоннаго плясуна, и вызвать нашъ смѣхъ, но и раньше она не вызывала нашего сочувствія: какъ можно чувствовать согласно съ душой, которая сама не обладаетъ внутреннимъ согласіемъ? Въ С к у п о м ѣ есть сцена, которая очень близко подходитъ къ драмѣ. Это та сцена, въ которой должникъ и ростовщикъ, ни разу не видѣвшіе другъ друга, сходятся лицомъ къ лицу и оказываются сыномъ и отцомъ. Это была-бы подлинная драма, если-бы скупость и родительское чувство, столкнувшись въ душѣ Гарпагона, сочетались-бы въ ней въ нѣчто новое. Но этого нѣтъ. Только-что свиданіе закончилось, какъ отецъ уже все забылъ.

Встрѣтивъ снова своего сына, онъ вскользь вспоминаетъ объ этой драматической сценѣ: „А ты, мой сынъ, которому я по добротѣ своей прощаю недавнюю исторію, и т. д.“. Скупость прошла мимо всего остального, ничего не затронувъ, не будучи затронута сама,—прошла разсѣянно. Не смотря на то, что она поселилась въ душѣ, несмотря, на то, что она тамъ хозяйка, она все-таки остается въ ней чужестранкой. Совершенно иной была-бы скупость трагическаго характера. Она притянула-бы къ себѣ, поглотила, рас-творила,—претворивъ въ себѣ,—всѣ силы живого существа: чувства и привязанности, желанія и антипатіи, пороки и добродѣтели,—для нея все это было-бы матеріаломъ, которому она дала-бы жизнь новаго характера. Такова, какъ мнѣ кажется, первое существенное различіе между совершенной комедіей и драмой.

Есть и другое, гораздо болѣе явное, вытекающее, впрочемъ, изъ перваго. Когда намъ изображаютъ какое-нибудь душевное состояніе съ цѣлью придать ему драматичность или просто заставить насъ серьезно отнестись къ нему, его претворяютъ мало по малу въ дѣйствія, которыя служатъ ему точной мѣркой. Такъ скупой все будетъ сводить къ выгодѣ; ханжа, притворяясь, что всѣ его помыслы на небѣ, будетъ стараться получше устроиваться на землѣ. Въ комедіи, конечно, такого рода комбинаціи тоже встрѣчаются, мнѣ достаточно указать на продѣлки Тартюфа. Но это и есть то общее, что комедія имѣетъ съ драмой, и чтобы отмежеваться отъ этой послѣдней, чтобы помѣшать намъ отнестись серьезно къ серьезному дѣйствию, чтобы подготовить насъ, наконецъ, къ смѣху, комедія пользуется приѣмомъ, который я могу опредѣлить такъ: вмѣсто того, чтобы сосредоточивать наше вниманіе на дѣйствіяхъ, она направляетъ его главнымъ образомъ на жесты. Подъ жемами я понимаю здѣсь позы, движенія и даже рѣчь, въ которыхъ извѣстное душевное состояніе проявляется безъ особой цѣли, безъ корысти, лишь въ силу непреодолимаго внутренняго желанія проявить себя. Жестъ, въ такомъ опредѣленіи, глубоко отличается отъ дѣйствія. Дѣйствіе преднамѣренно, во всякомъ случаѣ сознательно, жестъ произволенъ и автоматиченъ. Въ дѣйствіи участвуетъ

вся личность цѣликомъ; въ жестѣ проявляется только отдѣльная часть личности, безъ вѣдома или по крайней мѣрѣ помимо личности въ цѣломъ. Наконецъ (и это — важный пунктъ) дѣйствіе въ точности соразмѣрено съ чувствомъ, которое его внушаетъ; существуетъ постепенный переходъ отъ одного къ другому, такъ-что наше сочувствіе или наше отвращеніе могутъ скользить по нити, идущей отъ чувства къ поступку и прогрессивно усиливаться. Жестъ-же — это нѣчто, напоминающее дѣйствіе взрыва; онъ пробуждаетъ нашу воспріимчивость, готовую дать себя убаюкать и, заставляя насъ опомниться, онъ мѣшаетъ намъ относиться серьезно къ происходящему. Слѣдовательно, какъ только вниманіе наше сосредоточится на жестѣ, а не на дѣйствіи, передъ нами будетъ комедія. Тартюфъ, по своимъ дѣйствіямъ, долженъ-бы принадлежать къ драмѣ; и только когда мы обращаемъ вниманіе главнымъ образомъ на его жесты, мы находимъ его комическимъ. Вспомнимъ его выходъ на сцену: „Лоранъ, спрячь плетъ мою и власяницу“. Онъ знаетъ, что Дорина слышитъ его, но я убѣжденъ, что онъ сказалъ-бы то-же самое, если-бы ея тамъ не было. Онъ такъ хорошо вошелъ въ роль лицемеръ, что играетъ ее, такъ сказать, искренно. Поэтому, и только поэтому, онъ можетъ стать комиченъ. Безъ этой грубой откровенности, безъ этихъ позъ, безъ этого языка, которые отъ долгой практики лицемерья приняли у него естественный характеръ, Тартюфъ былъ-бы просто на просто отвратителенъ, потому-что мы обращали-бы тогда вниманіе только на тѣ цѣли, которыя онъ преслѣдуетъ. Понятно, такимъ образомъ, что дѣйствіе въ драмѣ—это сущность, въ комедіи-же—нѣчто второстепенное. Въ комедіи мы чувствуемъ, что можно было-бы взять любое другое положеніе, чтобы представить намъ то или иное дѣйствующее лицо: это былъ-бы все тотъ-же человѣкъ, только въ иномъ положеніи. Драма не даетъ намъ этого впечатлѣнія. Здѣсь дѣйствующія лица и ихъ положенія слиты воедино или, вѣрнѣе говоря, событія составляютъ неразрывное цѣлое съ ними, такъ-что если-бы въ драмѣ изображались другія событія, то хотя-бы дѣйствующія лица носили тѣ-же имена, мы имѣли-бы въ дѣйствительности дѣло съ другими людьми.

Резюмируемъ сказанное: мы видѣли, что хорошъ-ли или дуренъ характеръ, все равно: будучи неприспособленъ къ обществу, онъ можетъ всегда стать комическимъ. Теперь мы видимъ, что серьезность положенія также не важна: будетъ-ли порокъ значительнымъ или легковѣснымъ, онъ всегда сможетъ вызвать нашъ смѣхъ, если только дѣло обставлено такъ, что онъ насъ не волнуетъ. Неприготовленность дѣйствующаго лица къ обществу и нечувствительность зрителя—вотъ, въ общемъ, два существенныхъ условія наличности комедіи. Есть еще третье, заключающееся въ этихъ двухъ, которое мы постоянно при нашемъ анализѣ старались выявлять.

Это—автоматизмъ. Мы указали на него въ самомъ началѣ нашей работы и все время обращали на него вниманіе: дѣйствительно смѣшнымъ можетъ быть только то, что совершается автоматически. И въ недостаткѣ, и даже въ достоинствѣ комическимъ будетъ все то, что происходитъ безъ вѣдома дѣйствующаго лица: произвольный жестъ, необдуманное слово. Всякая разсѣянность комична. И чѣмъ глубже разсѣянность, тѣмъ выше комизмъ. Такая систематическая разсѣянность, какъ разсѣянность Донъ-Кихота, это—самое комическое, что только можно вообразить себѣ въ мірѣ: это самъ комизмъ, почерпнутый какъ нельзя ближе къ самому источнику его. Возьмите какое угодно комическое лицо. Какъ-бы сознательно оно ни относилось къ тому, что говорить и дѣлаетъ, но если оно комично, то комично только тѣмъ, что въ его личности есть нѣчто, чего оно само не знаетъ, есть сторона, невидимая ему самому и которою исключительно оно и вызываетъ нашъ смѣхъ. Слова глубоко комическія—это слова наивныя, въ которыхъ порокъ выступаетъ въ совершенно оголенномъ видѣ: откуда-бы взялась такая откровенность, если-бы человѣкъ былъ способенъ самъ себя видѣть и судить о своихъ поступкахъ? Нерѣдко комическое лицо осуждаетъ какой-нибудь недостатокъ вообще и непосредственно вслѣдъ за тѣмъ само проявляетъ его: примѣромъ можетъ служить учитель философіи Журденъ, разсердившійся тотчасъ-же послѣ того какъ проповѣдывалъ, что раздражаться не слѣдуетъ; или Вадіусъ, вытаскивающій изъ кармана стихи послѣ того, какъ высмѣ-

валъ тѣхъ, кто любитъ читать ихъ, — и т. п. Чего можно достичь, показывая подобную противорѣчивость, какъ ни того, что мы во-очію убѣдимся въ безсознательности выведенныхъ лицъ? Невнимательность къ себѣ, а, слѣдовательно, и къ другимъ, вотъ что мы здѣсь видимъ. И если всмотрѣться поближе, то мы увидимъ, что невнимательность какъ-разъ совпадаетъ здѣсь съ тѣмъ, что мы назвали неприспособленностью къ обществу. Важнѣйшая причина косности заключается въ томъ, что человѣкъ не сознаетъ необходимости всматриваться въ окружающее, а особенно въ самого себя. Какъ приспособить свою личность къ окружающимъ, если не начать съ познанія ихъ и самого себя? Косность, автоматизмъ, разсѣянность, неприспособленность къ обществу, — все это тѣсно между собою связано и изъ всего этого складывается комическій характеръ.

Итакъ, если оставить въ сторонѣ то, что въ человѣческой личности можетъ затрагивать нашу чувствительность и волновать насъ, — все остальное можетъ сдѣлаться комическимъ и комическое будетъ прямо пропорціонально долѣ косности, которая при этомъ проявится. Мы формулировали эту мысль уже въ самомъ началѣ нашей работы. Мы ее провѣрили въ ея главныхъ выводахъ. Мы примѣнили ее къ опредѣленію комедіи и теперь должны разобрать ее болѣе тщательно, показавъ, какимъ образомъ она даетъ намъ возможность найти истинное мѣсто комедіи среди всѣхъ другихъ видовъ искусства.

Въ извѣстномъ смыслѣ можно сказать, что каждый характеръ комиченъ, при томъ условіи, что подъ характеромъ мы подразумѣваемъ все, что есть въ нашей личности разъ на всегда установленнаго, подобнаго механизму, который, разъ онъ заведенъ, дѣйствуетъ уже автоматически. Это, если хотите, то, благодаря чему мы повторяемъ самихъ себя и, слѣдовательно, благодаря чему другіе могутъ насъ повторять. Всякое комическое лицо есть типъ, и обратно, всякое сходство съ типомъ заключаетъ въ себѣ нѣчто комическое. Мы можемъ часто встрѣчаться съ человѣкомъ и не находить въ немъ ничего смѣшного: но если, найдя какое-нибудь случайное сходство, мы назовемъ его именемъ какого-нибудь извѣстнаго героя драмы или романа, то хотя-

бы на одинъ моментъ оно приблизится къ смѣшному. Между тѣмъ это дѣйствующее лицо романа можетъ и не быть смѣшнымъ. Но походить на него комично. Комично допускать себя отвлекаться отъ самого себя. Комично оказаться вставленнымъ, такъ сказать, въ готовую рамку. Но комичнѣе всего самому стать рамкой, въ которую другіе будутъ походя вставлять себя, т.-е. отлиться разъ на всегда въ опредѣленный характеръ.

Изображать характеры, т.-е. общіе типы—такова, слѣдовательно, задача совершенной комедіи. Это говорилось уже много разъ. Но мы считаемъ нужнымъ повторить это, потому что эта формула вполне опредѣляетъ комедію. Дѣйствительно, комедія не только даетъ намъ общіе типы, но она, по нашему мнѣнію, единственное изъ всѣхъ искусствъ, ставящее себѣ цѣлью общее; установивъ за ней подобную цѣль, мы сказали все о томъ, что она изъ себя представляетъ, и все то чѣмъ другія искусства не могутъ быть. Чтобы доказать, что именно въ этомъ сущность комедіи и что въ этомъ она противоположна трагедіи, драмѣ, другимъ формамъ искусства, пришлось-бы начать съ опредѣленія искусства и всего того, что есть въ немъ самого высокаго: тогда, нисходя мало по малу къ комической поэзіи, мы увидѣли-бы, что она стоитъ какъ разъ на рубежѣ искусства и жизни и что своимъ характеромъ общности она рѣзко отличается отъ другихъ искусствъ. Мы не можемъ браться здѣсь за такое обширное изслѣдованіе. Но необходимо, тѣмъ не менѣе, набросать хотя-бы планъ его, чтобы не упустить изъ виду того, что составляетъ, по нашему мнѣнію сущность комическаго театра.

Что служить предметомъ искусства? Если-бы дѣйствительность воздѣйствовала непосредственно на наши чувства и на наше сознаніе, если-бы мы могли входить въ непосредственныя сношенія съ вещами и самими собою, то искусство, думаю я, было-бы бесполезно, или, вѣрнѣе, мы всѣ были-бы художниками, потому что наши души постоянно вибрировали-бы тогда въ униссонъ съ природой. Наши глаза, при содѣйствіи нашей памяти, вырѣзали-бы въ пространствѣ и закрѣпляли-бы во времени неподражаемыя картины. Нашъ взглядъ на ходу улавливалъ-бы высѣчен-

ныхъ изъ живого мрамора человѣческаго тѣла части статуй такія-же прекрасныя, какъ и въ статуяхъ античной скульптуры. Мы слышали-бы въ глубинѣ нашихъ душъ, словно музыку—иногда веселую, чаще жалобную, всегда оригинальную,—несмолкаемую мелодію нашей внутренней жизни. Все это есть вокругъ насъ, все это есть въ насъ самихъ и тѣмъ не менѣе мы ничего этого ясно не различаемъ. Между природой и нами—что говорю я?—между нами и нашимъ собственнымъ сознаніемъ виситъ занавѣсъ,—у большинства людей плотный, у художниковъ и поэтовъ—легкій, почти прозрачный. Какая фея соткала этотъ занавѣсъ? Что двигало ею—злоба или доброжелательство? Надо жить, а жизнь требуетъ, чтобы мы брали вещи въ ихъ отношеніи къ нашимъ потребностямъ. Жить—значитъ дѣйствовать. Жить—значитъ воспринимать отъ вещей лишь впечатлѣнія полезныя, чтобы отвѣчать на нихъ соотвѣтствующимъ воздѣйствіемъ: другія впечатлѣнія должны померкнуть или доходить до насъ въ смутномъ видѣ. Я смотрю и думаю, что вижу, я слушаю и думаю, что слышу, я изучаю себя и думаю, что читаю все въ глубинѣ своей души. Но все, что я вижу и что слышу, это лишь то, что извлекаютъ изъ внѣшняго міра мои чувства, чтобы освѣтить мнѣ мое поведеніе; о себѣ самомъ я знаю лишь то, что близко къ самой поверхности, что участвуетъ въ дѣйствіи. Мои чувства и мое сознаніе даютъ мнѣ лишь практически-упрощенное представленіе о дѣйствительности. Въ представленіи о предметахъ и обо мнѣ самомъ, которое они мнѣ даютъ, бесполезныя для человѣка различія стерты, полезныя для человѣка сходства усилены, заранѣе начертаны пути, которыми пойдетъ моя дѣятельность. Пути эти—тѣ-же, которыми шло все человѣчество до меня. Всѣ предметы были классифицированы съ точки зрѣнія той пользы, которую можно извлечь изъ нихъ. И эта классификація мною воспринимается въ гораздо большей степени, чѣмъ цвѣта и формы предметовъ. Человѣкъ, безъ сомнѣнія, уже стоитъ въ этомъ смыслѣ гораздо выше животнаго. Мало вѣроятно, чтобы глазъ волка подмѣчалъ различіе между козленкомъ и ягненкомъ; для волка это совершенно одинаковая добыча, которой одинаково легко завладѣть, которую одинаково

пріятно съѣсть. Мы-же дѣлаемъ различіе между козой и бараномъ; но отличаемъ ли мы козу отъ козы, барана отъ барана? Индивидуальность вещей и существъ ускользаетъ отъ насъ всегда, когда подмѣчать ее не составляетъ для насъ матеріальной пользы. И даже въ тѣхъ случаяхъ, когда мы ее замѣчаемъ (отличая, напримѣръ, одного чловека отъ другого), нашъ глазъ схватываетъ не самую индивидуальность, т.-е. извѣстную, совершенно своеобразную гармонію формъ и красокъ, но только одну или двѣ черты, которыя облегчаютъ намъ практически распознаваніе.

Выражаясь, наконецъ, еще точнѣе, мы не видимъ самихъ предметовъ; чаще всего мы ограничиваемся тѣмъ, что читаемъ приклеенные къ нимъ ярлыки. Эта наша склонность, созданная нашими потребностями, еще болѣе усилилась подъ вліяніемъ языка. Потому что всѣ слова (за исключеніемъ именъ собственныхъ) обозначаютъ различные рода. Слово, означающее самое обычное употребленіе предмета и его банальную внѣшность, вкрадывается между нимъ и нами; и оно закрывало-бы отъ насъ форму предмета, если-бы эта форма не была заслонена потребностями, создавшими самое слово. И не только внѣшніе предметы, но и наши собственные душевныя состоянія, наши интимныя, личныя, своеобразныя переживанія отъ насъ ускользаютъ. Когда мы испытываемъ любовь или ненависть, когда мы чувствуемъ радость или горе,—развѣ до нашего сознанія доходитъ наше чувство, съ тѣми его мимолетными оттѣнками и безчисленными глубокими отзвуками, которые присущи именно намъ? Если-бы это было такъ, всѣ мы были-бы романистами, поэтами, музыкантами. Но чаще всего мы подмѣчаемъ въ нашемъ душевномъ состояніи только его внѣшнее проявленіе. Мы схватываемъ въ нашихъ чувствахъ только ихъ безличный видъ, тотъ, который языкъ могъ закрѣпить разъ на всегда, потому что при одинаковыхъ условіяхъ онъ приблизительно одинаковъ у всѣхъ людей. Такимъ образомъ индивидуальное ускользаетъ отъ насъ во всемъ, даже въ нашей собственной личности. Мы движемся среди обобщеній и символовъ, какъ на отгороженной аренѣ, гдѣ наша сила съ пользою соизмѣряется съ другими силами; и ослѣпленные дѣятельностью увлекаемые ею, для нашего

блага, на ту почву, которую она себя избрала, мы живемъ въ промежуточной зонѣ между предметами и нами, относясь поверхностно къ предметамъ и къ себѣ самимъ. Но время отъ времени природа по разсѣянности создаетъ души, болѣе далекія отъ жизни. Я не говорю о той отчужденности преднамѣренной, сознательной, систематической, которая является дѣломъ размышленія и философіи. Я говорю объ отчужденности естественной, присущей отъ рожденія складу чувствъ и сознанія, которая проявляется съ первой минуты жизни въ своего рода дѣвственномъ способѣ видѣть, слышать и мыслить. Если-бы отчужденность была полной, если-бы душа не соприкасалась ни однимъ изъ своихъ воспріятій, съ дѣйствіемъ, это была-бы душа художника, какого еще не видѣлъ свѣтъ. Она преуспѣла-бы во всѣхъ искусствахъ или, вѣрнѣе, она слила-бы ихъ всѣ въ единое искусство. Она воспринимала-бы всѣ вещи въ ихъ первоначальной чистотѣ—формы, краски и звуки міра матеріальнаго въ такой-же степени, въ какой и движенія внутренней жизни. Но это значило-бы требовать отъ природы слишкомъ многого. Даже для тѣхъ изъ насъ, которыхъ она создала художниками, она лишь случайно и лишь съ одной стороны приподнимаетъ завѣсу. Только въ одномъ направленіи она забыла соединить воспріятіе съ потребностями. А такъ какъ каждое направленіе соотвѣтствуетъ тому, что мы называемъ природнымъ чувствомъ, то художникъ обыкновенно служитъ искусству однимъ изъ своихъ чувствъ и только однимъ. Благодаря этому-то и создается разнообразіе искусствъ; благодаря этому-же создаются предрасположенія къ той или иной спеціальности. Одинъ отдается созерцанію красокъ и формъ и такъ какъ онъ любитъ краски для красокъ, формы для формъ, такъ какъ онъ воспринимаетъ ихъ для нихъ самихъ, а не для себя, то онъ видитъ внутреннюю жизнь вещей, просвѣчивающую черезъ ихъ формы и краски. Онъ постепенно дѣлаетъ ее доступной нашей затемненной воспримчивости. Хотя-бы на мгновенье, онъ отвлекаетъ насъ отъ предразсудковъ относительно формъ и красокъ, которые стоятъ обыкновенно между нашимъ глазомъ и дѣйствительностью. Онъ осуществляетъ такимъ образомъ самое высшее назначеніе искусства, которое за-

ключается въ томъ, чтобы раскрывать намъ природу.—Другіе сосредоточиваютъ свое вниманіе на самихъ себѣ. Подъ безчисленными, порожденными чувствомъ дѣйствіями, представляющими его внѣшнимъ образомъ, за банальнымъ и общепринятымъ словомъ, выражающимъ и прикрывающимъ индивидуальное душевное состояніе, они отыскиваютъ непосредственныя и чистыя чувства, душевныя состоянія. И чтобы заставить и насъ сдѣлать такую-же попытку по отношенію къ себѣ самимъ, они стараются показать намъ то, что они видѣли сами: посредствомъ риемованныхъ соединеній словъ, которые благодаря этому сливаются въ единое цѣлое, одухотворяются своеобразной жизнью, они рассказываютъ намъ или, вѣрнѣе, внушаютъ намъ то, чего обыкновенный языкъ выразить не способенъ.—Третьи проникаютъ еще глубже. Подъ тѣми радостями и печалами, которыя приблизительно выражены словами, они улавливаютъ нѣчто такое, что не имѣетъ ничего общаго съ рѣчью,—извѣстные риемы жизни, ея дыханіе, которые глубже самыхъ глубокихъ чувствъ человѣка, потому что они—живой, различный для каждой личности, законъ ея унынія и воодушевленія, сожалѣній и надеждъ. Выдѣляя, усиливая эту музыку, они заставляютъ насъ вслушиваться въ нее; они достигаютъ того, что мы сами невольно вступаемъ въ хоръ, какъ вступаютъ въ кругъ танцующихъ на улицѣ случайные прохожіе. И этимъ они приводятъ въ движеніе въ самой глубинѣ нашего существа что-то, что ждало только момента, чтобы начать вибрировать. — Такимъ образомъ, всякое искусство,—будь-то живопись, скульптура, поэзія или музыка,—имѣетъ своей единственной цѣлью устранять практически полезныя символы, общепринятые, условныя общія положенія, однимъ словомъ все, что скрываетъ отъ насъ дѣйствительность, чтобы поставить насъ съ самой дѣйствительностью лицомъ къ лицу. Съ этой точки зрѣнія борьба между реализмомъ и идеализмомъ въ искусствѣ порождена недоразумѣніемъ. Искусство, несомнѣнно, есть лишь болѣе непосредственное созерцаніе природы. Но эта чистота воспріятія подразумеваетъ разрывъ съ полезной условностью, врожденное, специально чувству или сознанію присущее безкорыстіе, однимъ словомъ извѣстную отрѣшенность отъ

матеріальнаго, которая и есть то, что всегда называли идеализмомъ. Такимъ образомъ можно сказать, нисколько не играя словами, что реализмъ присущъ творенію, когда идеализмъ присущъ душѣ, и что только силою идеальности можно пріобщиться дѣйствительности.

Драматическое искусство не составляетъ исключенія изъ этого закона. Задача драмы находить и выводить на свѣтъ тѣ глубины дѣйствительности, которыя скрыты отъ насъ — часто къ нашему-же благу — жизненной необходимостью. Какова эта дѣйствительность? Какова эта необходимость? Всякая поэзія выражаетъ душевныя состоянія.

Но между этими состояніями нѣкоторыя рождаются главнымъ образомъ соприкосновеніемъ человѣка со своими ближними. Это — чувства самыя сильныя, а также и самыя бурныя. Какъ различные виды электричества притягиваются и скопляются между двумя пластинками конденсатора, откуда получается искра, такъ, въ силу простого соприкосновенія людей между собою возникаютъ глубокія притяженія и отталкиванія, полное нарушеніе равновѣсія, — однимъ словомъ, та электризація души, которая называется страстью. Если бы человѣкъ всецѣло отдавался порывамъ своей впечатлительной природы, если-бы не было ни общественнаго, ни нравственнаго закона, эти взрывы бурныхъ чувствъ были-бы обычнымъ явленіемъ жизни. Но эти вспышки полезно предотвращать. Необходимо, чтобы человѣкъ жилъ въ обществѣ и, слѣдовательно, подчинялся извѣстнымъ правиламъ. А что интересы пользы совѣтуютъ, то разумъ предписываетъ: существуетъ долгъ и наше назначеніе — повиноваться ему. Подъ этимъ двойнымъ вліяніемъ долженъ былъ создаться для всего человѣческаго рода поверхностный покровъ чувствъ и понятій, которыя стремятся быть неизмѣнными или по крайней мѣрѣ общими для всѣхъ людей и если не имѣютъ силы заглушить, то прикрываютъ внутренній жаръ индивидуальныхъ страстей. Медленный поступательный ходъ человѣчества къ общественной жизни все болѣе и болѣе мирной мало по малу укрѣпилъ этотъ покровъ, подобно тому какъ жизнь самой нашей планеты состояла въ длительныхъ усиліяхъ покрыть твердой и холодной корой раскаленную массу кипящихъ металловъ. Но суще-

ствують вулканическія изверженія. И если-бы земля была живымъ существомъ, какимъ ее считала міеологія, то я думаю, что она мирно покоясь, любила-бы грезить объ этихъ внезапныхъ взрывахъ, во время которыхъ она вдругъ снова овладѣвала-бы собою до самыхъ своихъ глубинъ. Такого рода удовольствіе доставляетъ намъ драма. Подъ покровомъ спокойной мѣщанской жизни, которую создали для насъ общество и разумъ, она тревожитъ въ насъ нѣчто, что къ счастью не прорывается наружу, но внутреннее напряженіе чего она даетъ намъ почувствовать. Она даетъ природѣ удовлетвореніе за то, что продѣлало съ ней общество. Иногда она идетъ прямо къ цѣли, вырываетъ изъ глубины наружу страсти, которыя разрушаютъ все. Иногда она идетъ обходнымъ путемъ, какъ это часто наблюдается въ современной драмѣ; она разоблачаетъ намъ тогда, съ искусствомъ иногда софистическимъ, противорѣчія общества съ самимъ собою; она преувеличиваетъ то, что есть искусственнаго въ общественныхъ законахъ и такимъ образомъ, хитрой уловкой разрывая внѣшній покровъ, она опять позволяетъ намъ проникнуть въ самую глубину. Но въ обоихъ случаяхъ, — ослабляетъ-ли она общество, укрѣпляетъ-ли она природу, — она преслѣдуетъ одну и ту-же цѣль, — раскрыть намъ глубоко скрытую часть насъ самихъ — то, что можно было-бы назвать трагическимъ элементомъ нашей личности. Именно такое впечатлѣніе и производитъ на насъ хорошая драма. Насъ заинтересовываетъ въ ней не столько то, что намъ рассказали о другихъ, сколько то, что намъ показали въ насъ же самихъ, — цѣлый смутный міръ неопредѣленныхъ чувствъ, которыми очень хотѣлось-бы существовать, но которыя, къ счастью для насъ, не проявляются. Намъ кажется также, что въ нашу душу брошенъ призывъ къ безконечно древнимъ атавистическимъ воспоминаніямъ, столь глубокимъ, столь чуждымъ нашей современной жизни, что эта жизнь кажется намъ въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній чѣмъ-то нереальнымъ или условнымъ, къ чему намъ придется снова приспособляться. Слѣдовательно, подъ полезными для насъ пріобрѣтеніями драма находитъ лежащую глубже нихъ реальность; такимъ образомъ, это искусство имѣетъ ту-же цѣль, что и всѣ остальные.

Отсюда слѣдуетъ, что искусство имѣетъ въ виду всегда индивидуальное. Живописецъ закрѣпляетъ на полотнѣ то, что онъ видѣлъ въ извѣстномъ мѣстѣ, въ извѣстный день, въ извѣстный часъ въ такихъ краскахъ, какихъ никто уже больше не увидитъ. Поэтъ воспѣваетъ душевное состояніе, которое было его состояніемъ, и только его, и которое никогда уже не вернется. Драматургъ изображаетъ передъ нами развитіе души, живую ткань чувствъ и событій, нѣчто такое, однимъ словомъ, что проявилось однажды, чтобы никогда уже не возобновиться. Какими-бы общими названіями мы ни называли эти чувства, они въ другой душѣ не будутъ тѣми-же. Они будутъ индивидуализированы. Благодаря этому, въ особенности, они и принадлежатъ искусству, потому что обобщенія, символы, даже, если хотите, типы, составляютъ ходячую монету нашихъ повседневныхъ воспріятій. Откуда-же происходитъ недоразумѣніе по этому пункту?

Причина въ томъ, что здѣсь смѣшиваютъ двѣ совершенно различныя вещи: общность предметовъ и общность нашихъ сужденій о нихъ. Изъ того, что извѣстное чувство обыкновенно признается истиннымъ, не слѣдуетъ, чтобы это было чувство общее всѣмъ. Нѣтъ ничего болѣе своеобразнаго, чѣмъ личность Гамлета. Если онъ и похожъ извѣстными сторонами на другихъ людей, то, конечно, не этимъ онъ насъ больше всего интересуетъ. Но весь міръ принимаетъ его такимъ, каковъ онъ есть, и считаетъ его живымъ лицомъ. Только въ этомъ смыслѣ онъ есть міровая правда. Такъ-же обстоитъ дѣло и со всѣми другими произведеніями искусства. Каждое изъ нихъ глубоко своеобразно, но если оно носитъ на себѣ печать гения, то въ концѣ концовъ будетъ всѣмъ признано. Почему его признаютъ? И если оно—единственное въ своемъ родѣ, то по какому признаку узнаютъ, что оно правдиво? Мы узнаемъ это, думается мнѣ, уже по тому усилю, которое оно заставляетъ насъ сдѣлать надъ самими собою, чтобы взглянуть на вещи безъ всякой задней мысли. Искренность заразительна. Того, что видѣлъ художникъ, мы, несомнѣнно, не увидимъ, во всякомъ случаѣ не увидимъ того-же самаго; но если онъ видѣлъ его въ самомъ дѣлѣ, то усиліе, которое употребилъ онъ, чтобы

отдернуть завѣсу, заставляетъ и насъ продѣлать то-же самое. Его твореніе—примѣръ, который служить для насъ урокомъ. И значительностью дѣйствія урока измѣряется истинность творенія. Истина заключаетъ, слѣдовательно, въ себѣ силу, способную убѣдить, даже обратить на свой путь и это—признакъ, по которому ее узнають. Чѣмъ выше произведеніе и чѣмъ глубже истина, провидѣнная въ немъ, тѣмъ дольше можетъ быть его вліяніе заставить себя ждать, но тѣмъ больше это вліяніе будетъ стремиться стать всеобщимъ. Всеобщность присуща здѣсь, такимъ образомъ, произведенному дѣйствию, а не причинѣ.

Совершенно иная цѣль комедіи. Здѣсь всеобщность — въ самомъ произведеніи. Комедія изображаетъ характеры, которые мы встрѣчали, которые мы не разъ еще встрѣтимъ на нашемъ пути. Она отмѣчаетъ сходства. Она стремится вывести передъ нашими глазами типы. Она создаетъ, если требуется, новые типы. Этимъ она рѣзко разнится отъ всѣхъ другихъ искусствъ.

Характерно уже самое названіе великихъ комедій. Мизантропъ, Скупецъ, Игрокъ, Разсѣянный и т. п.—все это родовыя названія; даже тогда, когда комедія нравовъ имѣетъ названіемъ собственное имя, это собственное имя, благодаря опредѣленному вѣсу своего содержанія, очень скоро попадаетъ въ разрядъ именъ нарицательныхъ. Мы говоримъ о комъ-нибудь: „это—Тартюфъ“, но мы не скажемъ: „это—Федра“ или „это—Поліевктъ“.

Поэту-трагику никогда не придетъ мысль окружить главное дѣйствующее лицо второстепенными дѣйствующими лицами, которыя были-бы, такъ сказать, его упрощенными копіями. Герой трагедіи—это индивидуальность единственная въ своемъ родѣ. Ему можно подражать, но тогда мы сознательно или невольно переходимъ отъ трагедіи къ комедіи. Никто не походитъ на него, потому что онъ ни на кого не походитъ. Наоборотъ, какъ только поэтъ-комикъ создалъ свое главное лицо, онъ, въ силу свойственнаго ему замѣчательнаго инстинкта, приводитъ въ движеніе вокругъ него другія лица, представляющія тѣ-же общія черты. Многія комедіи имѣютъ въ заглавіи множественное число или имя собирательное. „Ученныя женщины“, „Смѣшныя же-

манницы“, „Общество поощренія скуки“—все это сцены между различными лицами, воспроизводящими одинъ и тотъ-же основной типъ. Было-бы интересно разобрать это стремленіе комедіи. Прежде всего, здѣсь нашла-бы можетъ-быть, предвосхищеніе явленія, на которое указываетъ медицина, а именно, что у неуравновѣшенныхъ одного и того-же вида натуръ существуетъ тайное влеченіе другъ къ другу. Въ сущности, комическій персонажъ не есть объектъ для медицины, но, какъ мы уже указывали, всегда является личностью разсѣянной, а переходъ отъ разсѣянности къ полному нарушенію душевнаго равновѣсія можетъ произойти нечувствительно. Но есть еще другая причина. Если цѣль поэта-комика—представлять намъ типы, т.-е. характеры, способные повторяться, то можно-ли лучше достигнуть этого, чѣмъ показавъ намъ нѣсколько различныхъ экземпляровъ одного и того-же типа? Такъ поступаетъ и натуралистъ, когда говоритъ о какомъ-нибудь видѣ. Онъ перечисляетъ и описываетъ его главные разновидности.

Это существенное различіе между трагедіей и комедіей,— изъ которыхъ первая разрабатываетъ индивидуальности, а вторая роды, можетъ быть выражено и инымъ способомъ. Оно появляется уже въ первоначальной обработкѣ произведенія. Оно проявляется съ самаго начала въ двухъ совершенно противоположныхъ методахъ наблюденія.

Какъ ни парадоксальнымъ это можетъ показаться, но я думаю, что поэту-трагику нѣтъ необходимости наблюдать другихъ людей. Прежде всего—чисто фактическое указаніе: нѣкоторые великіе поэты, какъ извѣстно, вели очень уединенный, чисто мѣщанскій образъ жизни, не имѣя случаевъ наблюдать лично разгулъ страстей, вѣрное описаніе котораго они дали намъ. Но если даже предположить, что они видѣли нѣчто подобное, то я не думаю, чтобы это сослужило имъ службу. Что дѣйствительно насъ интересуетъ въ произведеніи поэта, такъ это изображеніе извѣстныхъ, очень глубокихъ душевныхъ движеній или извѣстныхъ чисто внутреннихъ конфликтовъ. Но видѣть это извнѣ невозможно. Души непроницаемы однѣ для другихъ. Спаружи мы никогда не замѣчаемъ ничего, кромѣ нѣкоторыхъ признаковъ чувства. Мы истолковываемъ ихъ—всегда, впрочемъ, съ

погрѣшностями—только по аналогіи съ тѣмъ, что испытали сами. Главное, слѣдовательно, есть то, что испытываемъ мы сами; понять какъ слѣдуетъ быть мы можемъ только наше собственное сердце,—когда намъ вообще удастся понять его. Значить-ли это, что поэтъ испыталъ все то, что онъ описываетъ, что онъ прошелъ черезъ всѣ положенія своихъ дѣйствующихъ лицъ и пережилъ всю ихъ внутреннюю жизнь? Біографіи поэтовъ показываютъ, что это не такъ. Да и какъ, впрочемъ, предположить, чтобы одинъ и тотъ-же человѣкъ былъ Макбетомъ, Отелло, Гамлетомъ, Королемъ Лиромъ и т. д.? Но можетъ быть слѣдовало-бы различать здѣсь между личностью, какова она есть и тѣми, которыми она могла-бы быть. Нашъ характеръ есть слѣдствіе извѣстнаго выбора, который непрерывно возобновляется. На протяженіи нашего пути встрѣчается много скрещеній дорогъ (по крайней мѣрѣ кажущихся), и мы видимъ всевозможныя направленія, хотя можемъ слѣдовать только одному изъ нихъ. Везвращаться обратно, прослѣживать до конца раскрывающіяся передъ нами направленія, въ этомъ, мнѣ кажется, и состоитъ работа поэтического воображенія. Я признаю, что Шекспи́ръ не былъ ни Макбетомъ, ни Гамлетомъ, ни Отелло; но онъ былъ-бы этими различными личностями, если-бы обстоятельства, съ одной стороны, и сознательное волевое стремленіе его, съ другой, превратили въ страшный взрывъ то, что смутно бродило въ немъ. Было-бы нелѣпнымъ забужденіемъ думать, что поэтическое воображеніе создаетъ своихъ героевъ изъ клочковъ, набранныхъ безъ разбора направо и налево, какъ это дѣлается, когда шьется нарядъ Арлекина. Изъ этого не получилось-бы ничего живого. Жизнь не поддается передѣлкѣ. Ее можно только наблюдать. Поэтическое воображеніе позволяетъ только полнѣе видѣть дѣйствительность. Если персонажи, создаваемые поэтомъ, производятъ на насъ жизненное впечатлѣніе, то только потому, что они—самъ поэтъ, съ душой болѣе сложной, углубляющійся въ самого себя въ столь могучемъ усилии самонаблюденія, что ему удастся улавливать скрытыя возможности въ сущемъ и выявлять въ законченныхъ твореніяхъ то, что природа вложила въ него въ видѣ только зачатка или намека.

Совершенно иного сорта способъ наблюденія, порождающій комедію. Это—наблюденіе внѣшнее. Какъ-бы ни интересовало поэта-комика смѣшное въ природѣ человѣка, онъ никогда, я думаю, не дойдетъ до того, чтобы искать смѣшныя черты въ самомъ себѣ. Къ тому-же онъ и ни напелъ-бы ихъ: мы бываемъ смѣшны только той стороною нашей личности, которая ускользаетъ отъ нашего сознанія. Предметомъ наблюденія здѣсь служатъ, слѣдовательно, другіе люди. Но именно поэтому наблюденіе пріобрѣтаетъ характеръ общности, котораго оно не можетъ имѣть, когда направлено на самого себя. Ограничиваясь лишь самой поверхностью, оно не проникаетъ дальше той оболочки людей, которой они между собою соприкасаются и которой могутъ походить другъ на друга. Дальше оно не поидетъ. И даже если-бы оно могло пойти дальше, это было-бы нежелательнымъ, потому что никакой пользы отъ этого не будетъ. Проникнуть слишкомъ глубоко въ человѣческую личность, связать внѣшнія дѣйствія съ очень глубокими внутренними причинами, значило-бы ослабнуть и даже вовсе принести въ жертву все, что есть смѣшного въ этомъ дѣйствіи. Чтобы у насъ явилось желаніе посмѣяться надъ нимъ, его причина должна находиться въ средней области человѣческой души. Необходимо, слѣдовательно, чтобы это дѣйствіе явилось намъ какъ нѣчто среднее, присущее человѣку средняго разбора. И, какъ и всякая средняя, эта средняя получается посредствомъ сближенія разрозненныхъ данныхъ, посредствомъ сравненія аналогичныхъ случаевъ, сущность которыхъ подлежитъ проявленію, словомъ, посредствомъ работы абстракціи и обобщенія, подобной той, которую продѣлываетъ физикъ надъ фактами, чтобы вывести изъ нихъ законы. Словомъ, методъ и предметъ здѣсь тѣ-же по своей природѣ, что и въ индуктивныхъ наукахъ, въ томъ смыслѣ, что наблюденіе всегда остается внѣшнимъ и результатъ его всегда поддается обобщенію.

Мы приходимъ такимъ образомъ, длиннымъ обходнымъ путемъ, къ двойному заключенію, которое намѣтилось въ теченіе нашей работы. Съ одной стороны, личность можетъ быть смѣшной лишь извѣстной своей наклонностью, похожей на разсѣянность,—чѣмъ-то, что живетъ ею, не сливаясь съ

нею воедино, какъ живетъ паразитъ; вотъ почему эта наклонность наблюдается извнѣ и можетъ быть исправляема. Но, съ другой стороны, такъ-какъ цѣлью смѣха служить именно исправленіе, то полезно, чтобы исправленіе сразу распространялось на возможно большее число лицъ. Вотъ почему наблюдательность, ищущая комическаго, инстинктивно обращается къ общему. Она выбираетъ среди особенностей тѣ, которыя способны воспроизводиться и которыя, слѣдовательно, не связаны неразрывно съ индивидуальностью личности,—особенности, такъ сказать, общія. Переносъ ихъ на сцену, она создаетъ творенія, которыя, безъ сомнѣнія, принадлежать искусству тѣмъ, что сознательно стремятся только къ тому, чтобы нравиться, но отличаются отъ другихъ произведеній искусства своимъ характеромъ общности, какъ и бессознательнымъ своимъ стремленіемъ исправлять и поучать. Мы имѣли, слѣдовательно, право сказать, что комедія занимаетъ промежуточное мѣсто между искусствомъ и жизнью. Она не безкорыстна, какъ искусство чистое. Организуя смѣхъ, она принимаетъ общественную жизнь, какъ естественную среду; она слѣдуетъ одному изъ велѣній общественной жизни. Въ этомъ смыслѣ она поворачивается спиной къ искусству, которое представляетъ собою разрывъ съ обществомъ и возвращеніе къ безыскусственной природѣ.

## II.

Теперь посмотримъ, на основаніи всего предшествующаго, что надо сдѣлать, чтобы создать идеально-комическій характеръ, комическій въ самомъ себѣ, комическій въ своемъ происхожденіи, комическій во всѣхъ своихъ проявленіяхъ. Комическая складка характера должна быть глубокой, чтобы дать комедіи устойчивое содержаніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ поверхностной, чтобы сохранился общій тонъ комедіи, невидимой тому, кто этой складкой обладаетъ, потому что комическое всегда бессознательно; видимой для всѣхъ остальныхъ, чтобы вызывать всеобщій смѣхъ; полной снисходительности къ самой себѣ, чтобы безъ всякихъ стѣсненій развертываться передъ всѣми; стѣснительной для другихъ,—чтобы они давили на нее безъ сожалѣнія; немедленно-испра-

вимой, чтобы смѣхъ надъ ней не былъ бесполезенъ; постоянно возражающей въ новомъ видѣ, чтобы смѣхъ могъ постоянно дѣйствовать; неотдѣлимой отъ общественной жизни, хотя и невыносимой въ обществѣ,—способной, однимъ словомъ, принимать самыя разнообразныя формы, какія только можно себя представить, соединяться со всеми пороками и даже съ нѣкоторыми добродѣтелями. Вотъ тѣ многочисленные элементы, которые надо слить во едино. Химикъ-психологъ, которому поручили-бы изготавленіе этого тонкаго препарата, былъ-бы, несомнѣнно, нѣсколько разочарованъ въ тотъ моментъ, когда ему пришлось-бы опорожнить реторту. Онъ нашелъ-бы, что затратилъ слишкомъ много торфа, чтобы составить смѣсь, которую можно получить готовой и безъ издержекъ, потому-что она такъ-же распространена въ человѣческомъ обществѣ, какъ воздухъ въ природѣ.

Эта смѣсь—тщеславіе. Я не думаю, чтобы былъ другой недостатокъ, болѣе поверхностный и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе глубокой. Раны, которыя ему наносятъ, никогда не бываютъ очень тяжелы и тѣмъ не менѣе почти никогда не заживаютъ. Услуги, оказываемыя ему,—это самыя мнимыя изъ всѣхъ услугъ; между тѣмъ именно эти услуги оставляютъ по себѣ долговременную признательность. Само по себѣ оно едва-ли даже порокъ, и тѣмъ не менѣе все пороки тяготѣютъ къ нему и, усиливаясь, стремятся стать только средствомъ къ удовлетворенію тщеславія. Порожденное общественной жизнью, потому что оно ничто иное, какъ восхищеніе собою, основанное на предполагаемомъ восхищеніи другихъ, оно болѣе естественно, въ большей степени присуще каждому отъ рожденія, чѣмъ эгоизмъ, потому что надъ эгоизмомъ часто беретъ верхъ природа, между тѣмъ какъ побороть тщеславіе намъ удастся только силою разума. Я не думаю, дѣйствительно, чтобы мы рождались скромными, если не называть тоже скромностью извѣстную чисто физическую застѣнчивость, которая, впрочемъ, гораздо ближе къ гордости, чѣмъ это принято думать. Истинная скромность можетъ быть только сознательнымъ отношеніемъ къ тщеславію. Она рождается наблюденіемъ надъ иллюзіями другихъ и опасеніемъ собственныхъ заблужденій. Это какъ-бы

наука, осторожность вѣдающая, что скажутъ, что подумаютъ о насъ, она есть слѣдствіе наказанія и исправленія. Словомъ, это всегда добродѣтель, которую можно выработать въ себѣ.

Трудно сказать, въ какой именно моментъ стремленіе стать скромнымъ отдѣляется отъ опасенія стать смѣшнымъ. Но это стремленіе и это опасеніе въ началѣ, несомнѣнно, неотдѣлимо слиты. Всестороннее изслѣдованіе иллюзій, порождаемыхъ тщеславіемъ, и смѣшного, связаннаго съ ними, освѣтило-бы крайне своеобразнымъ свѣтомъ теорію смѣха. Мы увидѣли-бы тогда, что смѣхъ съ математической правильностью исполняетъ одну изъ своихъ главныхъ функций, состоящую въ томъ, чтобы возвращать къ полному сознанію людей тщеславныхъ и разсѣянныхъ и создавать такимъ образомъ характеры возможно болѣе общительные. Мы увидѣли-бы, какъ тщеславіе, будучи естественнымъ порожденіемъ общественной жизни, тѣмъ не менѣе стѣсняетъ общество, подобно тому какъ нѣкоторые легкіе яды, выдѣляемые, постоянно нашимъ организмомъ, въ концѣ концовъ отравили-бы его, если бы другія выдѣленія не нейтрализовали ихъ дѣйствіе. Смѣхъ неустанно выполняетъ работу такого-же рода. Въ этомъ смыслѣ можно было-бы сказать, что специфическое лѣкарство противъ тщеславія есть смѣхъ и что недостатокъ по преимуществу смѣшной есть тщеславіе.

Когда мы говорили о комическомъ формѣ и движеніи, мы показали, какъ тотъ или иной простой образъ, смѣшной самъ по себѣ, можетъ вкратѣ въ другіе болѣе сложные образы и заразить ихъ своимъ комизмомъ: такимъ образомъ иногда самыя высокія формы комизма объясняются формами самыми низкими. Но явленіе обратное встрѣчается, пожалуй, еще чаще, и нѣкоторые грубые комические эффекты получаются въ результатъ нисхожденія отъ комизма очень утонченнаго. Такъ, тщеславіе, эта высшая форма комическаго, есть элементъ, который намъ приходится тщательно, хотя и безсознательно искать во всѣхъ проявленіяхъ человѣческой дѣятельности. Мы ищемъ его хотя-бы только для того, чтобы посмѣяться надъ нимъ. И наше воображеніе часто находитъ его тамъ, гдѣ ему нечего дѣлать. Я думаю, что таково происхожденіе самыхъ гру-

быхъ комическихъ эффектовъ, которые нѣкоторые психологи очень неудовлетворительно объясняютъ контрастомъ: напимѣръ, маленькаго роста человѣкъ, наклоняющійся, чтобы пройти въ высокую дверь; или два человѣка,—одинъ очень высокій, другой очень маленький,—важно шествующіе подъ руку и т. д. Вглядитесь хорошенько въ эти фигуры, и вамъ, я думаю, покажется, что болѣе низкій старается приподняться, чтобы стать вровень съ болѣе высокимъ, подобно лягушкѣ хотѣвшей сравняться съ волкомъ.

### III.

Мы не можемъ, конечно, перечислять здѣсь всѣ черты характера, которыя тѣсно связаны съ тщеславіемъ или конкурируютъ съ нимъ, чтобы привлечь вниманіе поэта-комика. Мы показали, что смѣшными могутъ стать всѣ недостатки, а, пожалуй, и нѣкоторыя достоинства. Если-бы можно было составить списокъ общеизвѣстныхъ смѣшныхъ качествъ, то комедія могла-бы взять на себя трудъ удлинить его,—не въ томъ смыслѣ, что она создала-бы чисто фантастическія смѣшныя черты, а въ томъ, что она раскрыла-бы только нѣкоторыя направленія комическаго, которыя оставались до тѣхъ поръ незамѣченными. Такимъ-же образомъ наше воображеніе можетъ выдѣлять все новыя и новыя фигуры въ сложномъ рисункѣ одного и того-же ковра. Существенное условіе для этого заключается, какъ мы уже знаемъ, въ томъ, чтобы замѣчаемая нами черта характера сразу явилась намъ какъ-бы рамой, въ которую можетъ помѣститься много людей.

Но существуютъ рамки совершенно готовые, установленныя самимъ обществомъ, необходимыя обществу, потому-что оно поκειται на извѣстномъ раздѣленіи труда. Я имѣю въ виду здѣсь ремесла, должности и профессіи. Каждая специальная профессія создаетъ у лицъ, которыя замыкаются въ ней, извѣстные навыки ума и особенности характера, которыми они походятъ другъ на друга и отличаются отъ другихъ людей. Маленькія общества образуются такимъ образомъ въ нѣдрахъ большого. Несомнѣнно, они суть результатъ самой организациі общества вообще. А между

тѣмъ излишнее обособленіе ихъ можетъ оказаться очень вреднымъ для общественности. И главное назначеніе смѣха заключается въ томъ, чтобы подавлять всякое стремленіе, къ обособленію. Его роль—принуждать косность уступать мѣсто гибкости, приспособлять каждаго ко всѣмъ, словомъ вездѣ закруглять углы. Мы имѣемъ, слѣдовательно, здѣсь извѣстный родъ комическаго, всѣ разновидности котораго могли-бы быть опредѣлены заранѣе. Мы назовемъ его, если угодно, про ф е с с і о н а л ь н ы мъ к о м и з м о мъ.

Мы не будемъ останавливаться на подробностяхъ этихъ разновидностей. Мы предпочитаемъ остановиться на томъ, что есть въ нихъ общаго. Въ первомъ ряду стоитъ профес-сіональное тщеславіе. Каждый учитель г. Журдена ставитъ свое дѣло выше всѣхъ другихъ. Одинъ изъ персонажей Лабиша не понимаетъ, какъ можно быть чѣмъ-нибудь инымъ, кромѣ какъ продавцомъ дровъ. Это, конечно, продавецъ дровъ. Чѣмъ большую дозу шарлатанства заключаетъ въ себѣ профессія, тѣмъ больше тщеславіе будетъ приближаться здѣсь къ торжественности. Замѣчательно: чѣмъ болѣе спорно данное искусство, тѣмъ болѣе лица, занимающія имъ, склонны считать себя облеченными какой-то таинственной властью и требовать, чтобы всѣ преклонялись предъ ихъ тайнами. Профессіи полезныя, какъ это очевидно для всѣхъ, созданы для публики; тѣ-же, полезность которыхъ сомнительна, могутъ оправдать свое существованіе только претендуя на то, что публика создана для нихъ: это-то заблужденіе и лежитъ въ основѣ самомнѣнія. Почти весь комизмъ мольеровскихъ врачей происходитъ отсюда. Они обращаются съ больными такъ, какъ будто-бы послѣдніе созданы для врачей, и на ихъ природу смотрятъ, какъ на придатокъ къ медицинѣ.

Другая форма этой комической косности заключается въ томъ, что я назову про ф е с с і о н а л ь н о й ч е р с т в о с т ь ю. Комическій персонажъ такъ плотно входитъ въ неподвижную рамку своей профессіи, что не можетъ уже ни свободно двигаться въ ней, ничѣмъ болѣе волноваться подобно другимъ людямъ. Припомнимъ слова судьи Перрена Дандена въ отвѣтъ Изабеллѣ, спрашивающей, какъ можно смотреть на науки:

„Ба! Это даетъ возможность провести часъ-другой времени“.

Не своего-ли рода профессиональной черствостью является черствость Тартюфа, когда онъ говоритъ, правда, устами Оргона:

И если-бъ схоронилъ жену, дѣтей и мать,

Отнесся-бы къ тому я очень хладнокровно.

Но самый обычный способъ сдѣлать какую-нибудь профессию смѣшной состоитъ въ томъ, что ее замыкаютъ, такъ сказать, въ предѣлы свойственнаго ей языка. Напримѣръ, судью, врача, солдата заставляютъ говорить объ обычныхъ вещахъ судейскимъ, медицинскимъ, военнымъ языкомъ, какъ если-бы они потеряли способность говорить, такъ, какъ всѣ. Обыкновенно этотъ родъ комическаго довольно грубъ. Но, какъ мы говорили, онъ становится тоньше, когда рядомъ съ профессиональной привычкой въ немъ сказывается какая-нибудь черта характера. Приведу въ видѣ примѣра игрока Реньяра, который говоритъ такимъ своеобразнымъ языкомъ игроковъ, заставляетъ своего лакея называться Гекторомъ, въ ожиданіи, когда онъ назоветъ свою невѣсту Палладой, общеизвѣстнымъ именемъ Пиковой дамы. Другой примѣръ—Ученныя Женщины, комизмъ которыхъ состоитъ, мнѣ кажется, въ значительной степени въ томъ, что онѣ говорятъ по женски чувствительно о научныхъ предметахъ:

„Эпикуръ мнѣ нравится...“, „Я люблю вихри“ и т. п. Перечитайте третій актъ и вы увидите, что Арманда, Филиминта и Белиза почти все время говорятъ такимъ языкомъ.

Идя дальше въ этомъ направленіи, мы увидимъ, что существуетъ также профессиональная логика, т.-е. извѣстные приемы мышленія, къ которымъ приучаются въ извѣстной средѣ—приемы вѣрные для этой среды, но негодные для остальныхъ людей. Противоположность между этими двумя логиками,—частной и общечеловѣческой,—порождаетъ извѣстные комическіе эффекты особаго свойства, на которыхъ не лишнее будетъ остановиться подольше. Это важный пунктъ теоріи смѣха. Расширимъ-же этотъ вопросъ и рассмотримъ его во всей его общности.

IV.

Будучи всецѣло заняты задачей раскрыть основной источникъ комическаго, мы вынуждены были до сихъ поръ оставлять въ сторонѣ одно изъ самыхъ замѣчательныхъ его проявленій. Я имѣю въ виду логику, свойственную комическимъ личностямъ и группамъ, логику странную, которая въ извѣстныхъ случаяхъ можетъ давать большой просторъ нелѣпости. Теофила Готье называлъ комизмъ логикой нелѣпости. Многія теоріи смѣха сходятся на подобной-же мысли. Всякій комическій эффектъ долженъ заключать въ себѣ противорѣчіе въ какомъ-нибудь отношеніи. Насъ заставляетъ смѣяться нелѣпость, воплощенная въ конкретную форму, — „видимая нелѣпость“, или кажущаяся нелѣпость, сначала допущенная, но тотчасъ-же потомъ исправленная, или, наконецъ, то, что нелѣпо съ одной стороны, но естественно объяснимо съ другой и т. д. Всѣ эти теоріи заключаютъ, несомнѣнно, извѣстную долю истины; но, прежде всего, онѣ примѣнимы только къ нѣкоторымъ, довольно грубымъ комическимъ эффектамъ, и даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ примѣнимы, онѣ, кажется мнѣ, упускаютъ изъ виду самый характерный элементъ смѣшного, именно совершенно особый родъ нелѣпости, который смѣшное содержитъ, когда оно вообще содержитъ въ себѣ нелѣпость. Вы желаете въ этомъ немедленно убѣдиться? Достаточно взять одно изъ этихъ опредѣленій и составить комическіе эффекты по его формулѣ: два раза изъ трехъ полученныхъ эффектъ не будетъ заключать въ себѣ ничего смѣшного. Нелѣпость, встрѣчаемая иногда въ комическомъ, не есть любая нелѣпость. Это нелѣпость вполне опредѣленная. Она не создаетъ смѣшное, она, скорѣе, происходитъ отъ него. Она есть не причина, а слѣдствіе, — слѣдствіе совершенно специальное, въ которомъ отражается специальная природа вызвавшей его причины. Мы знаемъ эту причину. Намъ не будетъ, слѣдовательно, трудно теперь понять и слѣдствіе.

Предположимъ, что гуляя въ полѣ, вы замѣтили на вершинѣ холма нѣчто смутно похожее на большое неподвижное тѣло, которое машетъ руками. Вы еще пока не знаете

что это такое; но вы ищете среди извѣстныхъ вамъ идей, т. е. среди воспоминаній, которыми располагаетъ ваша память, такое воспоминаніе, для котораго то, что вы видите, послужило-бы возможно болѣе лучшей рамкой. Почти тотчасъ-же передъ вами встаетъ образъ вѣтряной мельницы, передъ вами и есть вѣтряная мельница. Ничего не значить, что вы только недавно, передъ выходомъ изъ дома, читали сказки о великанахъ съ безмѣрно-длинными руками. Здравый смыслъ заключается въ умѣнши припоминать,—я съ этимъ согласенъ,—но также, и въ особенности, въ томъ, чтобы умѣть забывать. Здравый смыслъ есть усиліе ума, который непрерывно приспособляется, мѣняя идею, когда мѣняется предметъ. Это и есть подвижность ума, въ точности слѣдующая во всемъ подвижности вещей. Это—постоянно - подвижное, непрерывное наше вниманіе къ жизни.

Но вотъ Донъ-Кихотъ отправляется воевать. Онъ читалъ въ романахъ, какъ рыцарь встрѣчаетъ на своемъ пути враговъ-великановъ. Значить, долженъ встрѣтить великана и онъ. Мысль о великанѣ,—это самое яркое воспоминаніе, которое запечатлѣлось въ его умѣ,—держится на сторожѣ, поджидаетъ, неподвижное, случая вырваться наружу и воплотиться въ какомъ-нибудь предметѣ. Это воспоминаніе хочетъ принять матеріальную форму, и поэтому первый-же встрѣтившійся предметъ, хотя-бы имѣющій съ формами великана лишь самое отдаленное сходство, будетъ принять имъ за великана. Донъ-Кихотъ видитъ, такимъ образомъ, великановъ тамъ, гдѣ мы видимъ вѣтряныя мельницы. Это смѣшно и нелѣпно. Но просто-ли это нелѣпость?

Это совершенно особое искаженіе здраваго смысла. Оно состоитъ въ стремленіи приспособлять вещи къ извѣстной идеѣ, а не свои идеи—къ вещамъ. Оно состоитъ въ томъ, что видятъ передъ собою то, о чемъ думаютъ, а не думаютъ о томъ, что видятъ. Здравый смыслъ требуетъ, чтобы каждое наше воспоминаніе занимало свое мѣсто въ ряду другихъ воспоминаній; тогда каждому данному положенію будетъ отвѣчать соотвѣтствующее воспоминаніе, которое и послужитъ только къ истолкованію этого положенія. У Донъ-Кихота, наоборотъ, есть группа воспоминаній, которыя гос-

поддвуютъ надъ всѣми остальными и подчиняютъ себѣ всецѣло самое личностъ: въ данномъ случаѣ, слѣдовательно, дѣйствительность должна будетъ склониться передъ воображеніемъ и служить только для того, чтобы одѣвать его въ плоть и кровь. Какъ только иллюзія сложилась, Донъ-Кихотъ развиваетъ ее, надо признать, логично, во всѣхъ ея послѣдствіяхъ; онъ идетъ за нею съ увѣренностью и расчетливостью лунатика во снѣ. Таково происхожденіе заблужденія, и такова та специальная логика, которой подготавливается нелѣпость. Но свойственна-ли подобная логика только Донъ-Кихоту?

Мы показали, что комическая личность грѣшитъ всегда упрямствомъ ума и характера, разсѣянностью, автоматизмомъ. Въ основѣ комическаго лежитъ извѣстнаго рода косность, вслѣдствіе которой человѣкъ идетъ прямо своимъ путемъ, ничего не слушая и ничего не желая слышать. Множество комическихъ сценъ въ пьесахъ Мольера сводятся къ этому очень простому типу: человѣкъ преслѣдуетъ и злюбленную идею, постоянно возвращается къ ней, хотя его все время прерываютъ. Разница незамѣтна между человѣкомъ, нежелающимъ ничего слышать и человѣкомъ, нежелающимъ ничего видѣть, и, наконецъ, человѣкомъ, который видитъ только то, что ему хочется видѣть. Упрямый умъ кончитъ тѣмъ, что подведетъ окружающіе предметы подъ свою идею вмѣсто того, чтобы сообразовать свою мысль съ предметами. Слѣдовательно, каждый комическій персонажъ находится на пути иллюзій, который мы только-что описали, и Донъ-Кихотъ даетъ намъ общій типъ комической нелѣпости.

Имѣетъ-ли свое названіе это искаженіе здраваго смысла? Его встрѣчаютъ, несомнѣнно, въ острой или хронической формѣ въ нѣкоторыхъ видахъ сумасшествія. Многими сторонами своими оно схоже съ навязчивой идеей. Но ни сумасшествіе вообще, ни навязчивая идея въ частности никогда не вызовутъ нашего смѣха, потому-что это болѣзни. Они вызываютъ въ насъ состраданіе. Смѣхъ, какъ мы знаемъ, несовмѣстимъ съ душевнымъ волненіемъ. Если существуетъ сумасшествіе смѣшное, то это можетъ быть только сумасшествіе, совмѣстимое съ общимъ здоровымъ состояніемъ

ума,—сумасшествіе, такъ сказать, нормальное. Но существуетъ нормальное умственное состояніе, въ полной мѣрѣ воспроизводящей сумасшествіе; мы видимъ въ немъ тѣ-же ассоціаціи идей, что при помѣшательствѣ, ту-же своеобразную логику, что при навязчивой идеѣ. Это—состояніе грезъ. Или нашъ анализъ не вѣренъ или онъ долженъ уложиться въ слѣдующую теорему: комическая нелѣпость одинакова по своей природѣ съ нелѣпостью грезъ.

Прежде всего, работа ума, когда человѣкъ грезитъ,—это именно та работа, которую мы только что описали. Умъ, страстно отдающійся своимъ грезамъ, ищетъ въ окружающемъ его внѣшнемъ мірѣ только предлога облечь плотью созданные имъ образы. Звуки еще смутно достигаютъ слуха, краски еще смѣняются въ полѣ зрѣнія; словомъ, внѣшнія чувства еще не вполне замерли. Но грезящій субъектъ, вмѣсто того, чтобы перебрать всѣ свои воспоминанія и объяснить себѣ то, что воспринимаютъ его чувства, пользуется, напротивъ, тѣмъ, что они воспринимаютъ для того, чтобы воплотить свое излюбленное воспоминаніе: свистъ вѣтра въ трубѣ покажется ему, смотря по его душевному состоянію, смотря по тому, какая мысль занимаетъ его воображеніе,—или ревомъ дикаго звѣря или мелодичнымъ пѣніемъ. Таковъ обычный механизмъ иллюзій въ состояніи грезы.

Но если комическая иллюзія есть иллюзія грезы, если логика комическаго есть логика сновидѣнія, то можно ждать, что въ логикѣ смѣшного мы встрѣтимъ всѣ особенности логики грезъ. Здѣсь мы найдемъ новое подтвержденіе закона, который уже хорошо намъ извѣстенъ: разъ дана извѣстная форма смѣшного, то другія формы, не имѣющія той-же комической основы, становятся смѣшными благодаря своему внѣшнему сходству съ первой. Совершенно ясно, что всякая игра идей будетъ насъ забавлять, разъ она напоминаетъ намъ болѣе или менѣе игру грезъ.

Я укажу прежде всего на нѣкоторое общее отступленіе отъ законовъ мышленія. Нашъ смѣхъ вызываютъ тѣ разсужденія, которыя мы считаемъ ложными, но которыя могли-бы принять за правильныя, если-бы слышали ихъ вснѣ. Они походятъ на правильныя разсужденія какъ разъ

настолько, чтобы обмануть засыпающий умъ. Это, если хотите, тоже логика, но логика, лишенная силы и освобождающая насъ, тѣмъ самымъ, отъ умственной работы. Многія „стрѣлы остроумія“ представляютъ разсужденія подобнаго рода, разсужденія очень краткія, въ которыхъ даются намъ лишь точка отправленія и заключенія. Эта игра ума приближается, впрочемъ, къ игрѣ словъ по мѣрѣ того какъ отношенія, установленныя между идеями, становятся болѣе поверхностными: мало-по-малу мы доходимъ до того, что воспринимаемъ не смыслъ слышимыхъ нами словъ, а только звуки. Я думаю, что слѣдовало-бы приблизить къ сновидѣнію нѣкоторыя очень комическія сцены, въ которыхъ дѣйствующее лицо систематически безсмысленно повторяетъ фразы, которыя другое лицо шепчетъ ему на ухо. Когда вы засыпаете среди разговаривающихъ между собою людей, вамъ начинаетъ иногда казаться, что ихъ слова мало-по-малу утрачиваютъ смыслъ, что звуки искажаются и беспорядочно сливаются, принимая въ вашемъ умѣ странный смыслъ, и что вы разыгрываете по отношенію къ говорящему лицу сцену Жана малаго съ суфлеромъ.

Существуетъ еще комическая навязчивость, которая очень близка, какъ мнѣ кажется, къ навязчивости сновидѣній. Кому не случалось видѣть одинъ и тотъ-же образъ, въ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ сновидѣніяхъ, казавшійся въ каждомъ изъ нихъ правдоподобнымъ, тогда какъ эти сны ничего общаго между собою не имѣли. Повторяющіеся эффекты въ пьесахъ и въ романахъ принимаютъ также иногда эту специальную форму: въ нѣкоторыхъ изъ нихъ звучатъ отголоски сновъ. Можетъ быть тоже самое можно сказать о припѣвѣ во многихъ пѣсняхъ: онъ упорно возвращается, все тотъ-же, въ концѣ каждого куплета, каждый разъ съ различнымъ значеніемъ.

Нерѣдко можно наблюдать въ сновидѣніяхъ совершенно своеобразно crescendo—фантастичность, усиливающуюся по мѣрѣ того, какъ развертывается сновидѣніе. Первая уступка, вырванная у разума, влечетъ за собою вторую, вторая—болѣе важную третью и такъ далѣе до полной нелѣпости. Но это поступательное движеніе къ нелѣпости доставляетъ грезящему совершенно особое ощущение.

ніе. Это, думается мнѣ, то-же ощущеніе, которое испытываетъ пьяница, чувствуя, что онъ пріятно скользить къ такому состоянію, когда для него ничто уже не будетъ обязательно,—ни логика, ни требованія приличія. Теперь посмотрите, не то-ли же впечатлѣніе производятъ на насъ нѣкоторыя комедіи Мольера: напимѣрь, Г. де-Пурсоньякъ въ началѣ дѣйствуетъ почти разумно, а затѣмъ уже переходитъ ко всякаго рода чудачествамъ; или, напимѣрь, Мѣщанинъ-дворянинъ, гдѣ, по мѣрѣ того какъ дѣйствіе развивается, дѣйствующихъ лицъ увлекаетъ какой-то вихрь сумасбродства. „Ну, если найдется другой такой олухъ, придется мнѣ самый Римъ оповѣстить объ этомъ“. Эта фраза, возвѣщающая намъ, что пьеса кончена, пробуждаетъ насъ отъ сна, который становился все причудливѣе, по мѣрѣ того какъ мы погружались въ него вмѣстѣ съ г. Журденомъ.

Но существуетъ видъ безумія, свойственный только сну. Есть нѣкоторыя совершенно спеціальныя противорѣчія, которыя такъ естественны для воображенія грезящаго и такъ нестерпимы для разума человѣка бодрствующаго, что было-бы невозможно дать о нихъ точное представленіе тому, кто не узналъ ихъ по собственному опыту. Я говорю о томъ странномъ сліяніи двухъ личностей, которое часто происходитъ во снѣ, когда двѣ личности, слившись въ одну, остаются вмѣстѣ съ тѣмъ, одна отъ другой отличимыми. Одна изъ этихъ личностей, обыкновенно,—это самъ спящій. Онъ чувствуетъ, что не пересталъ быть тѣмъ, что онъ есть; и тѣмъ не менѣе, онъ сталъ другимъ. Это онъ и не онъ. Онъ слышитъ, какъ онъ самъ-же говоритъ, видитъ себя въ дѣйствіи; но онъ чувствуетъ, что кто-то другой позаимствовалъ у него его тѣло и взялъ у него его голосъ. Или-же иногда онъ будто сознаетъ, что говоритъ и дѣйствуетъ, какъ обыкновенно; но говоритъ о себѣ, какъ о постороннемъ, съ которымъ не имѣетъ ничего общаго. Онъ отделился отъ самого себя. Не эту-ли странную путаницу встрѣчаемъ мы въ многихъ комическихъ сценахъ? Я не говорю объ Амфитріонѣ, гдѣ такое смѣшеніе зрителю внушается, но гдѣ главный комическій эффектъ создается тѣмъ, что мы назвали выше „интерференціей двухъ серій“...

Я говорю о тѣхъ странныхъ и комичныхъ разсужденіяхъ, въ которыхъ это смѣшеніе проявляется дѣйствительно въ чистомъ видѣ, хотя и нужно все-же усиліе мысли, чтобы его выдѣлить. Послушайте, напримѣръ, разговоръ Марка Твена съ репортеромъ, явившимся его интервьюировать: „Есть-ли у васъ братъ?—Да; мы звали его Билль. Бѣдный Билль!—Онъ, значить, умеръ?—Этого-то мы никогда не могли узнать. Глубокая тайна витаетъ надъ этимъ дѣломъ. Мы были,—покойный и я,—близнецы и когда намъ было двѣ недѣли отъ роду, насъ купали въ одной лохани. Одинъ изъ насъ утонулъ въ ней, но никакъ нельзя было узнать, который. Одни думаютъ, что Билль, другіе,—что я.—Странно. Но вы-то, что вы объ этомъ думаете?—Слушайте, я открою вамъ тайну, которой я еще не открывалъ ни одной живой душѣ. Одинъ изъ насъ имѣлъ особую примѣту—огромную родинку на лѣвой ладони, и это былъ я. Такъ вотъ, тотъ ребенокъ, который утонулъ и т. д. и т. д.“. Вдумавшись въ этотъ разговоръ, мы увидимъ, что его нелѣпость—нелѣпость необыкновенная. Ея вовсе не было-бы, если-бы одинъ изъ говорящихъ не былъ какъ разъ однимъ изъ близнецовъ. Вся нелѣпость здѣсь въ томъ, что Маркъ Твенъ выдаетъ себя за одного изъ этихъ близнецовъ, рассказывая такъ, какъ рассказывало-бы о немъ третье лицо. Совершенно то-же происходитъ съ нами, когда мы видимъ сны.

## V.

Разсматриваемое съ этой точки зрѣнія, комическое представилось-бы намъ въ формѣ нѣсколько иной, чѣмъ та, которую мы ему придавали. До сихъ поръ мы видѣли въ смѣхѣ главнымъ образомъ мѣру исправленія. Возьмите непрерывный рядъ комическихъ эффектовъ, выдѣлите въ немъ черезъ извѣстные промежутки господствующіе типы: вы увидите, что всѣ промежуточные эффекты заимствуютъ свой комизмъ отъ своего сходства съ этими типами и что самые эти типы являются образцами оскорбленія, бросаемаго обществу. На это оскорбленіе общество отвѣчаетъ смѣхомъ, который является еще большимъ оскорбленіемъ. Смѣхъ, съ этой точки зрѣнія, не имѣетъ въ себѣ ничего

доброжелательнаго. Онъ, скорѣе, есть отплата зломъ за зло.

Но не это поражаетъ прежде всего въ томъ впечатлѣніи, которое производитъ на насъ смѣшное. Довольно часто мы сначала чувствуемъ нѣкоторую поверхностную симпатію къ комической личности. Я хочу этимъ сказать, что на очень короткій мигъ мы становимся на ея мѣсто, перенимаемъ ея жесты, слова, поступки, и если мы забавляемся тѣмъ, что есть въ немъ смѣшного, то мысленно мы приглашаемъ и его позабавиться вмѣстѣ съ нами: мы относимся къ нему сначала по товарищески. Смѣющийся имѣетъ по крайней мѣрѣ видъ добродушія, доброжелательной веселости, и мы были-бы неправы, если-бы не принимали этого во вниманіе. Но особенно важно, что въ смѣхѣ есть нѣкоторое отдохновеніе, на которое часто обращали вниманіе и причину котораго мы должны найти. Нигдѣ это впечатлѣніе не выступало такъ замѣтно, какъ въ нашихъ послѣднихъ примѣрахъ. И какъ разъ въ нихъ мы найдемъ и объясненіе.

Когда комическая личность слѣдуетъ своей идеѣ автоматически, она кончаетъ тѣмъ, что думаетъ, говоритъ, дѣйствуетъ, какъ во снѣ. А сонъ есть отдохновеніе. Соприкоснуться съ вещами и съ людьми, слѣдить за происходящимъ, думать объ окружающемъ,—все это требуетъ непрерывнаго, напряженнаго умственнаго усилія. Здравый смыслъ есть какъ-разъ такое усиліе. Это—трудъ. Но отрѣшиться отъ вещей и тѣмъ не менѣе замѣчать еще образы, порвать съ логикой и тѣмъ не менѣе связывать еще отдѣльныя мысли,—это уже значитъ играть или, если хотите, лѣниться. Комическая нелѣпость производитъ на насъ прежде всего впечатлѣніе игры мыслей. Наше первое движеніе состоитъ въ томъ, чтобы присоединиться къ этой игрѣ. Это даетъ намъ отдыхъ отъ умственнаго утомленія.

Но то-же можно было-бы сказать о другихъ формахъ смѣшного. Въ основѣ комическаго, говорили мы, есть всегда стремленіе скользить по наклонной плоскости, которая есть чаще всего плоскость привычки. Уже больше не думается, что все время надо приспособляться къ обществу, членомъ котораго состоишь, что надо напрягать вниманіе, необходимое въ жизни. Вы становитесь болѣе или менѣе похо-

жимъ на разсѣяннаго. Правда, это также разсѣянность воли, въ большей степени даже, чѣмъ разсѣянность ума. Но все-таки это разсѣянность и, слѣдовательно, лѣнь. Здѣсь вы перестаете считаться съ условностями, какъ тамъ — съ логикой. Словомъ, вы принимаете видъ человѣка играющаго. Здѣсь опять первое движеніе принять приглашеніе побездѣльничать. Хотя-бы на одно мгновеніе мы присоединяемся къ игрѣ. Это позволяетъ отдохнуть отъ жизни.

Но мы отдыхаемъ лишь мгновеніе. Симпатія, которая примѣшивается къ впечатлѣнію комическаго, — это симпатія быстро улетающая. Она тоже послѣдствіе разсѣянности. Такъ строгій отецъ присоединяется иногда, забывшись, къ проказамъ своего ребенка и тотчасъ же останавливается, чтобы приняться за исправленіе сдѣланнаго.

Смѣхъ, прежде всего, — есть мѣра исправленія. Способный унижать, онъ долженъ всегда производить на того, кто является его предметомъ, тяжелое впечатлѣніе. Общество мститъ посредствомъ смѣха за тѣ вольности, которыя позволяютъ себѣ по отношенію къ нему. Смѣхъ не достигалъ бы цѣли, если бы носилъ на себѣ печать симпатіи или доброжелательства.

Намъ скажутъ, можетъ быть, что его цѣль — сдѣлать добро, что часто наказываютъ изъ любви, и что онъ, подавляя внѣшнія проявленія извѣстныхъ недостатковъ, побуждаетъ насъ такимъ образомъ, — къ нашему же благу, — исправлять самые эти недостатки и внутренне самосовершенствоваться.

Объ этомъ можно было-бы много сказать. Въ общемъ и цѣломъ смѣхъ исполняетъ, несомнѣнно, полезную роль. И весь нашъ анализъ былъ направленъ на то, чтобы доказать это. Но изъ этого не слѣдуетъ, что смѣхъ всегда воздастъ должное, ни что онъ внушается доброжелательностью или хотя-бы справедливостью.

Чтобы воздавать всегда по заслугамъ, смѣхъ долженъ быть результатомъ размышленія. Между тѣмъ смѣхъ есть просто проявленіе механизма, созданнаго въ насъ природой, или что почти то-же, длительной привычкой къ жизни въ обществѣ. Онъ вырывается самопроизвольно, какъ настоящій отвѣтъ на ударъ ударомъ. Ему некогда каждый разъ

смотрѣть, куда попадаетъ ударъ. Смѣхъ наказываетъ за нѣкоторые недостатки приблизительно такъ, какъ болѣзнь наказываетъ за нѣкоторыя излишества, поражая невинныхъ, шадя виновныхъ, стремясь достигнуть общаго результата и не имѣя возможности оказывать каждому частному случаю честь особаго изслѣдованія. Такъ происходитъ все, что совершается непроизвольно, а не подъ вліяніемъ сознательнаго размышленія. Средняя справедливость можетъ проявиться въ общемъ результатѣ, но не въ отдѣльныхъ частныхъ случаяхъ.

Въ этомъ смыслѣ смѣхъ не можетъ быть абсолютно справедливымъ. Повторяю, что онъ тѣмъ болѣе не долженъ быть проявленіемъ доброты. Его цѣль—устрашать, унижая. Онъ не достигалъ-бы ея, если-бы природа не оставила для этого даже въ лучшихъ людяхъ маленькаго запаса злобы или по крайней мѣрѣ язвительности. Быть можетъ намъ лучше не останавливаться подробно на этомъ пунктѣ. Мы не найдемъ въ немъ ничего особо лестнаго для насъ. Мы увидимъ, что порывъ благодушія и экспансивности есть, лишь прелюдія къ смѣху, что смѣющийся тотчасъ-же вновь замыкается въ себѣ, горделиво отгораживаясь отъ всего окружающаго и начинаетъ разсматривать личность другого, какъ Маріонетку, нити отъ которой у него въ рукахъ. Мы очень легко можемъ подмѣтить въ этомъ сомнѣніи немножко эгоизма, а за эгоизмомъ нѣчто менѣе непосредственное и болѣе горькое, зарожденіе какого-то пессимизма, который усиливается по мѣрѣ того, какъ смѣющийся сознательнѣе относится къ своему смѣху.

Здѣсь, какъ и всюду, природа пользуется зломъ для блага. Последнее занимало насъ главнымъ образомъ въ этомъ трудѣ. Мы видѣли, что общество, по мѣрѣ того какъ оно совершенствуется, все больше и больше развиваетъ въ своихъ членахъ гибкость ихъ приспособляемости, что оно стремится установить все болѣе устойчивое равновѣсіе до самой глубины своей, что оно все рѣшительнѣе вытѣсняетъ на поверхность элементы безпорядка, неизбѣжныя въ такомъ огромномъ тѣлѣ, и что смѣхъ выполняетъ полезную роль, подчеркивая форму всѣхъ этихъ неровностей.

Такъ, на поверхности моря неустанно борются волны,

тогда какъ въ низшихъ слояхъ его царить глубокий покой. Волны сталкиваются, гонять одна другую, стремясь обрѣсти равновѣсіе. Легкая, веселая бѣлая пѣна слѣдуетъ за ихъ измѣнчивыми очертаніями. Иногда убѣгающая волна оставляетъ немного этой пѣны на береговомъ пескѣ. Дитя, играющее по близости, набираетъ пѣну въ горсть и минуту спустя уже удивляется, что на ладони у него осталось только нѣсколько капель воды, но воды еще болѣе соленой и еще болѣе горькой, чѣмъ вода волны, которая ее принесла. Смѣхъ рождается такъ-же, какъ эта пѣна. Онъ подаетъ знакъ, появляясь на поверхности общественной жизни, что существуютъ поверхностныя возмущенія. Онъ моментально обрисовываетъ измѣнчивую форму этихъ потрясеній. Онъ—та-же пѣна, главная составная часть которой—соль. Онъ искрится, какъ пѣна. Онъ—веселье. Философъ, который собираетъ его, чтобы испробовать, найдетъ въ немъ иногда, и при томъ на небольшое количество вещества, нѣкоторую дозу горечи.



## СОДЕРЖАНІЕ.

---

	СТР.
I. Введеніе въ метафизику перев. В. Флеровой . . . . .	3
II. Психофизический параллелизмъ и позитивная метафи- зика Перев. В. Флеровой . . . . .	48
III. Смѣхъ. Перев. Л. Рольденберга. . . . .	96



**Собрание сочинений.**

**А. Бергсонъ.**

**Въ 5 томахъ, перев. Базарова,  
Флеровой и др.**

**Т. I. Творческая эволюція. Ц. 2 руб.**

**Т. II. Непосредственные данныя сознанія. (Время и свобода воли), съ прилож. ст. Рамо: Психофизиологія и философія А. Бергсона. 1 р. 50 к.**

**Т. III. Матерія и Память. Ц. 1 р. 50 к.**

**Т. IV. Философскія рѣчи и статьи:**

Философская интуиція. Воспріятіе измѣнчивости. Воспоминаніе настоящаго. Психофизиологическій паралогизмъ. Сновидѣніе. Интеллектуальное усиліе. Законъ причинности. Ц. 2 руб.

**Т. V. Введеніе въ метафизику. Психологическій параллелизмъ и позитивная метафизика. Смѣхъ. 1 р. 50 к.**

**Отдѣльныя сочиненія: А. Бергсона:**

**Воспріятіе измѣнчивости. Ц. 50 к. Психофизиологическій паралогизмъ. Сновидѣніе. Ц. 50 к. Воспоминаніе настоящаго. Ц. 50 к. Интеллектуальное усиліе. Законъ причинности. Ц. 50 к. Смѣхъ. 75 к.**

*Изъ отзывовъ печати:*

— Вся образованная Европа очарована оригинальной философіей Анри Бергсона. И надо сказать, что эта популярность вполне заслужена мыслителемъ. Онъ производитъ огромное впечатлѣніе внѣшнимъ блескомъ своей системы. Изложенная съ неподражаемой стилистической красотой, — она все скрывается мѣткими сравненіями, остроумными афоризмами и яркими образами... Книги Бергсона не простая игра удивительно одареннаго ума, а серьезные отвѣты на нужные и важные вопросы... Его философія действительно нужна намъ, и вѣроятно, прочно войдетъ въ обиходъ людей XX вѣка „р“.

— „Въ общемъ и цѣломъ переводчикъ и редакторъ „Творческой эволюціи“ выполнили свою задачу умѣло и тщательно. Они обнаруживаютъ достаточно глубокое знакомство съ озрѣніями Бергсона; передаютъ подлинникъ яснымъ и точнымъ языкомъ“. („Современникъ“).

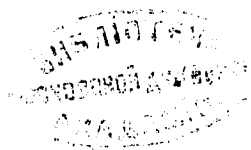
— „Настоящая брошюра („Воспріятіе измѣнчивости“) блестящій образецъ самопопуляризаціи. На немногихъ страницахъ авторъ со свойственными ему яркостью и блескомъ изложенія вводитъ читателя въ центральныя сферы своего ученія. („Совр. Слово.“) — Переводъ выполненъ хорошъ и до нѣкоторой степени передаетъ элегантныи стиль знаменитаго философа“. („Утро С.“).

— „Что касается перваго своего доклада („Психофизиол. Паралогизмъ“), то въ немъ Бергсонъ вскрываетъ съ поразительной остротой внутреннее противорѣчіе, развѣдывающее основоположеніе психофизиологическаго параллелизма“... Въ послѣднемъ („Сновидѣніе“) Бергсонъ даетъ блестящій психологическій анализъ сна“ „Русск. Вѣд.“.

— „Брошюра „Интеллектуальное усиліе“ — очень важна для пониманія основной мысли Бергсона о „Творческой Эволюціи“. Переведена брошюра хорошо“. „Рус. Мол.“.

# КАТАЛОГЪ

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА  
М. И. СЕМЕНОВА.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ  
5-я Рождественская, д. 7, кв. 12.  
Телефонъ 242-94.  
ЯНВАРЬ 1914 ГОДА.

Е. Нагородская. **Гнѣвъ Діониса.**  
Романъ. Изданіе 9-ое.  
Ц. 1 р. 50 к.

---

Е. Нагородская. **Борьба микробовъ.**  
Романъ. Изданіе 3-е.  
Ц. 1 р.

---

Е. Нагородская. **Аня. Чистая любовь.**  
**Онъ. За самоваромъ.**  
Разказы. Изданіе 4-ое.  
Ц. 1 р.

---

Е. Нагородская. **День и ночь.**  
Ц. 1 р.  
**Стихи. 50 к.**

---

Е. Нагородская. **У бронзовой двери.**  
Ц. 1 р. 50 к.

---

Е. Нагородская. **Романическое при-  
ключеніе.**  
**Сны.**

См. Лит. сбор. „Петербургскіе вечера“  
кн. I и II. Ц. по 1 р.

*Изъ отзывовъ читателей:*

Произведенія г-жи Нагородской, появившіяся впервые около трехъ лѣтъ тому назадъ, сразу обратили на себя вниманіе, вызвавъ восторженныя похвалы однихъ, и рѣзкія нападки другихъ. Это лучшее доказательство незаурядности и оригинальности автора, что и подтвердилось особымъ вниманіемъ читателей къ произведеніямъ г-жи Нагородской. „Гнѣвъ Діониса“ за два съ небольшимъ года прошелъ 9-ю изданіями (въ колѣч. 25.000 экз.), а „Аня“ и др. разск.—4-мя изд. (въ колѣч. 12.000 экз.).

По отчетамъ многихъ библиотекъ романъ „Гнѣвъ Діониса“ является за послѣдніе годы „самой читаемой“ книгой...

Изданія М. И. СЕМЕНОВА. С.-Петербургъ.

## Петербургскіе вечера.

## Литер. сборникъ.

Книга первая.

Ц. 1 р.

СОДЕРЖАНИЕ: А. Рьевскій, Сердце женщины. Е. Нагородская. Романтическое приключеніе. П. Ширяевъ Лѣсная тайна. М. Шимкевичъ. Въ поляхъ снѣжныхъ. В. Сысоевъ. Смерть Половинки.

## Петербургскіе вечера.

## Литературный сборникъ.

Книга вторая.

Ц. 1 р.

СОДЕРЖАНИЕ: Е. Нагородская. Сны. М. Кузминъ. Капитанскіе часы. Ю. Слезкинъ. Красная кофточка. Я. Вассерманъ. Лукардія.

## Ш.-Л. Филиппъ.

## На днѣ Парижа.

СОДЕРЖАНИЕ: Бюбю съ Монпарнаса. Ром. изъ жизни парижскихъ проституткокъ. Шарль Бланшаръ. Повѣсть. Перев. съ франц. А. Педашенко и В. Констанса съ предисл. М. Ц. Пуансо и воспоминаніями объ авторѣ Маргариты Оду, написанными спец. для русск. изданія. Изд. 2-е 1912 года. Ц. 1 руб.

*Изъ отзывовъ печати:*

— Его художеств. пронаведенія, воплотившія въ себѣ, какъ ни у одного изъ его современниковъ, все богатство народныхъ эмоцій и страданій, нашли себѣ достойную оцѣнку и переизданы нѣсколько десятковъ разъ... Многія произведенія Филиппа являются шедеврами французской литературы...

„С. У т р о“.

## Борьба за огонь.

## Рони-Старшій.

Доисторическій романъ въ 3-хъ част. Авторизованный перев. съ рукописи, съ предисл. автора и вступит. статьей М. Ц. Пуансо. Изд. 2-ое съ илл. Спб. Ц. 1 р. 25 к.

*Изъ отзывовъ печати:*

Новый романъ Рони написанъ увлекательно. Свѣжесть человѣческой психики, смутное, но красивое зарожденіе эмоцій грядущихъ вѣковъ,—со всѣмъ этимъ познакомиться и художественно пережить ихъ весьма не лишне въ наше „усталое“ время, при нашей бѣдности по части бодрыхъ настроеній и цѣлостныхъ переживаній.

(„Соврем. Слово“).

Издания М. И. СЕМЕНОВА. С.-Петербургъ.

---

## Марсельцы.

Феликсъ Гра.

Романъ въ 3 ч. Полный перев.  
Ч. I—Революція. Ц. 1 р.;  
ч. II—Терроръ. 2 р.; ч. III—  
Бѣлый терроръ. 1 р. 50 к.

Сюжетомъ романа служить одинъ изъ самыхъ драматич. моментовъ человѣческой исторіи—эпоха великой франц. революціи. Романъ изображаетъ величайшей важности событія, вродѣ похода марсельскаго батальона на Парижъ, взятія королевскаго дворца, казни Людовика XVI и т. д. и даетъ замѣч. вѣрную и объективную картину жизни народной массы въ это время; познакомиться съ этой картиной, пережить эту бурную эпоху вмѣстѣ съ мирными обывателями Франціи крайне полезно, даже необходимо людямъ всѣхъ лагерей, особенно намъ россиянамъ, которымъ предстоитъ еще много всевозможныхъ пертурбацій... Языкъ автора—яркій, образный, несмотря на эпическое чисто Гомеровское спокойствіе, съ которымъ онъ ведетъ свой захватывающій рассказъ... Каждая часть романа представляетъ собой нѣчто цѣлое и законченное, и можетъ быть прочитана независимо отъ другихъ частей.

---

## Исповѣдь простого человѣка.

Гильомень.

Романъ. Перев. съ франц. А. Чеботаревской. Изд. 2-е. 1912 г.

Ц. 1 руб. 25 коп.

*Изъ отзывовъ печати:*

Изложеніе „Исповѣди“ въ высокой степени простое и безыскусственное. Книга читается легко и съ интересомъ.

---

Гольдебаевъ, А.

## Разказы.

Томъ III.

Ц. 1 р.

Содержаніе: Зять Максимовыхъ-Зарайскій. Исключается изъ списковъ. Крантъ. По Брачной Газетѣ. Путь къ нашему счастью. Раба. Чужестранный цвѣтокъ. Гномы. Жизнь.

*Изъ отзывовъ печати:*

Первый томъ разказовъ Гольдебаева былъ изданъ книгоиздательствомъ „Знаніе“, и выходъ книжки былъ своевременно отмѣченъ критикой. Разказы Гольдебаева отличаются интересной фабулой и той, присущей автору яркостью и колоритностью красокъ, которыми онъ рисуетъ своихъ героевъ. Книжка разказовъ прочтется съ удовольствиемъ.  
„Сѣвер. Утро“.

## Гибель Земли.

Рони-Старшій.

Романъ. Перев. съ фр. В. Кер-  
женцева. Въ художественной  
обложкѣ. Ц. 60 к.

*Изъ отзывовъ печати:*

...Большой интересъ благодаря не только фантастической фэбулѣ, касающейся грядущей судьбы нашей планеты, но и яркому художественному изложению, испытываетъ читатель при чтеніи книги Рони-Старшаго „Гибель Земли“.

(„В. Рѣчь“).

---

## Мари Клеръ.

Маргарита Оду.

Романъ. Перев. съ фр. Дру-  
зей, съ предисловіемъ Ок-  
тава Мирбо.

*Отзывы о книгѣ:*

Ц. 80 к.

„Читайте „Мари Клеръ“, и когда вы прочтете ее, спросите себя безъ желанія оскорбить кого-либо: кто изъ нашихъ писателей—я говорю о самыхъ знаменитыхъ—могъ бы написать такую книгу, съ такой непогрѣшимой мѣрой, съ такой лучезарной чистотой и величіемъ.“

Октав Мирбо.

---

## Изъ каменнаго вѣка.

Уэллсъ.

Повѣсть изъ жизни доистори-  
ческихъ народовъ. Перев. съ  
англ. Николая Морозова.

Ц. 60 к.

*Изъ отзывовъ печати:*

Эту книгу могутъ съ удовольствіемъ прочесть даже взрослые юноши и притомъ съ такимъ же захватывающимъ интересомъ, какъ произведенія Купера или Майнъ-Рида.

„Куб. Край“.

---

## Приключенія Тартарена.

А. Доде.

Перев. съ франц. съ многоч.  
иллюстр. въ изящн. обложкѣ.

Ц. 50 к.

„Тартаренъ изъ Тараскона“ является однимъ изъ шедевровъ Доде и не нуждается въ рекомендаціи. Эта книга всегда была и будетъ излюбленной книгой не только для взрослыхъ, но и для дѣтей старшаго возраста. Издана книга очень прилично.

Издания М. И. СЕМЕНОВА. С.-Петербургъ.

## Левъ Ждановъ. Наслѣдіе Грознаго.

Ц. 75 к.

Извѣстный авторъ историческихъ романовъ, Л. Ждановъ, стоитъ на той точкѣ зрѣнія, что т. наз. Іжедимитрій І былъ дѣйствительно сыномъ Ивана Грознаго. Книжка прочтется съ большимъ интересомъ.

## А. Коллонтай. По Рабочей Европѣ.

Ц. 1 р. 35 к.

Въ книгу входятъ очерки и наблюденія изъ агитационныхъ поѣздокъ по Германіи, Англіи, Швеции, Даніи.

*Изъ отзывовъ печати.*

„Очерки г-жи Коллонтай, русской социаль-демократки, выпущенной скитаться по Европѣ, даютъ живыя, легко и даровито написанныя картинки соц.-дем. жизни. Проницательная, умная, правдивая наблюдательница, она легко схватываетъ характерныя сценки пролетарскаго быта, и въ живой формѣ заноситъ ихъ на бумагу... Ея очерки менѣе всего изслѣдованіе, по порою они могутъ дать гораздо больше, чѣмъ изслѣдованіе“.

(„Рѣчь“ 7 Мая 1912 г.).

„Нельзя не пожелать, чтобы книга нашла широкіе круги читателей; она обладаетъ для этого необходимыми достоинствами“.

(„Соврем. Міръ“. Іюнь 1912 г.).

## І. Дроздовъ. Заработная плата сел.-хоз. рабочихъ въ Россіи въ связи съ аграрн. движеніемъ 1905—1906 г.г.

Ц. 50 к. Изд. 1914 г.

*Изъ отзывовъ печати:*

Авторъ анализируетъ весьма интересный и къ тому же мало освѣщенный въ литературѣ вопросъ... Выводы къ которымъ приходитъ г. Дроздовъ, чрезвычайно интересны...

(„День“).

## Е. Сидоренко. Итальянскіе угольщики начала 19 вѣка.

Ц. 2 р.

Авторъ задается цѣлью провести сравненіе между масонами и корбонаріями (угольщиками), для чего приводитъ массу интереснѣйшихъ и малонзвѣстныхъ матеріаловъ: уставы, катехизисы, и др. докум. масоновъ и корбонаріевъ и т. д. Работа Сидоренко очень интересна и весьма своевременна въ виду роста мистицизма въ русскомъ обществѣ и постоянныхъ толковъ о масонской интригѣ.

**Сельскохозяйственная  
кооперация.**  
**Тотоміанцъ.** Очерки съ приложеніемъ примѣрныхъ  
уставовъ. Изд. 2-ое.  
Ц. 2 руб.

*Изъ отзывовъ печати:*

Читатель найдетъ въ этой книгѣ всё, наиболѣе важныя фактическія данныя и теоретическія положенія относительно сельско-хоз. коопераціи. Авторъ прекрасно знакомъ какъ съ теоріей, такъ и практикой коопераціи, благодаря чему всё приводимыя имъ данныя отличаются какъ свѣжестью, такъ и полной достовѣрностью. Къ книгѣ слѣдано очень дѣльное добавленіе: приложены уставы русск. и иностранныхъ кооперативн. учреждений и т. д.

„Современное Слово“.

---

**Современное хозяйство  
Россіи. 1890—1910 г.**  
**А. Финнъ-Енотаевскій.** Большой томъ въ 530 стр. убористой  
печати съ табл., картогр. и т. д.  
Ц. 3 р. 50 к.

Содержаніе: Введеніе.—I. Теорія рынковъ.—II. Теорія кризисовъ.—III.—Промышленный подъемъ 1893—1899 гг.—IV. Кустарная промышленность и отхожіе промыслы.—V. Промышленный кризисъ 1900—1902 гг.—VI. Регрессивный процессъ въ нашемъ хозяйствѣ.—VII. Наша финансовая политика 1889—1910 гг.—VIII. Теорія и практика нашего денежнаго обращенія.—IX. Движеніе денежнаго капитала и общій обзоръ торговопромышленной жизни за 1903—1910 гг.—X. Фабрично-заводская промышленность въ 1903—1910 гг.—XI. Синдикатское теченіе.—XII. Положеніе рабочаго класса въ 1903—1910 гг.—XIII. Движеніе заработной платы и товарныхъ цѣнъ.—XIV. Наше товарное обращеніе.—XV. Современная деревня.—XVI. Наши общественные классы.—Заключеніе.

*Изъ отзывовъ печати:*

— Въ книгѣ г. Финна-Енотаевского весьма полно и тщательно обработаны отдѣлы, касающіеся обрабатывающей промышленности и горнаго дѣла, торговли и транспорта, кредита и банковаго дѣла, государственныхъ финансовъ и кредита; въ этихъ областяхъ авторъ является вполне хозяиномъ своего дѣла и оперируетъ съ исчерпывающимъ знаніемъ матеріала.

(„Рѣчь“, 27 іюня 1911 г.)

Изданія М. И. СЕМЕНОВА. С.-Петербургъ.

**Философія живого  
А. Богдановъ. опыта.**  
Популярные очерки. Спб. 1913 г.

Ц. 2 р.

СОДЕРЖАНІЕ. Введеніе: I. Что такое философія? Кому и зачѣмъ она нужна? II. Что было до философіи? III. Какъ философія, вмѣстѣ съ наукой, выдѣлилась изъ религіи? I. Что такое матеріализмъ? II. Матеріализмъ античнаго міра. III. Матеріализмъ новаго времени. IV. Эмпириокритицизмъ. V. Діалектическій матеріализмъ. VI. Эмпириомонизмъ. Заключеніе. Наука будущаго.

*Изъ отзывовъ печати:*

Новый трудъ А. Богданова представляетъ собой новую попытку наложить въ возможно популярной формѣ сущность пролетарской философіи... („Совр. Слово“).

**Жизнь Бетховена.**  
Роменъ Роланъ. Перев. съ франц. С. Тарасова.  
1912 г. съ портр. Бетховена.  
Ц. 1 руб.

**Левъ Толстой.**  
Роменъ Роланъ. Перев. I. Гольденберга съ илл.  
Ц. 1 р. 25 к.

**Микель Анджело.**  
Роменъ Роланъ. Перев. А. Заржевской подъ ред.  
П. Юшкевича, съ многоч. илл.  
Ц. 1 р. 50 к.

*Изъ отзывовъ печати:*

Роланъ рѣшается дать своему артистически-апостольскому рвенію иной исходъ. Онъ преподаетъ урокъ ввозвышеннѣйшей художественной морали артистамъ своего вѣка въ трехъ біографіяхъ: Бетховена, Микель Анджело и Льва Толстого. — Первая изъ этихъ книгъ („Жизнь Бетховена“) является однимъ изъ шедевровъ нашего писателя. Именно огромный успѣхъ этой книги вывелъ на дорогу до тѣхъ поръ почти только презиравшій журналъ Пегги. Артистическая молодежь зачитывалась этими огненными страницами...

Изъ статьи А. Луначарскаго.  
...Эта книга займетъ свое особое, и весьма видное мѣсто въ литературѣ о Бетховенѣ. Интересъ книги Р. Ролана увеличивается благодаря ея литературнымъ достоинствамъ. Лаконическое краснорѣчіе, ясность и вмѣстѣ съ тѣмъ блескъ, изящество стиля дѣлаютъ чтеніе захватывающимъ. Къ своему сочиненію авторъ приложилъ удачно выбранныя письма и мысли Бетховена, прекрасно документирующія и освѣщающія книгу. Русскій переводъ въ общемъ точенъ, ясенъ и вполне литературенъ.

„Рѣчь“ 1 октября 1912 г.

**Собраніе сочиненій.**

**А. Бергсонъ.**

Въ 5 томахъ, перев. Базарова,  
Флеровой и др.

**Т. I. Творческая эволюція. Ц. 2 руб.**

**Т. II. Непосредственныя данныя сознанія. (Время и свобода воли), съ прилож. ст. Рамо: Психофизиологія и философія А. Бергсона. 1 р. 50 к.**

**Т. III. Матерія и Память. Ц. 1 р. 50 к.**

**Т. IV. Философскія рѣчи и статьи:**

Философская интуиція. Воспріятіе измѣнчивости. Воспоминаніе настоящаго. Психофизиологическій паралогизмъ. Сновидѣніе. Интеллектуальное усиліе. Законъ причинности. Ц. 2 руб.

**Т. V. Введеніе въ метафизику. Психологическій параллелизмъ и позитивная метафизика. Смѣхъ. 1 р. 50 к.**

**Отдѣльныя сочиненія: А. Бергсона:**

Воспріятіе измѣнчивости. Ц. 50 к. Психофизиологическій паралогизмъ. Сновидѣніе. Ц. 50 к. Воспоминаніе настоящаго. Ц. 50 к. Интеллектуальное усиліе. Законъ причинности. Ц. 50 к. Смѣхъ. 75 к.

*Изъ отзывовъ печати:*

— Вся образованная Европа очарована оригинальною философіею Анри Бергсона. И надо сказать, что эта популярность вполне заслужена мыслителемъ. Онъ производитъ огромное впечатлѣніе вѣншимъ блескомъ своей системы. Изложенная съ неподражаемой стилистической красотой, — она все искрится мѣткими сравненіями, остроумными афоризмами и яркими образами... Книжки Бергсона не простая игра удивительно одареннаго ума, а серьезные отвѣты на нужные и важные вопросы... Его философія настоятельно нужна намъ, и вѣроятно, прочно войдетъ въ обиходъ людей XX вѣка „р“.

— „Въ общемъ и цѣломъ переводчикъ и редакторъ „Творческой эволюціи“ выполнили свою задачу умѣло и тщательно. Они обнаруживаютъ достаточно глубокое знакомство съ озрѣніями Бергсона; передаютъ подлинникъ яснымъ и точнымъ языкомъ“. („Современникъ“).

— „Настоящая брошюра („Воспріятіе измѣнчивости“) блестящій образецъ самопопуляризаціи. На немногихъ страницахъ авторъ со свойственными ему яркостью и блескомъ изложенія вводитъ читателя въ центральныя сферы своего ученія. („Совр. Слово.“) — „Переводъ выполненъ хорошо и до нѣкоторой степени передаетъ эlegantный стиль знаменитаго философа“. („Утро С.“).

— „Что касается перваго своего доклада („Психофизиол. Паралогизмъ“), то въ немъ Бергсонъ вскрываетъ съ поразительной остротой внутреннее противорѣчіе, развѣдающее основоположеніе психофизиологическаго параллелизма“... Въ послѣднемъ („Сновидѣніе“) Бергсонъ даетъ блестящій психологическій анализъ сна“ „Русск. Вѣд.“.

— „Брошюра „Интеллектуальное усиліе“ — очень важна для пониманія основной мысли Бергсона о „Творческой Эволюціи“. Переведена брошюра хорошо“. „Рус. Мол.“.

## **Библіотека философъ-матеріалистовъ.**

### **Человѣкъ-машина.**

**Де-Ламетри.** Перев. съ франц. со вступит. статьей и прим. Виктора Кон-станса. 1911 года.

*Изъ отзывовъ печати:*

Ц. 1 р.

— Эта книга Де-Ламетри, „Человѣкъ-машина“, заслуживаетъ несомнѣнно вниманія. О матеріалистахъ у насъ вообще очень мало знаютъ, и особенно много предразсудковъ существуетъ насчетъ матеріалистовъ 18 вѣка. Во вступит. статьѣ переводчикъ даетъ обстоятельный очеркъ жизни и ученія Де-Ламетри. Появленіе такихъ книгъ нельзя не приветствовать въ наше время богоискательства, богостроительства и прочихъ идеалистическихъ увлеченій. („З в ѣ з д а“).

## **Д. Дидро. Избранныя сочиненія.**

Изд. 1914 г. Ц. 2 руб.

**СОДЕРЖАНИЕ:** Мысли по поводу объясненія природы. Философскіе принципы матеріи и движенія. Племянникъ Рамо. Разговоръ Д'Аламбера съ Дидро. Сонъ Д'Аламбера. Разговоръ философа съ супругой маршала д. \*\*\*

*Изъ отзывовъ печати:*

— Нельзя не быть благодарнымъ издательству г. Семенова, рѣшившаго выпустить къ юбилею часть сочиненій Дидро, такъ мало извѣстныхъ русской публикѣ, особенно современной. („Совр. Слово“).

— Выборъ произведеній Дидро, сдѣланный переводчикомъ, удачно выполняетъ задачу ознакомленія русскаго читателя съ идеологіей Дидро. Геніальный же діалогъ „Племянникъ Рамо“, отражаетъ не только обществ. воззрѣнія писателя, но и т. д. Эта книга—цѣнный подарокъ для всѣхъ, стремящихся расширить свой философскій и литературный кругозоръ изученіемъ неумиравшей старяны. („За 7 дн.“).

## **Гольбахъ.**

### **Система природы.**

(Готовится къ печати).

## **Гельвецій.**

### **О духъ и др. произвед.**

(Готовится къ печати).

**А. Богдановъ.**

## **Всеобщая организа- ціонная наука.**

**Тектологія.**

Ц. 2 р.

Изданія М. И. СЕМЕНОВА. С.-Петербургъ.

---

## Эволюція матеріи.

Густавъ Лебонтъ. Переводъ Б. Бычковскаго. Изд. 3-ье, исправленное и дополненное.

Цѣна 2 руб.

*Изъ отзывовъ печати:*

— Густаву Лебону принадлежить честь, что онъ первый возсталъ противъ догмы о неразрушимости матеріи и разрушилъ ее въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ... Начало работы объ эволюціи матеріи производитъ на читателя глубокое впечатлѣніе. Чувствуется дуновение гениальной мысли. (Изъ ст. Жоржа Бона въ *Revue des idées*).

— Несмотря на серьезность затронутого вопроса книга читается легко, съ увлеченіемъ и доступна всякому средне-образованному человеку.

---

## Мутаціи и періоды мутацій при происхожденіи видовъ.

Гуго-де-Фрисъ.

Перев. съ нѣм. Съ 8 рис.

*Изъ отзывовъ печати:*

Ц. 35 коп.

— Имя Гуго-де-Фриса пользуется заслуженной репутаціей въ ученomъ мірѣ, который видитъ въ немъ одного изъ наиболее независимыхъ и вдумчивыхъ біологовъ. Въ настоящей брошюрѣ Гуго-де-Фрисъ излагаетъ свою извѣстную поправку къ ученію Дарвина о происхожденіи видовъ.

„Соврем. Слово“. 19 Мая 1912 г.

---

## Любовь у растеній.

Л. Франсе.

Перев. съ 25 рисунками.

Ц. 60 коп.

## Чувства у растеній.

Л. Франсе.

Перев. М. Розенфельдъ. Съ 18 рис.

Ц. 60 к.

По отзывамъ многихъ естествоиспытателей, Франсе сдѣлалъ въ области ботаники то же, что Бремъ—въ области зоологій.

Его легко и блестяще написанныя книжки прочтутся съ наслажденіемъ всякимъ, кто любитъ природу и интересуется ея жизнью.

---

Н. Булгаковъ. Электромагнитное поле и электромагнитная теорія лучистыхъ явленій.

Ц. 1 р. 50 к.

Изданія М. И. СЕМЕНОВА. С.-Петербургъ.

## Библиотека „КОЛОСЪЯ“.

(Для юношества).

### Спартакъ.

Джіованіоли.

Перев. съ итальян. Е. Гадмеръ.  
Съ мн. илл. Изд. 2-ое испр. и  
дополн.

Ц. 75 коп.

Авторъ даетъ очень яркую и живую картину положенія рабовъ въ Римѣ, жизни гладіаторовъ, нравовъ римскаго общества, очень живо изображаетъ ходъ событій во время возстанія, наконецъ, особенно ярко обрисовываетъ личность Спартака, какъ героя, благороднаго и могучаго борца за свободу. Романъ въ этомъ изданіи съ большимъ интересомъ прочтутъ не только дѣти средняго и старшаго возраста, но и взрослые.

Бальзакъ. Доде. Военные рассказы.  
Золя. Мопассанъ. Перев. съ франц. съ иллюстр.  
Ц. 30 к.

Въ эту изящно изданную книжку вошли прекрасные рассказы: Бальзана—Палачъ. Доде—Партія на биллиардѣ. Золя—Штурмъ мельницы, и Мопассана—Мать и лва пріятеля. Имена авторовъ не нуждаются въ рекомендаціи, книжка прочтется и дѣтьми и взрослыми съ громаднымъ удовольствіемъ.

Уйда.

### Избранные рассказы.

Перев. съ англ. съ иллюстр.

*Изъ отзывовъ печати.*

Ц. 75 к.

Въ эту книжку вошли извѣстные рассказы, давно сдѣлавшіеся необходимой принадлежностью каждой школьной библиотеки и народной читальни, а именно: Маленькій графъ, Недло и Патрашъ и Муфлу. Настоящее изданіе отличается отъ другихъ изящной внѣшностью, хорошей бумагой и прилично исполненными рисунками.

### Человѣкъ и его трудъ.

Гербертсонъ.

Перев. съ посл. англ. изд. съ  
95 рис. и въ худож. много-  
крас. обл. Ц. 1 р. 50 к.

— Эта интересно написанная и роскошно изданная книга является необходимымъ пособіемъ при изученіи географіи, этнографіи и исторіи культуры. По способу изложенія она доступна для самаго широкаго круга читателей.

## Библіотека „КОЛОСЪЯ“.

(Для юношества).

---

### Смѣлые мореплаватели.

Р. Киплингъ.

Перев. съ многоч. илл.

Ц. 1 руб.

*Изъ онызовыхъ печати:*

Книга Киплинга—великолѣнное художественное произведеніе. Ея будутъ читать и перечитывать не только отцы и матери, но и ихъ дѣти.... Чистымъ морскимъ воздухомъ дышите вы все время, и когда закрываете послѣднюю страницу книги, чувствуете, какъ освѣжело васъ ея чтеніе.

„Вѣсти. Воспитанія“.

---

### Степной найденышъ.

Бретъ-Гартъ.

Перев. съ англ.

Ц. 50 к.

Горячо рекомендуемъ эту талантливо написанную повѣсть дѣтямъ средняго и старшаго возраста.

---

### Тернистой дорогой.

А. Мезьеръ.

Изъ исторіи дѣтскаго фабричнаго труда въ Англіи.

Ц. 40 к.

---

### Изъ хроники одного ирландскаго семейства.

А. Мезьеръ.

(Изъ исторіи Ирландіи въ 19 в.).

---

### Изъ оковъ къ свободѣ.

А. Мезьеръ.

(Изъ исторіи борьбы чешскаго народа за религіозную свободу).

Ц. 1 руб.

Всѣ три книжки Мезьеръ написаны въ полубеллетристической формѣ, очень живымъ, простымъ языкомъ и рисуютъ очень интересные и важные моменты изъ жизни западно-европейскихъ народовъ. Книги вполне доступны пониманію дѣтей средняго и старшаго возраста.

Изданія М. И. СЕМЕНОВА. С.-Петербургъ.

**УЧЕБНЫЯ ПОСОБІЯ:**

**А. ПОСРЕДНИНОВЪ.** Начальное Правописаніе. Годъ I,  
5 к., Годъ II—10 к., Годъ III—15 к.

**С. СОМОВЪ.** Орфографическій Словарь. 10 к.

**Исторія русской литературы для школъ и народа.**  
**Вл. Ладыженскій.**

Изд. 3-ье, исправ. и дополн. съ  
многоч. илл. Ц. 60 к.

Настоящая книжка является плодомъ многолѣтней лекторской дѣятельности автора (въ аудиторіяхъ Об-ва Народн. Университетовъ и др.) и чуть ли не единственнымъ пособіемъ по исторіи русской литературы, доступнымъ самому широкому кругу читателей.

**Великія реформы шестидесятыхъ годовъ  
въ ихъ прошломъ и настоящемъ.**

**I. Арсеньевъ, Н.** Законодательство о печати. Ц. 1 р. 25 к.

**II. Гессенъ, I.** Судебная реформа. Ц. 1 р. 50 к.

**III. Корниловъ, А.** Крестьянская реформа. Ц. 1 р. 50 к.

**IV. Пажитновъ, К.** Городская и земская реформа. Ц. 1 р.

**V. Гольденбергъ, I.** Реформатѣлесныхъ наказаній. Ц. 60 к.

Печатается выйдетъ въ августъ 1914 г.:

**VI. Серещниковъ, В.** Финансовая реформа.

Готовится къ печати:

**VII. Университетская реформа.**

Первыя 3 книги вышли въ изданіи П. П. Гершунина, остальные книги выходятъ въ изданіи М. И. Семенова при другомъ составѣ сотрудниковъ.

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Блоссъ.</b>                 | Великая французская революція. Ц. 60 к.  |
| <b>Жеффруа.</b>                | Заняченный. (Жизнь О. Бланки). Ц. 80 к.  |
| <b>Реклю.</b>                  | Срединная Имперія. (Китай). Ц. 90 к.   |
| <b>Зибольдъ.</b>               | Эпоха великихъ реформъ въ Японіи. Ц. 35 к.   |
| <b>Эльцинъ.</b>                | Что такое деньги. Ц. 20 к.   |
| <b>Д. Семеновъ.</b>            | Город. самоуправленіе въ Россіи. Ц. 1 р. 50 к.   |
| <b>„Пасхальный Альманахъ“.</b> | Сборн. произв. Горькаго, Чирикова, Чехова, Статьи Берлина, Бончъ-Бруевича и др. Съ илл. Ц. 20 к. |
| <b>Станюковичъ.</b>            | Жертвы моря. Ц. 15 к.  |
| <b>Станюковичъ.</b>            | Отмѣна тѣлесныхъ наказаній. Ц. 5 к.  |
| <b>Лабуле.</b>                 | Волшебныя сказы. Ц. 1 р.   |

Изданія П. П. Гершунина и др., перешедшія въ собственность и поступившія на складъ книгоизд-ства  
**М. И. Семенова.**

- Адлеръ.** О безработицѣ. Ц. 60 к.  
**Аренсъ.** Успѣхи химіи. Ц. 25 к.  
**Бьэрнсонъ.** Пауль Ланге и Тора Парсбергъ. Ц. 35 к.  
**Брайсъ.** Вильямъ Гладстонъ. Ц. 25 к.  
**Гартманъ.** Истина и заблужденіе въ дарвинизмѣ. Ц. 40 к.  
**Гауптманъ.** Бобровая шуба. Красный пѣтухъ. Ц. 40 к.  
**Гертвигъ.** Успѣхи біологіи. Ц. 25 к.  
**Юльдштейнъ.** Основы философіи химіи. Ц. 75 к.  
**Кудерманъ.** Родина. Да здравствуетъ жизнь! Ц. 60 к.  
**Интеллигентные** пролетаріи во Франціи. Сбор. ст. Ц. 60 к.  
**Крыловъ (Александровъ).** Прозаическія сочиненія. I—II. Ц. 7 р. 50 к.  
**П. М. Ковалевскій.** Стихи и воспоминанія. Ц. 1 р. 50 к.  
**Оболенскій.** Научныя основы красоты и искусства. Ц. 75 к.  
**Пирсторфъ.** Женскій трудъ и женскій вопросъ. Ц. 50 к.  
**Райтъ.** Промышленная исторія Соединенныхъ Штатовъ. Ц. 1 р. 75 к.

**П Е Ч А Т А Ю Т С Я:**

- М. Кузминъ.** Глиняныя голубки. Третья книга стиховъ. Ц. 1 р. 50 к.  
**М. Кузминъ.** Сборникъ разсказовъ.  
**Проф. Н. А. Булгановъ.** Учебникъ по электричеству для высш. учеб. завед.  
**Н. Шебуевъ.** Собраніе сочиненій.  
**Е. Нагродская.** Бѣлая Колонада. Ром. Тамплиеры. Истор. ром.  
**„Исторія восточныхъ литературъ“.** Перев. съ нѣмекъ. Коллективный трудъ.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ИЗДАНИЙ

ПРИ КНИГОИЗД-ВѢ

= „ПРОМЕТЕЙ“ =

Петербургъ, Поварской, 10.

